

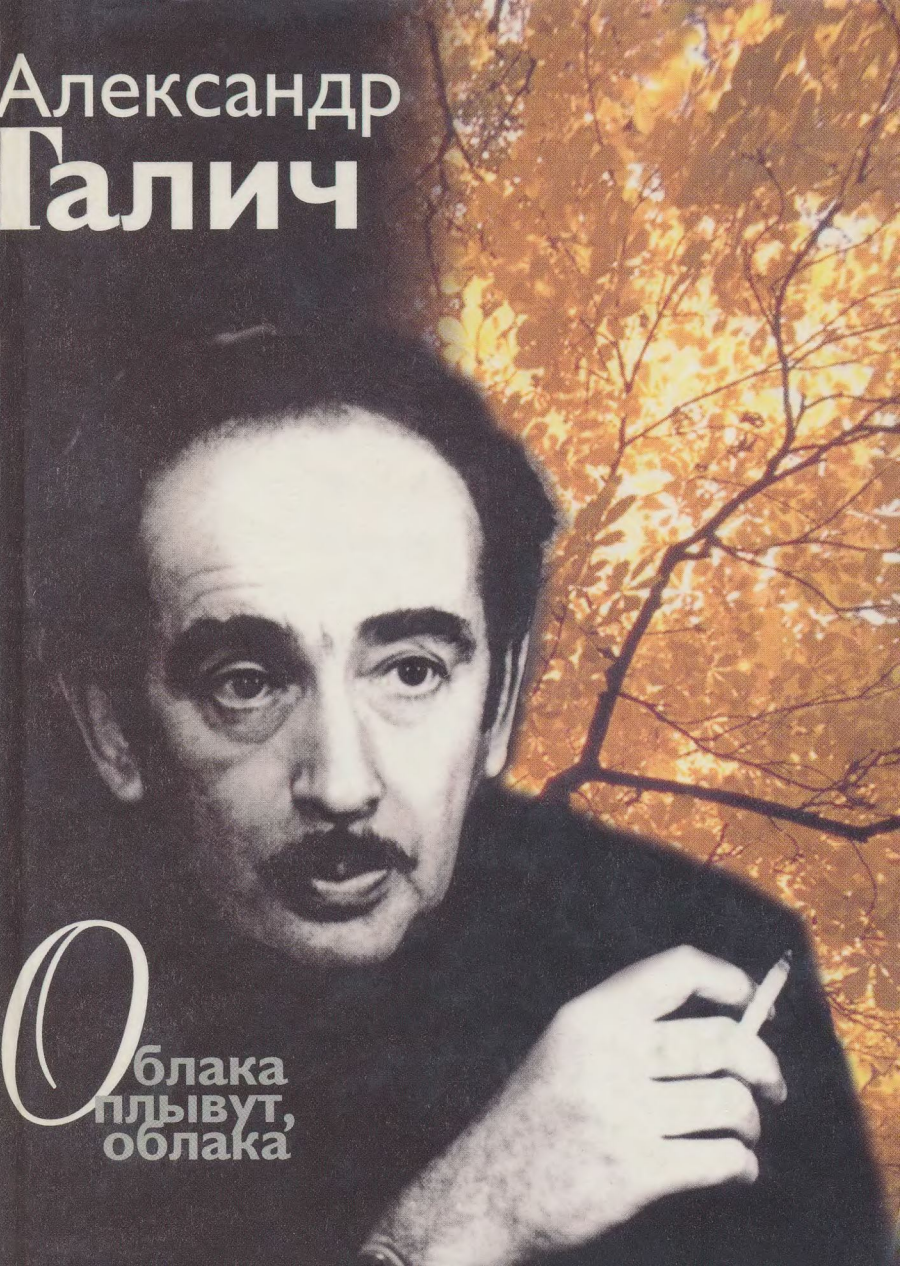
Александр
Галич

Александр **Галич**

Облака
плывут,
облака

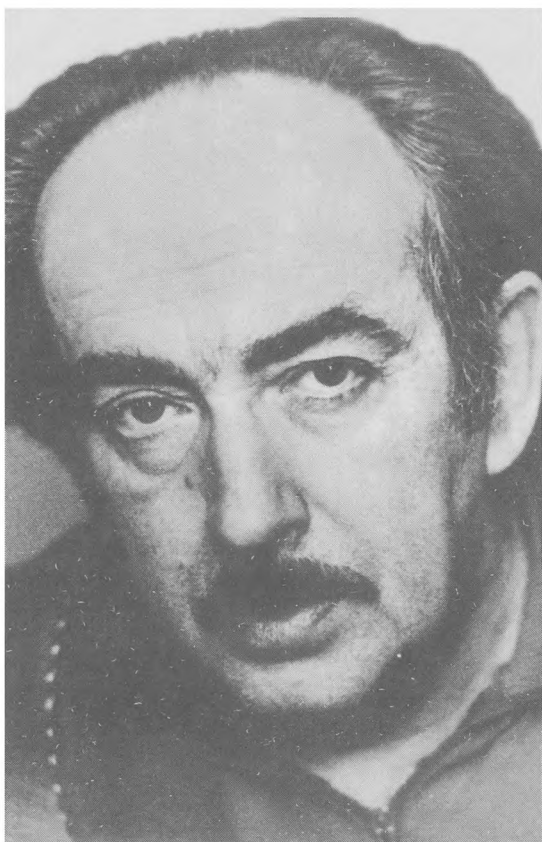
Облака
плывут,
облака

ЭКСМО



Александр
Галич

*Облака
плывут,
облака*



Александр Тихов

Александр
Галич



*Облака
плывут,
облака*

Москва

«ЛОКИД»

ЭКСМО-ПРЕСС

1 9 9 9

УДК 882-1
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Г 15

Составитель *А. Костромин*
Оформление художника *Е. Ененко*
Серия основана в 1998 году
На фронтисписе фото Л. Полякова,
25 января 1973 г.

Г 15 **Галич А. А.**
Облака плывут, облака: Песни, стихотворения. — М.: Изд-во Локид, ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. — 496 с.

ISBN 5-04-003567-5

«Популярным бардом я не являюсь... Я поэт. Я пишу свои стихи, которые только притворяются песнями, а я только притворяюсь, что их пою. Почему же вдруг человек немолодой, не умея петь, не умея толком аккомпанировать себе на гитаре, все-таки рискнул и стал этим заниматься? Наверно, потому, что всем нам — и там, и здесь — слишком долго вдали хорошо поставленными голосами. Пришла пора говорить правду. И если у тебя нету певческого голоса, то, может быть, есть человеческий, гражданский голос. И, может быть, это иногда важнее, чем обладать бельканто». Эти слова Александра Галича (1918—1977), сказанные четверть века назад, звучат вполне злободневно...

УДК 882-1
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 5-04-003567-5

© Галич А. А., наследники, 1998 г.
© Составление, оформление.
ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс»,
1999 г.
© Издательство «Локид», 1999 г.



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Поэтическое творчество Александра Галича¹, несмотря на огромную аудиторию его поклонников, до сих пор изучено явно недостаточно. Тому есть причины. Первая из них — почти подпольное существование песенной лирики А. Галича, долгие годы находившейся под негласным, а потом и фактическим запретом. Вторая причина — эмиграция, вынужденный отрыв поэта от Родины. В предисловии к единственному сборнику стихов, в работе над которым он принимал непосредственное участие — «Когда я вернусь» (Посев, 1977), Галич сформулировал основные трудности работы с его текстами, не преодоленные и по сей день: «Когда я уезжал из России, я не взял с собой никаких бумаг. Ни черновиков, ни записных книжек, ничего решительно. Я не был уверен, что бумаги мои пропустят, и понадеялся на свою память. Память меня не подвела! Но, тем не менее, сегодня, сейчас, три года спустя, я с великим трудом заставляю себя закончить работу над составлением этого сборника. <...> Мне всё время кажется, что было что-то ещё, и ещё, и ещё, что я всё-таки многое растерял, забыл... Может быть, я и вправду что-то забыл!»

В данной книге собраны все самостоятельные стихотворные тексты «неподцензурного» А. Галича, известные составителю на июль 1998 г. в виде публикаций и

¹ Псевдоним Александра Аркадьевича Гинзбурга с 1948 г.

авторских фонограмм, за исключением двух-трёх произведений, расшифровать которые не удаётся из-за крайне низкого качества записи.

В книге в меру возможностей устранены многочисленные расхождения в датировках текстов А. Галича, встречающиеся в разных их публикациях. За исключением случаев, где автор сам проставил даты под стихотворениями (что бывало редко), все даты проставлены составителем и даются в угловых скобках, в том числе вызывающие сомнения в точности — со знаком вопроса, — и такие даты составляют большинство: разночтения в посмертной датировке некоторых песен доходят до пяти лет. Составитель будет благодарен за любые сведения, уточняющие ту или иную дату — ведь без точной хронологии невозможна и текстология...

Основным источником текстов Галича традиционно являются «тамиздатовские» книги, в первую очередь издательства «Посев». Однако составитель счёл возможным в целом ряде случаев отойти от привычных «посевских» вариантов текста, отдав предпочтение «магнитиздату» — всё-таки песня жива только в звучащем виде. Восстановлены пропуски некоторых самоценных фрагментов и строк; стихотворная форма песен приведена в соответствии с музыкальной формой. Ну и, конечно, невозможно было обойти вниманием материалы из архивов, опубликованные в последние годы.

Выражаю глубокую признательность за помощь в подготовке рукописи А. Азарову, В. Альтшуллеру, Г. Бургучевой, А. Иванову, Н. Игнатовой, А. Крылову, А. и М. Левитанам, В. Юровскому, Центру авторского творчества (Московскому КСП), а также всем авторам воспоминаний, цитируемых в этой книге.





...Я обращаюсь мысленно ко всем знакомым и неизвестным людям на Востоке и на Западе: «Не молчите! Поймите, молчать нельзя!.. Поверьте, это разрешается, это не стыдно, это можно — утешать вдов и сирот. Это можно, это не стыдно — бороться с несправедливостью и ложью, помогать страждущим, вступаться за униженных и оскорблённых. Поймите, мы живём в одно время, на одном земном шаре, и пусть кто-то продолжает демагогически болтать о вмешательстве в чужие дела — нет на нашей земле чужих дел! Все дела наши!»

*(Из передачи на радио «Свобода»
от 14 сентября 1974 года)*

СТАРАТЕЛЬСКИЙ ВАЛЬСОК

*Мы давно называемся взрослыми
И не платим мальчишеству дань.
И за кладом на сказочном острове
Не стремимся мы в дальнюю даль!
Ни в пустыню, ни к полюсу холода,
Ни на катере — к этакой матери...
Но поскольку молчание — золото,
То и мы, безусловно, старатели.*

*Промолчи — попадёшь в богачи,
Промолчи, промолчи, промолчи!*

*И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надёжности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгнули смолода...
А молчалники вышли в начальники,
Потому что молчание — золото.*

*Промолчи — попадёшь в первачи,
Промолчи, промолчи, промолчи!*

*И теперь, когда стали мы первыми,
Нас заела речей маята,
Но под всеми словесными перлами
Проступает — пятном — немота.
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!
Мы-то знаем — доходней молчание,
Потому что молчание — золото!*

*Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть в палачи —
Промолчи, промолчи, промолчи!*

<1963>





Как недавно, и ах,
как давно...





...Запахи Севастополя — первого города, живущего в моей памяти, — были летними: мокрые и тёплые камушки, солёная морская вода в нефтяных разводах и гниющие на берегу водоросли, сладковатый запах пыльной акации, которая росла на нашем дворе. А в знаменитой панораме «Оборона Севастополя» пахло совсем замечательно — скипидаром, лаком и деревом, нагретым солнцем.

Мы медленно шли с мамой по круглой галерее панорамы — мимо окон, за которыми расстились форпосты береговой обороны и виднелись окутанные дымом корабли с распухшими парусами.

Но, как ни странно, корабли меня заинтересовали не слишком. Мы жили недалеко от Графской пристани, большую часть дня я проводил на берегу и кораблей — и военных, и торговых, и парусников — навиделся предостаточно...

...После того как мы переехали из Севастополя в Москву, мы поселились в Кривоколенном переулке, в доме номер четыре, который в незапамятные времена — сто с лишним лет назад — принадлежал семье поэта Дмитрия Веневитинова. Осенью тысяча восемьсот двадцать шестого года, во время короткого наезда в Москву, Александр Сергеевич Пушкин читал здесь друзьям свою только что законченную трагедию «Борис Годунов».

В зале, где происходило чтение, мы и жили. Жили, конечно, не одни. При помощи весьма непрочных, вечно

грозящих обрушиться перегородок зал был разделён на целых четыре квартиры — две по правую сторону, если смотреть от входа, окнами во двор, две по левую — окнами в переулок, и между ними длинный и тёмный коридор, в котором постоянно, и днём и ночью, горела под потолком висевшая на голом шнуре тусклая электрическая лампочка.

Окна нашей квартиры выходили во двор. Вернее, даже не во двор, а на какой-то удивительно нелепый и необыкновенно широкий балкон, описанный в воспоминаниях Погодина о чтении Пушкиным «Бориса Годунова».

...Передо мной на столе лежат пожелтевшая от времени программа и пригласительный билет на закрытое заседание Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности, посвящённое столетней годовщине чтения Пушкиным «Бориса Годунова» у Веневитиновых.

Программки были отпечатаны тиражом всего в шестьдесят экземпляров. И то это было много, потому что торжественное заседание происходило не где-нибудь, а в нашей квартире — в одной из тех четырёх квартир, что были выгорожены из зала веневитиновского дома. И хотя квартира наша состояла из целых трёх комнат, комнаты были очень маленькими, и как разместились в них шестьдесят человек — я до сих пор ума не приложу.

Все, однако же, каким-то непостижимым образом разместились.

В воскресенье двадцать четвёртого октября (двенадцатого по старому стилю) тысяча девятьсот двадцать шестого года состоялся этот незабываемый для меня вечер.

...Первым, часам к шести, приехал старший брат моего отца — профессор Московского университета,

пушкинист, один из организаторов этого вечера. Он рассеянно бродил по комнатам, теребил мягкую седую бородку, бесцельно переставляя стулья с места на место, и вообще по всему было видно, что он очень волнуется.

И вот наконец пробило восемь и начали появляться приглашённые. Они здоровались с дядюшкой и отцом, целовали руку маме, улыбались мне, но всё это ещё не было чудом, я знал — чудо было впереди.

Открыл вечер председатель Общества любителей российской словесности профессор Сакулин. Потом с короткими сообщениями выступили профессор Цявловский и дядюшка, а потом, после недолгого перерыва, началось чудо. В программке это чудо называлось так:

«Чтение отрывков из «Бориса Годунова» артистами Московского Художественного театра. Сцену «Келья в Чудовом монастыре» исполняют Качалов и Сеницын, сцену «Царские палаты» — Вишневский, сцену «Корчма на литовской границе» — Лужский, сцену «Ночь, сад, фонтан» — Гоголева и Сеницын, и отрывок из воспоминаний Погодина о чтении Пушкиным «Бориса Годунова» у Веневитиновых исполнит Леонидов...»¹

Алёна Архангельская, актриса, дочь Галича:

«Дядя Галича, известный литературовед-пушкинист Лев Самойлович Гинзбург, очень почитал день пушкинского лицейского братства — 19 октября. И после переезда семьи Гинзбургов в Москву к дяде день рождения маленького Саши тоже стали отмечать в этот день — 19 октября».

¹ Здесь и далее все прозаические (кроме статей и эссе) тексты, выделенные курсивом и не имеющие подписи, принадлежат Александру Галичу. (Прим. сост.)

*...В начале тридцатых годов мы переехали из вене-
витиневского дома на Малую Бронную, и моим миром
стали Никитские ворота, Тверской бульвар, Большая
и Малая Бронная и, конечно же, Патриаршие пруды:
летом — зелёный сквер с прудом и лодочной станцией,
а зимой — каток.*

*Каток на Патриарших прудах! Как часто, с какой
благодарностью и нежностью я вспоминаю тебя!*

*...Это был не просто каток. Это был своего рода
клуб, место, где мгновенно возникали и так же мгно-
венно кончались неистовые и стремительные юношес-
кие романы, где выяснялись отношения и обсуждались
планы на будущее.*

*И всё это под шум, смех, звон коньков и похрипыва-
ние духового оркестра, повторявшего раза три в вечер
свой коронный номер — вальс «На сопках Маньч-
журиш»...*

*...Мы — мальчишки — непременно и обязательно
встречались дважды в неделю на занятиях литератур-
ной бригады при газете «Пионерская правда».*

«Пионерская правда», 23 мая 1932 года:

**«Саша Гинзбург. Пионер с 1927 г. Работал редак-
тором отрядной стенгазеты. В 1930 году вступил в лит-
бригаду «Пионерской правды». Сейчас Саше 14 лет».**

МИР В РУПОРЕ

Ночь легла, как всегда черна,
Как всегда по небу созвездья рассыпав,
И врывался ветер в рамы окна,
И за станцией шумели липы.
А он сидел, наклонясь над столом.
Он морщил лоб, настойчив и зол,
Модель росла, и время росло,
И груды частей заполняли стол.

Под тонкой ножовкой скрипела жёсть,
Болтов чугунных упруг зажим,
Они ложились метрами рельс
Через границы и рубежи,
Они ложились, как медь проводов,
Как фонарей станционных огни,
Они ложились, как грохот и кровь
Ударно пульсирующей страны,
Они ложились в упругие шайбы,
Скованы твёрдой, настойчивой волей,
Чтоб завтра туркменка школьница Зайбет
Могла услышать ленинградца Колю,
Чтоб завтра по волнам эфира ринуться,
Чтоб завтра греметь им в ответном марше,
Чтоб завтра ударно в год одиннадцатый
Вступила вся пионерия наша.
И он сидел, наклонясь над столом,
Модель росла, и время росло.
По серой доске егозил рубанок,
Вгрызаясь в дерева плотную толщу,
Чтоб завтра здесь пионер Туркестана
Услышал далёкий голос из Польши.
И если тот же горячий рупор
Крикнет, волны эфира меряя:
«А ну! Скажи-ка, Реймиз Арупов,
Что ты сделал для пионерии?»
Он скажет, призывом горя:
«Всё, что я делал, и всё, чем я жил,
Всё для тебя, отряд.
Я забывал про усталость и страх,
Я набирал темп,
Я с бригадою вёл трактора
На посевную степь,
Я рассеивал темь и грязь,

Шёл дорогой побед,
И это всё для тебя, отряд,
Все эти восемь лет».
И он сидел, наклонясь над столом,
И ночь росла, и время росло.
Часы топорщили стрелок кончики,
В комнате тени легли огромны,
И на столе стоял законченным
Ламповый радиоприёмник.

<1932>

В одной из комнат редакции, где так замечательно пахло табачным дымом, типографской краской, бумагой, чернилами, дважды в неделю мы читали свои новые стихи (а тогда мы все писали стихи) и, как щенята, с весёлой злостью набрасывались друг на друга, разносили друг друга в пух и прах за любую провинность: стёртую или неточную рифму, неудачный размер, неуклюжее выражение.

Евгений Долматовский, поэт:

«...В 1931 году мы оба состояли в деткоровском активе «Пионерской правды», наши первые стихи были напечатаны на одной полосе газеты и даже сопровождаемы портретами. Ту группу деткоров составляли и другие мальчики, ставшие писателями, — Владимир Дудинцев, Даниил Данин, Яков Хелемский, Иван Меньшиков (в годы войны ставший отважным партизаном и погибший)».

... Однажды Рахтанов сказал:

— С вами хочет познакомиться поэт Эдуард Багрицкий. Следующее занятие — в пятницу — мы проведём у него дома. Я рассказывал ему про нашу бригаду, и он просил, чтобы я вас к нему привёл!

...Диковинное оружие висело на диковинном стенном ковре, диковинные рыбы плавали в диковинных аквариумах, диковинный человек с серо-зелёными глазами и седым чубом, спадавшим на молодой лоб, сидел, поджав по-турецки ноги, на продавленном диване, задыхался, кашлял, курил — от астмы — вонючий табак «Астматол» и, шурясь, слушал, как мы читаем стихи.

Всего в нашей бригаде было человек пятнадцать, и стихи мы читали по кругу, каждый по два стихотворения.

Багрицкий слушал очень внимательно, иногда — если строфа или строчка ему нравились — одобрительно кивал головой, но значительно чаще хмурился и смешно морщил нос.

Когда чтение кончилось, Багрицкий хлопнул ладонью по дивану и сказал, как нечто очевидное и давно решённое:

— Ладно, спасибо! В следующий раз — в пятницу — будем разбирать то, что сегодня читали! — Он хитро нам подмигнул: — Приготовьтесь! Будет не разбор, а разнос!..

Так неожиданно мы стали учениками Эдуарда Багрицкого.

Это было и очень почётно, и совсем не так-то легко.

Эдуард Георгиевич был к нам, мальчишкам, совершенно беспощаден и не признавал никаких скидок на возраст.

Он так и говорил:

— Человек — или поэт, или нет! И если ты не умеешь писать стихи в тринадцать лет, ты их не научишься писать и в тридцать!..

Как-то раз я принёс чрезвычайной дурацкие стихи. Написаны они были в форме письма моему якобы родственнику и крупному поэту, проживающему где-то в чужой стране. В этом письме я негодовал по поводу того, что поэт не возвращается домой, и утверждал,

что когда-нибудь буду сочинять стихи не хуже, чем он, а может быть, даже и лучше.

Багрицкий рассердился необыкновенно.

Он чуть не подпрыгнул на своем продавленном диване, замахал руками и закричал, кашляя и задыхаясь:

— Глупости! Чушь собачья! Ерунда на постном масле! Почему это я когда-нибудь буду писать не хуже, чем он?! Я уже и сейчас пишу в тысячу раз лучше!

— Так ведь это я не про вас, Эдуард Георгиевич, — попытался я оправдаться, — это же я про себя!

И тут Багрицкий сказал удивительные слова. И сказал их уже без крика, а серьёзно и негромко:

— Ты поэт. Ты мой поэт. Всякий поэт, который находит своего читателя, — становится его поэтом. И всё, что ты говоришь, ты говоришь и от моего читателя, имени... Запомни это хорошенько!

Я запомнил, Эдуард Георгиевич, я не забыл!

...Когда Багрицкий умер, наша бригада как-то сама собою распалась, и мы разбрелись кто куда. В те годы многие видные поэты вели кружки молодых, и я перебивал в кружках Сельвинского, Луговского, Светлова, но так нигде толком не прижился.

А потом для меня начался театр, и стихи на долгие годы и вовсе ушли из моей жизни.

...В тысяча девятьсот тридцать пятом году, окончив девять классов десятиклассной средней школы, которая обрыдла мне до ломоты в скулах, я нахально решил поступить в Литературный институт.

Как ни странно, меня приняли на поэтическое отделение необыкновенно легко и даже почти без экзаменов. Сыграла свою роль, наверно, заметка Эдуарда Багрицкого в газете «Комсомольская правда», которую он написал незадолго до своей смерти и где он в чрезвычайно лестных тонах упоминал моё имя.

Но, уже поступив в Литературный институт и болтаясь по Москве в ожидании начала занятий — дело происходило летом, — я вдруг узнал, что на улице

Горького (тогда она ещё называлась Тверской), в доме номер двадцать два, где помещалась ранее Малая сцена Художественного театра, открывается новая театральная Школа-студия под руководством самого Константина Сергеевича Станиславского, в какую студию и производится набор лиц обоего пола в возрасте от семнадцати до тридцати пяти лет!

Я затрепетал и заметался!

...Конкурс был немислимый — сто человек на одно место. Приёмные испытания проводились в четыре тура, причём с каждым новым туром экзаменаторы были всё более знаменитыми и всё более строгими.

На предпоследнем, третьем, туре председательствовал Леонид Миронович Леонидов, великий театральный актёр и педагог, прославленный Митя Карамазов.

...На следующий день я с совершенно искренним удивлением узнал, что допущен к четвёртому туру — то есть, в сущности, принят в студию, так как четвёртый тур заключался в показе самому Константину Сергеевичу Станиславскому уже отобранных будущих учеников.

...Через несколько дней после этого показа нам торжественно вручили удостоверения, в которых чёрным по белому было написано, что мы являемся студийцами первого курса Оперно-драматической студии народного артиста СССР Константина Сергеевича Станиславского.

...Целый учебный год, с осени до весны, я метался как заяц из Литературного института в Студию, а потом снова в институт и снова в Студию — благо хоть находились они недалеко друг от друга.

Перед весенними экзаменами меня остановил Павел Иванович Новицкий, литературовед и театральный критик, который и в институте и в студии читал историю русского театра, и характерным своим ворчливым тоном сказал:

— На тебя, братец, смотреть противно — кожа да кости! Так нельзя... Ты уж выбирай что-нибудь одно... — Помолчав, он ещё более ворчливо добавил: — Если будешь писать — будешь писать... А тут всё-таки Леонидов, Станиславский — смотри на них, пока они живы!

И я бросил институт и выбрал Студию.

Михаил Львовский, писатель:

«В конце тридцатых годов меня, девятнадцатилетнего студента Литинститута имени Горького, пригласили на экзамен по художественному слову в театральное училище имени Станиславского: «Интересный парень будет читать. Пойдём, не пожалеешь...»

Экзамен проходил в знаменитом доме Станиславского, где после его смерти проводились некоторые мероприятия Студии.

Сначала у рояля оказалась аккомпаниаторша, а потом к тому месту, которое обычно занимают певцы, подошёл высокий юноша. Он был похож на представление всех барышень мира о том, каким должен быть артист: матово-бледный, с большими сверкающими глазами. Красив, и при этом никакой сладости — одна одухотворённость.

— Куприн, «Гамбринус».

«Гамбринус» — рассказ немаленький. Почти акт пьесы. А Галич перед слушателями один. Да ещё какими слушателями! Ведь на зачехлённых диванах — студийцы, артисты МХАТа, педагоги. Представляю, какого страха должен был он натерпеться!

Когда герой Саша, скрипач, которого тоже звали Сашкой, изувеченный погромщиками, приложил к губам свистульку-окарину и заиграл плясовую — всё в том же «Гамбринусе», где его так любили, — у меня в глазах стояли слёзы. В гостиную зааплодировали. Кто-то из педагогов сказал: на экзаменах аплодировать

нельзя. Аплодисменты стихли. Но они возникли чуть позже, когда выступление закончилось».

После того как умер Константин Сергеевич и тяжело заболел Леонидов, из Студии и вовсе словно выпустили воздух, и я совершил очередной отчаянный шаг: не окончив учебного курса, перешёл в другую студию — Московскую театральную студию, которой руководили режиссёр Валентин Плучек и драматург Алексей Арбузов.

О, в этой новой студии не только не шарахались от современности — здесь жили современностью, дышали современностью, клялись современностью.

Она и создавалась-то, эта студия, на общественных началах: мы сами за свои деньги (большую часть давал Арбузов) снимали помещение школы на улице Герцена, напротив консерватории, и в этой школе по вечерам репетировали пьесу «Город на заре» — о строительстве Комсомольска.

Мы всё делали сами: сами эту пьесу писали (под редакцией Арбузова), сами режиссировали (под руководством Плучека), сами сочиняли к ней песни и музыку, рисовали эскизы декораций...

Исай Кузнецов, кинодраматург:

«Появился он у нас осенью тридцать девятого года, вечером, перед началом репетиции. В зале почему-то было полутемно. Галич беседовал с Арбузовым и Плучеком. Больше никого не было. Когда мы с Гердтом вошли, Плучек познакомил нас с Сашей.

Признаться, он нам не очень понравился. Может быть, потому, что держался — думаю, от смущения — подчёркнуто независимо и гордо».

Михаил Львовский:

«Пьеса «Город на заре» — о «сталинской ударной стройке», о создании Комсомольска-на-Амуре. В ней

множество обаятельных персонажей. И вот появляется Галич — красивый, одухотворённый, интеллигентный. Кого же ему играть? Никаких сомнений — подлецатроцкиста Льва Борщаговского.

За что же, однако, Саше такая пакость? А не будь одухотворённым, не выгляди интеллигентно! Саша действительно играл законченного подльца. По роли он должен был то и дело произносить демагогические речи, спорить с коллективом, предавать друзей.

В «Городе на заре» было много песен. Одна народная — «Не кукуй, горька кукушечка, на осине проклятой» с припевом «В лесу, говорят, в бору, говорят, росла, говорят, сосёнка...». Была ещё одна прибалтийская — «Вдруг из леса пара показалась, не поверил я своим глазам». Остальные песни были сочинены нами самими. «У берёзки мы прощались» сложили Сева Багрицкий (стихи) и студиец Баринов (мелодия). У Севы не ладилось окончание песни, и два последних куплета написал я. Другая песня — «Прилетели птицы с юга, на Амур пришла весна» — целиком принадлежала Галичу.

...Издавая пьесу после войны, Арбузов в качестве автора песен назвал только Севу Багрицкого. Сева погиб на фронте, поэтому мы с Галичем никаких претензий не выражали.

Я думаю, что с «Города на заре» и начался Галич-песенник».

* * *

Прилетели птицы с юга,
На Амур пришла весна.
Жду тебя, моя подруга,
Жду тебя, моя подруга,
Там, где старая сосна.

И звезда над той сосною
Синим пламенем горит,
Будем мы тогда с тобою,
Будем мы тогда с тобою
Целоваться до зари.

Утром звёзды догорают,
Солнца выглянут лучи,
Никакая сила злая,
Никакая, никакая
Нас с тобой не разлучит.

<1940>

Людмила Нимвицкая, актриса:

«Мало кто мог подумать в конце 30-х и начале 40-х годов, что из этого красивого, улыбчивого, барственно-го «шалопая», музыканта и сочинителя стихов на все случаи жизни, компанейского и доброго вырастет такой твёрдый и бескомпромиссный художник... Хотя есть мнение, что из «шалопаяев»-то и выходят настоящие люди.

Конечно, не подозревали об этом и мы, члены арбузовской студии, когда Саша Гинзбург появился у нас вечером на одной из репетиций «Города на заре». Тогда он учился в Школе-студии Станиславского. Но слух о нашей студии уже шёл по Москве. Вокруг неё складывалась особая атмосфера открытости. И он пришёл к нам.

К нам приходили студенты чуть ли не всех вузов Москвы. Постоянными «болеельщиками», например, стала шестёрка поэтов из Литинститута во главе с Михаилом Львовским. У нас Саша познакомился с этой напористой «шестёркой», куда входили всем теперь известные Сергей Наровчатов, Павел Коган, Додик Ка-

уфман (Давид Самойлов), Михаил Кульчицкий и Борис Слуцкий...»

В группу так называемых «друзей студии» входили и многие уже известные писатели, и студенты из ИФЛИ и Литературного института, и даже знаменитый боксёр Николай Королёв.

Людмила Нимвицкая:

«Родственник Саши работал в Большом зале консерватории. Он доставал билеты на лучшие концерты, причём для всей студии. Саша жил в благополучной семье, и, когда днём многие из нас работали, мы знали, что он играет в теннис с Андреем Гончаровым.

Вспоминается, как дважды Сашу исключали из студии. Совет студии был суров. Первый раз — за курение. Он нарушил обет «никому не курить». Второй раз — за игру на бильярде в перерыве между репетициями, — это когда мы снимали помещение в клубе Наркомфина.

В то время мы увлекались Хемингуэем, Пастернаком, устраивали вечера французской, испанской поэзии — каждый читал свои любимые стихи. Жить было интересно.

Наконец 17 сентября 1940 года приказом Министерства культуры за № 537 студия стала ещё одним театром Москвы.

...До сих пор вспоминаем песенку Саши, с которой он пришёл на встречу Нового 1941 года. Листочек с текстом, который мы тут же разучили и пели со счастливыми лицами:

Светом луны согрета,
По улице ночь идёт...
Ах, неужели это
Действительно Новый год!..

И припев:

Всё, что не успел сыграть,
Всё, о чём не смел мечтать,
Сбудется наверно
В новом — сорок первом,
Старый не придёт опять!..

Исай Кузнецов:

«Таков был припев песенки, сочинённой компанией, куда входили всё те же — Гердт, Львовский, Багрицкий, Галич и я. Мелодия — Галича».

Пятого февраля 1941 года спектаклем «Город на заре» студия открылась и стала существовать как театр.

Людмила Нимвицкая:

«Это было событие! Афиши по всему городу. Своё помещение на Малой Каретной, где и сыграли 5 февраля 1941 года премьеру «Города на заре». Успех был огромный».

А. Галич

«ВСТАВАЙ, ВСЕВОЛОД...»

...Я познакомился и подружился с Севой Багрицким в 1939 году. Нам посчастливилось быть в числе участников и создателей пьесы и спектакля «Город на заре». И вот там-то, в Московской театральной студии, я впервые увидел Севу — по-мальчишески нескладного, длинноногого, сутуловатого, с тёмным пушком над верхней губой.

Севка, как и все мы, студийцы, делал в студии решительно всё — писал пьесу, режиссировал, играл в массовых сценах, выпускал стенную газету, приду-

мывал этюды, пытался даже (при фантастическом отсутствии слуха) сочинять музыку.

Слова песни, написанной Севою и переложённой на музыку одним из студийцев, прочно вошли в наш первый спектакль и стали как бы гимном студии:

У берёзки мы прощались,
Уезжал я далеко.
Говорила, что любила,
Что расстаться нелегко!
Вот он — край мой незнакомый,
Сопки, лес да тишина!
Солнце светит по-иному,
Странной кажется луна.
На работу выйдем скоро,
Будет сумрак голубой,
Будет утро, будет город —
Молодой, как мы с тобой!..

Ранней весной 1941 года мы читали коллективу студии новую пьесу. Мы давно мечтали о ней и наконец написали её, написали втроём — Всеволод Багрицкий, Исай Кузнецов и я. Мы писали её в перерывах между занятиями и репетициями, писали по ночам и во время летнего отдыха, пересылая в письмах друг другу, в трёх экземплярах, реплики героев и отдельные сцены.

Называлась пьеса «Дуэль». Нам казалось, что название это очень точно определяет наш замысел — показать дуэль, борьбу романтики подлинной с романтикой ложной, любви настоящей с любовью придуманной, показать дуэль обывательской, мещанской убеждённости в том, «как всё должно быть», с тем, как оно бывает в жизни на самом деле.

Пьеса была наивная и занятная. 21 июня 1941 года, в субботу, днём, в тёмном и пустом зрительном

зале, ещё не умея прятать блаженную и растерянную авторскую улыбку, мы смотрели прогон почти готового спектакля.

Премьера, намеченной на осень, не было суждено состояться. Через несколько часов после прогона, на рассвете следующего дня, началась война.

— На фронт буду проситься! — покашливая и чуть задыхаясь, говорил Сева. — Непременно на фронт! А если не возьмут по здоровью — так в трактористы пойду! Что я, на тракторе, что ли, не выучусь?! Надо, ребята, что-то настоящее делать!

— А стихи? — спросил я.

Сева остановился, знакомым — багрицким — движением наклонил голову, точно собираясь боднуть собеседника, знакомым, глуховатым — багрицким — голосом проговорил:

— Стихи я писать буду всегда! Где бы я ни был, что бы я ни делал — стихи навсегда!..

Всеволод Багрицкий погиб на фронте Великой Отечественной войны, пал смертью храбрых.

...Я снимаю с полки томик стихов Эдуарда Багрицкого, перелистываю, останавливаюсь на заложенной странице...

И два лица в моей памяти как бы сливаются в одно лицо — лицо воина и поэта, два голоса — глуховатый взрослый и глуховатый мальчишеский — произносят знакомые строчки:

Вставай же, Всеволод,
И всем владай!..
«Вставай под осеннее солнце!»

Всеволод Багрицкий завоевал это гордое право «всем владать» — он заплатил за него жизнью...

(«День поэзии», 1960)

Двадцать второго июня, в день начала войны, студия как-то сразу перестала существовать. Большинство студийцев — не только мужчины, но и женщины — уйдут на фронт, и многие, среди них и сын поэта Эдуарда Багрицкого — Всеволод, погибнут...

Людмила Нимвицкая:

«В начале войны А.Арбузов и В.Плучек, отдохавшие на юге, долго не могли вернуться в Москву. За это время почти все наши мужчины были призваны в армию. Никого мы не проводили. Многие уходили срочно. Так ушли Коля Потёмкин (Жмельков), Зяма Гердт (Альтман), Гриша Михайлов (Зорин), Женя Долгополов (Башкатов), Кирилл Арбузов (Юагров), Максим Селескириди (Зяблик), Исай Кузнецов, Коля Подымов, Марина Малинина, игравшие в хоре строителей города...»

А меня в армию не взяли. Уже первые врачи — терапевт, глазник и невропатолог — на медицинской комиссии в райвоенкомате признали меня по всем основным статьям негодным к отбыванию воинской повинности.

Тогда, чтобы хоть что-то делать, я устроился коллектором в геологическую экспедицию, уезжающую на Северный Кавказ.

Но доехали мы только до города Грозного — дальше нас не пустили.

Возвращаться в Москву казалось мне бессмысленным — там в эту пору не было ни близких, ни друзей.

Из грязной и шумной, похожей на огромное бестолковое общежитие гостиницы «Грознефть» я перебрался на частную квартиру — в маленькую комнатёнку в

маленьком домике, стоявшем в саду на спокойной окраинной улице Алхан-юртовской.

Как-то неожиданно легко я устроился завлитом в городской Драматический театр имени Лермонтова, начал переводить чеченских поэтов — и с некоторыми из них подружился, организовал с группой актёров и режиссёров Театр политической сатиры.

Матвей Грин, писатель:

«...Именно в эти дни приближающегося к городу фронта, как-то идя по главной улице города — проспекту Революции, я обратил внимание на молодого человека, видимо, без всякой цели бродившего по городу. Обратил я на него внимание потому, что очень уж «нездешний» вид у него был: пиджак в клетку, берет, узконосые ботинки, яркая рубашка да ещё гитара за плечами... Он шёл медленным шагом, внимательно рассматривая прохожих — видно, барашковые папахи мужчин и низко повязанные косынки женщин ему были в диковинку...

«У моста патруль стоит — обязательно заберут проверить документы. Примут за шпиона», — подумал я и подошёл к незнакомцу.

— Что вы ищете, молодой человек? — спросил я.

— Редакцию или какое-нибудь учреждение искусства, — ответил он.

— Ну, считайте, что нашли и то и другое! Я работаю в редакции и заведу литературной частью Театра миниатюр.

— А говорят, Бога нет! Есть! Конечно, есть! — засмеялся незнакомец. Мы направились в редакцию, и по дороге, а позже вечером — у нас дома, когда жена кормила его обедом и приводила в порядок его нехитрый гардероб, он рассказал нам свою историю... Поэт, бард (правда, тогда такого слова ещё не было в нашем лексиконе), артист студии Арбузова, в армию не взяли

«по сердечной недостаточности», очень хочет быть полезен поэзии, искусству в эти трудные дни.

...Утром я привёл Сашу в театр. Он удивительно быстро сошёлся со всей труппой, как-то сразу стал «своим» в этом маленьком коллективе единомышленников.

У него не было столичного нигилизма, а мог быть, особенно при сравнении знаменитой арбузовской студии с нашим маленьким театриком. Не было у него и натужного желания быстренько стать «душой» общества — с помощью столичных сплетен о знаменитостях и неизвестных в провинции анекдотов...

— Братцы! Что надо делать? — просто спросил Саша. И стал делать всё, что нужно было театру, зрителям, фронту, наконец! Нашли место в программе, и он пел под свою гитару. Песни были не просто фронтовые, но, так сказать, с местным колоритом. С фронта уже шли сообщения о чеченце капитане Мазаеве, о снайпере Ханпаше Нурадилове — их героических подвигах... И Саша писал и пел песни о них. Был у нас в театре свой композитор — Саша Халепский, он придавал мелодиям кавказский колорит, но музыку сочинял сам Галич. Песни его имели оглушительный успех... Конечно, он стал одним из главных наших актёров».

Я писал для спектаклей этого театра песни и интермедии. Песни были лирические, интермедии идиотские. В некоторых из них я сам играл.

...В тот первый военный год я написал довольно много стихов, но черновики растерял, стихи позабыл, а вот эти две альбомные строфы почему-то запомнил:

*Лают азиатские собаки,
Гром ночной играет вдалеке...
Мне б ходить в черкеске и папахе,
А не в этом глупом пиджаке!*

*Мне б кинжал у талии осиной
И коня — земную благодать,
Чтоб с тобою, с самою красивой,
На скаку желанье загадать!...*

...Через Баку и Красноводск я добрался до города Чирчика, где собрались во главе с Валентином Плучеком остатки студии.

Людмила Нимвицкая:

«...Наши руководители получили бронь для актёров студии, которая единодушно решила стать фронтовым театром. Но вернуть наших ребят из частей было уже невозможно, и на брони, которые были даны им, пришлось брать людей со стороны, чтобы продолжать работу...

Без наших актёров не мог идти «Город на заре». Мы спешно приготовили небольшой спектакль-лубок эстрадного характера — «Братья Ивашкины», и в октябре должны были выехать на Северный флот. Но в дни паники Министерство культуры быстро эвакуировалось, не передав нам всех необходимых документов.

Студию направили в Ташкент, — готовить репертуар. А.Арбузов с семьёй, Сева Багрицкий и С.Соколов уехали за это время в Чистополь.

Основная группа во главе с В. Плучеком, добравшись до Ташкента, была помещена в небольшой барак в городе Чирчике. Там на клубной сцене мы и приготовили два спектакля: «Парень из нашего города» К.Симонова и комедию Гольдсмита «Ночь ошибок», в которой Саше была поручена роль первого любовника. Красивый в жизни, на сцене он выглядел несколько «нескладным» и простодушным. Зато роль Аркадия в пьесе Симонова была его большой удачей — он был необыкновенным и красивым человеком. Это вносило в спектакль особую одухотворённость. Он был замечательным партнёром на сцене. Саша был разносторонне

одарённым человеком. Он мог бы стать и актёром, но, думается мне, его поэтический и литературный талант был более значительным. Его актёрские работы были исполнением заданий режиссёра. В них он был всегда одинаков — шёл от себя. Его не увлекало создание характерных ролей, стремление к перевоплощению. Он становился совсем другим — свободным, неповторимым — в своих литературных замыслах и воплощениях. Значит, после студии он вышел на свой путь. Студия в своих многообразных исканиях вывела и его к самому себе.

В Чирчике Саша написал несколько музыкальных номеров, создавая и текст, и музыку. Это — вступительная песня к «Парню из нашего города» (её пел весь актёрский коллектив спектакля) и песни-эпиграфы к каждому акту. Это музыкальное обрамление придавало пьесе современное, романтическое звучание.

Ясно помнится его худая фигура Дон Кихота в длинном узком демисезонном пальто, в шляпе с полями и стеклянная пол-литровая банка, которую он нёс перед собой. В ней плескалась «затируха» — суп из муки, который нам выдавали на ужин в местной столовой...»

Алёна Архангельская:

«В сорок первом, во время войны, часть арбузовской студии, актёром которой был мой отец, была эвакуирована под Ташкент, в город Чирчик. 13 января 1942 года там и формируется фронтовой театр, в котором начала работать и моя мать В. Архангельская. Оба играли в пьесе «Парень из нашего города», отец играл Аркадия, а мать Женю... Так они познакомились, а вскоре и поженились...»

Людмила Нимвицкая:

«Зима в Ташкенте выдалась необычайно снежная, морозы — 15 градусов. Но мы как-то не замечали всего этого. Работали с утра до ночи. Ждали вызова из Мос-

квы. Наконец он пришёл. На прощанье мы сыграли чирчицкам несколько спектаклей и в апреле отбыли в Москву».

Лидия Чуковская (из дневников):

«1/IV 42

Папино рождение.

Вчера вечером я пошла к N.N. [Анне Андреевне Ахматовой] — после долгого перерыва.

У двери я услышала чтение стихов — мужской голос — и подождала немного.

Оказалось, это читает Саша Гинзбург, актёр, поэт и музыкант, друг Плучека и Штока.

Стихи «способные». На грани между Уткинско-Луговской линией, Багрицким и какой-то собственной лирической волной. NN, как всегда, была чрезвычайно снисходительна... Послушав мальчика, она выгнала нас с Исидором Владимировичем [Штоком] и стала читать ему поэму...»

В немыслимо короткий срок мы подготовили два спектакля и несколько концертных программ, написали письмо в Политуправление Советской Армии с просьбой оформить нас как фронтовой театр, получили это разрешение...

Людмила Нимвицкая:

«Однако в Москве мы задержались почти на всё лето. Арбузов и Гладков привезли написанную ими пьесу «Бессмертный» — о студентах, посланных рыть окопы под Москвой и попавших в окружение. Каждого из нас ждала новая роль. Мы показали им свои работы. Начались репетиции «Бессмертного». Саша получил роль сотрудника Джека Уорнера. Все роли были интересны. Мы вновь объединились и, наконец, с тремя спектаклями ранней осенью 1942 года выехали в Мурманск... Без Саши. По неизвестным для нас при-

чинам его не выпустили из Москвы. Для него и для театра это был оглушительный удар. Мы любили Сашу и сочувствовали ему.

...Во второй поездке — на Западный фронт — Саша был с нами. Наше руководство добилось его возвращения в студию и выезда на фронт. Там между спектаклями Саша писал стихи и песни, посвящённые подвигам солдат и соединений в местах, где мы останавливались для работы. Впечатлений было много. Но стало заметно, что с нами уже немного другой Саша. В Москве, без нас, он много писал. У него появились другие связи. Того счастливого, улыбчивого Сашу, писавшего шуточки-песенки для наших студийных «капустников», я больше не увидела никогда...»

...В санитарном поезде, в так называемом кригеровском вагоне для тяжелораненых... выступать в войну доводилось не раз. Чувствуя, как першит в горле от сладковатого запаха карболки, йода, запёкшейся крови, я читал «Графа Нулина», пел под гитарный аккомпанемент частушки.

Я сочинял их обычно тут же, на ходу, после предварительного разговора с комиссаром или начальником поезда.

Частушки эти были крайне незамысловатыми, но зато в них упоминались подлинные имена раненых и медицинского персонала, описывались подлинные события — чаще всего комедийные, и поэтому они пользовались неизменным, незаслуженно шумным успехом.

Алёна Архангельская:

«Родилась я во время войны в Москве. В честь отца меня называли Александрой — я по паспорту Александра Александровна. Но чтобы не было путаницы, отец звал меня Алёной. Так всегда называют меня мои друзья».

Юрий Нагибин:

«Саше сопутствовала некоторая таинственность. Он не любил говорить о делах и обстоятельствах своей жизни. Об ином человеке за рюмкой водки в первый же день такого узнаешь, что потом на весь век хватит. О Саше мы поначалу вообще ничего не знали. Какое-то время за его плечами маячила призрачная фронтовая студия, но с окончанием войны и она отлетела. Где он учился и учился ли вообще?.. Служил ли или был свободным художником?.. За ним не угадывалось детства, школы, он был человеком с Луны, сейчас бы сказали — инопланетянин. Затем как-то исподволь и чаще не от него самого стали поступать смутные сведения: он вроде был женат, когда мы познакомились, но сейчас то ли развёлся, то ли разъехался с женой, как будто и ребёнок есть. Отец у него хозяйственный работник: не то заместитель министра, не то завскладом, не то коммерческий директор завода; мать в консерватории вроде, не поёт и не играет, а ведёт концерты, по другим сведениям — администратор. Зато точно известно, что есть младший брат — студент операторского факультета ВГИКа.

Однажды мне срочно понадобился Саша в связи с повестью, которую я продолжал упоённо и обречённо писать, уже поняв, что реалистическая отмычка не работает в мире тонких условностей. Саша сослался на плохое самочувствие и предложил навестить его. Дал адрес. Я был взволнован. Оказывается, в глубине сознания таилось представление, что Саша обитает на ветке.

Саша открыл мне, убедительно покашливая. В глубине квартиры плакал ребёнок, никто его не утешал. Проходя мимо столовой (кажется, то была столовая), я увидел за непритворённой дверью детскую кроватку с сеткой и в ней младенца.

— Моя дочка, — ответил он на невысказанный во-

прос странно рассеянным, отсутствующим голосом, как бы приглашающим не развивать эту тему.

Да я и не собирался. Я понятия не имею, чем надо восхищаться в личинке человека, не знаю никаких агу, тпруа, мням-мням и прочей людоедчины, младенцы не для меня. Теперь я понимаю, что сподобился лицезреть нынешнюю Алёну Архангельскую, энергичную хранительницу и устроительницу отцовской памяти и литературного наследства».

С концом войны театр распался.

...Я начал писать эту пьесу [«Матросская тишина»] весной сорок пятого года.

Это была воистину удивительная весна! Приблизился день Победы, незнакомые люди на улицах улыбались, обнимали и поздравляли друг друга, я был смертельно и счастливо влюблён в свою будущую жену, покончил навсегда с опостылевшим мне актёрством и решил заняться драматургией.

Казалось, что вот теперь-то и вправду начнётся та новая, безмятежная и прекрасная жизнь, о которой все мы столько лет мечтали; казалось — а может быть, так оно и было на самом деле, — в первый раз, в самый первый и единственный раз, которому уже никогда больше не суждено было повториться ни в нашей судьбе, ни в судьбе страны, в те дни везде и повсюду возникало в людях радостное чувство общности, единства, причастности к великим событиям и самому дыханию истории...

...Могли ли мы знать в ту удивительную и прекрасную весну сорок пятого года, какой кровавый шабаш, какая непристойность безумия и преступлений ожидает нас в ближайшие годы?

...В те дни я начал писать эту пьесу. Потом, по вполне естественным причинам, я её отложил в сто-

рону, стал — без особых, между прочим, угрызений совести — сочинять водевили и романтическую муру вроде «Вас вызывает Таймыр» и «Походного марша»...

Михаил Львовский:

«Сейчас кое-кто пытается уколоть Галича — пишут, что после войны он стал успешным сочинителем легких (развлекательных, «коммерческих» массовых) комедий типа «Вас вызывает Таймыр» или киносценариев типа «Верные друзья». Написать действительно смешную и легкомысленную комедию не так-то просто. Сашины сочинения этого рода имели оглушительный зрительский успех. Поэтому и отношусь к ним с уважением. Однажды Саша пригласил меня на спектакль «Вас вызывает Таймыр». Я прохохотал все три акта. По ходу пьесы один из персонажей предлагает другому эстрадный номер не слишком высокого вкуса и получает отказ. «А чем вы будете разбавлять классику?» — раздаётся ехидный вопрос. Эта фраза стала «шлягерной», её все повторяли. А знаменитая реплика из фильма «Верные друзья», когда из переполненного, грохочущего аплодисментами зала несётся чей-то вопль: «Хабанеру давай!»...»

...В первый год после войны, после фронта мне захотелось закончить высшее образование, но получить уже его не как театральное, а какое-то ярко выраженное гуманитарное и специальное. И я узнал, что в Москве открывается Высшая дипломатическая школа. Считая, что, имея уже одно образование — театральное, имея за плечами опыт фронта, зная немножко немецкий язык и немножко английский, я мог бы претендовать на поступление в эту Высшую дипломатическую школу, я спросил, могу ли подать заявление. Секретарша, посмотрев на меня, сказала: «Нет, вы не

можете подать заявление». ...Я спросил: «Почему?» Она сказала: «Потому что...» Она усмехнулась и сказала: «Вот лиц вашей национальности мы вообще в эту школу, в Высшую дипломатическую школу, принимать не будем. Есть указание». И это впервые, я помню, меня это совершенно огорошило...

Алёна Архангельская:

«В конце войны он подписывает свои скетчи «Александр Гай». Первая же подпись «Александр Галич» появилась в 1948 году под пьесой «Вас вызывает Таймыр»... С этого времени он подписывался уже только так».

Валерий Фрид:

«Будь я Гинзбургом, тоже, пожалуй, взял бы псевдоним. Если бы не псевдонимы, в литературе и искусстве был бы переизбыток однофамильцев: Лазарь Лагин — Гинзбург (Ла-Гин), Иосиф Игин — Гинзбург (И-Гин). А ещё — Лев Гинзбург, Лидия Гинзбург, Евгения Гинзбург. И родной брат — оператор Валерий Гинзбург... Сейчас не 49-й год, надеюсь, меня не обвинят в том, что, раскрывая псевдонимы, я затеваю кампанию против так называемых «космополитов».

Станислав Рассадин:

«Перечитывая Шкловского, я споткнулся о фразу, от которой пахло чем-то вроде мистики. Юрий Тынянов, пишет Виктор Борисович, любил изречение Александра Галича: «Пашквиль — это высокий жанр». Тынянов?.. Галича?..

Нет, за рассудок свой я не испугался. Тынянов отнюдь не предвидел и не предсказывал явление этого нашего Галича, конечно, имел в виду его тёзку, профессора русской словесности в Царскосельском лицее. Связи между этим и тем — никакой... Хотя — как знать? Дружа с Александром Аркадьевичем Галичем,

для меня — Сашей, многие годы, не догадался спросить у него, повлиял ли учитель Пушкина, Дельвига, Кюхли на выбор литературного псевдонима; казалось, схема его возникновения очевидна: Гинзбург Александр Аркадьевич. А сейчас вдруг подумал: чем чёрт не шутит? Не зря же мой друг гордился полувсерьёз, что явился на свет 19 октября, в день Лицея...»

Юрий Нагибин:

«Поведу я свой рассказ о Саше от жены его Ангелины, по-вгиковски — Ани, затем — с лёгкой Сашиной руки — для всех сколь-нибудь близких — Нюшки. Простонародное прозвище было выбрано Сашей по контрасту — редко кому это тёплое деревенское уменьшительное имя так мало подходило, как худой, утончённой, с длинными хрупкими пальцами Ангелине. Очень часто во внешности красивой женщины доминируют глаза, реже волосы, шея, рот, у Ани (я так и не смог перейти на Нюшку) руки были средоточием прелести.

...Аня была очень худа, сперва здоровой девичьей худобой, затем худобой чрезмерной, какой-то декадентской... В послевоенном ВГИКе, куда Аня вернулась за дипломом, её называли Фанера Милосская.

...Мой вгиковский товарищ, выпускник режиссёрского факультета... одарённый режиссёр, впоследствии поставивший много фильмов, среди которых были настоящие удачи, оказался в какой-то захудалой прожекторной части, где служил прославившийся вскоре Алексей Фатьянов... Он охранял Москву почему-то с востока, в Салтыковке...

...В одну из своих вылазок они наткнулись на Сашу. Человек в обмотках горделиво представил его Ане. Сашу затащили домой, угостили разведённым спиртом под дежурное блюдо. Он распустил павлиний хвост. Воину было пора возвращаться в часть. Он

переделся, как всегда неумело, накрутил свои обмотки, напялил пилотку, так что звёздочка оказалась над левым ухом, повязался ремнём, как кушаком, и отбыл — сперва в комендатуру на Ново-Басманной за порочащий Красную Армию вид и отсутствие противогаза — крайне необходимого в тот период войны, — а потом в часть.

Саша спохватился, что пора идти домой, когда время перевалило за полночь, а у него не было ночного пропуска. «Не беда, переночую в милиции, авось не привыкать», — сказал он с меланхолической улыбкой. Аня была не таким человеком, чтобы отпустить странника во тьму. Он остался и всю ночь читал ей стихи. Мандельштам доконал уже поддавшуюся душу».

Михаил Львовский:

«Суперсоветский текст, скажете вы? Но ведь вся молодёжь была в комсомоле. А в годы войны объединялась в сводные батальоны (я сам в таком батальоне служил). Что же, Саша врал в своей песне? Ничуть. Время требует слуги своего».

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЕСНЯ

Музыка В.Соловьева-Седого

Протрубили трубачи тревогу,
Всем по форме к бою снаряжён,
Собирался в дальнюю дорогу
Комсомольский сводный батальон.

До свиданья, мама, не горюй,
На прощанье сына поцелуй!
До свиданья, мама, не грусти!
Пожелай нам доброго пути!

Прощай, края родные,
Звезда победы нам свети!
До свиданья, мама, не горюй, не грусти!
Пожелай нам доброго пути!

Всё, что с детства любим и храним,
Никогда врагу не отдадим.
Лучше сложим голову в бою,
Защищая Родину свою.

До свиданья, мама, не горюй,
На прощанье сына поцелуй!
До свиданья, мама, не горюй, не грусти!
Пожелай нам доброго пути!

Прощай, края родные,
Звезда победы нам свети!
До свиданья, мама, не горюй, не грусти!
Пожелай нам доброго пути!

<1947>

...Я стоял в дверях небольшого зала, где происходило очередное заседание еврейской секции Московского отделения Союза писателей (существовала когда-то такая секция!). После гибели Михозлса я почему-то вбил себе в голову, что непременно — хоть и не знал даже языка — должен принять участие в работе этой секции. Я явился принаряженным, при галстукке (часть мужского туалета, которую я всю жизнь ненавижу лютой ненавистью), и где-то в глубине души чувствовал себя немножко героем, хотя и пытался не признаваться в этом даже себе самому.

И вдруг Маркиш, сидевший на председательском месте, увидел меня. Он нахмурился, как-то странно выпятил губы, прищурил глаза. Потом он резко встал, крупными шагами прошёл через весь зал, остановился передо мною и проговорил нарочито громко и грубо:

— А вам что здесь надо? Вы зачем сюда явились? А ну-ка, убирайтесь отсюда вон! Вы здесь чужой, убирайтесь!..

Я опешил. Я ничего не мог понять. Ещё накануне при встрече со мной Маркиш был приветлив, почти что нежен. Что же случилось?

Я повернулся и вышел из зала, изо всех сил стараясь удержать слёзы огорчения и обиды.

Недели через две почти все члены еврейской секции были арестованы, многие — и среди них Маркиш — физически уничтожены, а сама секция навсегда прекратила своё существование.

И теперь я знаю, что Маркиш — в ту секунду, когда он громогласно назвал меня «чужим» и выгнал с заседания, — просто спасал мне, мальчишке, жизнь.

Я этого не забыл, Перец, я этого никогда не забуду!..

...В тысяча девятьсот сорок девятом году я, как молодой кинематографист, был приглашён на торжественное собрание в Дом кино, посвящённое избению космополитов от кинематографа.

Принцип единообразия действовал с железной последовательностью: если были поначалу обнаружены космополиты в театре, теперь, естественно, следовало их обнаружить и разоблачить в кинематографе, в музыке, в живописи, в науке.

Среди тех, кого собирались побивать камнями на этом торжище, были и мои тогдашние друзья: драматург Блейман, критики Оттен, Коварский.

Именно это обстоятельство заставило меня пойти в Дом кино и даже сесть вместе с ними в первом ряду — они все сидели в первом ряду для того, чтобы выступавшие могли обрушивать с трибуны свой пламенный гнев не куда-нибудь в пространство, а прямо в лицо изгоям, безродным космополитам, Иванам и Абрамам, не помнящим родства!..

А вёл собрание, председательствовал на нём, управлял им Михаил Эдишерович Чиаурели — любимый режиссёр и непреходящий застольный шут гения всех времён и народов, вождя и учителя, отца родного, товарища Сталина.

Михаил Львовский:

«Был у нас с Галичем общий друг Витя Драгунский — артист, а впоследствии известный детский писатель, автор знаменитых «Денискиных рассказов». Галич и Драгунский, едва встретившись, тут же начинали разного рода актёрские игры. Разговаривали «от имени» придуманных персонажей. «Где ты был?» — спрашивал, скажем, Драгунский. «У сестре», — отвечал Галич. «А, это у той, что сиське как у козе?» — уточнял Драгунский... Так они могли импровизировать до бесконечности. Я умирал от смеха. Думаю, что эти актёрские игры позже пригодились Галичу, когда он стал писать свои знаменитые теперь песни. Помните строчку: «У жене моей спросите, у Даши, у сестре её спросите, у Клавки...» Это из тех актёрских игр».

Алла Драгунская, актриса:

«Летом 1950 года мы были в Ленинграде на гастролях. Очень обрадовались, встретив Аню и Сашу в гостинице «Европейская». Однажды после спектакля Витя зашёл к Галичу. В час ночи мне позвонила Аня и сказала, что Витя и Саша сидят у Вертинского и это надолго. Вернулся Виктор только под утро. Всю ночь Александр Николаевич Вертинский необыкновенно интересно рассказывал им о своей жизни в эмиграции, начиная с отъезда из России в 20-м и вплоть до возвращения на Родину из Шанхая перед окончанием войны. Потом у Виктора был замечательный устный рассказ об этом...»

Матвей Грин:

«В 1954 году я приехал в Москву. Приехал из Ивдельлага, где по обвинению в «космополитизме» (и как «повторник» — я ведь уже сидел на Печоре после убийства Кирова, когда мы — комсомольские журналисты — попали в первую волну нашей отечественной «охоты за ведьмами») отсидел пять лет, пока не умер «великий вождь всех времён и народов». Я приехал в Москву, но до XX съезда осталось ещё два года, и потому свобода была, но работы не было. Пробавлялся редкими очерками в «Вечёрке», «Гудке», на радио и, как шутили потом друзья-писатели, «от несчастья» пришёл в эстрадную драматургию...

...Как-то я спешил по Большой Бронной к своему соавтору, и вдруг кто-то крикнул:

— Матвей Яковлевич! Господи! Вы живы?

Я оглянулся: передо мной стоял Саша, шикарный, в какой-то шубе, в боярской шапке. Он кинулся ко мне, прижал к себе и заплакал...

— Вы «оттуда»? Ну что я спрашиваю — конечно, оттуда, а Клава где? Куда вы идёте? Нет, нет, пошли к нам!

Он потащил меня куда-то рядом — в дом своих родителей.

Собралась вся семья, я весь день и весь вечер рассказывал им свою эпопею. Он пошёл меня провожать и всё время спрашивал:

— Мотя! Чем помочь?

У метро мы расстались, дав друг другу слово встретиться. Я, добравшись до Казанского вокзала, сел там в свою малаховскую электричку, зачем-то полез в карман куртки и обнаружил там конверт, а в нём триста рублей! При моей тогдашней неустроенности это были огромные деньги...»

Михаил Козаков:

«Была ещё одна работа... с моим участием, о которой я хочу упомянуть лишь потому, что пьесу напи-

сал покойный Александр Аркадьевич Галич, с которым я тогда и познакомился. Она называлась «Походный марш». Честная, усреднённая пьеса раннего Галича, стоявшая в ряду таких его вещей, как «Вас вызывает Таймыр», «Пароход зовут «Орлёнок»» и сочинённый коллективно ещё до войны во времена арбузовской студии «Город на заре».

Структура «Походного марша» была такова: действие заставок, пролога и эпилога, написанных Галичем в стихах, происходило в немецком концлагере. Война подходила к концу, и герои пьесы (их играли Толмазов и я) пытались заглянуть в будущее и представить себя в мирное послевоенное время — эта часть пьесы была написана уже прозой. Мы попадали, кажется, на стройку. Завязывался любовный треугольник: Толмазов, Карпова и я. Он как-то разрешался — более или менее благополучно, а потом опять стихи, и лагерь, и смерть...

В общем, повторяю, нормальный усреднённый Галич, который мог бы вполне благополучно и безбедно существовать и дальше, пиши он подобные пьесы и сценарии. А песен он тогда своих не сочинял. То есть сочинял и пел с удовольствием, сидя за роялем в репетиционном зале Театра Маяковского после репетиций «Походного марша», но ещё совсем не те песни, которые принесли ему славу и перевернули его дальнейшую судьбу, оборвавшуюся так глупо и страшно. И лежит он где-то на чужом кладбище, хотя не один ли чёрт, где лежать? Где жить, важнее...

Любил Галич в пятидесятые выпить, приударить за артистками, сесть за рояль и спеть, раскатывая букву «р», что-то из Хьюза в своём переводе: «Подари на прощанье мне билет на поезд куда-нибудь... А мне всё равно, куда он пойдёт, лишь бы отправился в путь, а мне всё равно, куда он пойдёт, лишь бы отправился в путь...»

Михаил Львовский:

«...Я вспоминаю огромное количество вечеров, которые провели его поклонники и друзья, столпившиеся вокруг рояля, за которым он сидел. Да, начинал он не с гитары, а, скажем так, с вполне «салонного» фортепиано... Его сразу же начинали упрашивать спеть что-либо. А он всегда соглашался.

Что же он пел, аккомпанируя себе на рояле?

Быстро, быстро донельзя
Дни бегут, как часы.
Лягут синие рельсы
От Москвы до Чжан-Цзы.

Или:

Подари на прощанье мне билет
На поезд куда-нибудь...
А мне всё равно — куда и зачем —
Лишь бы отправиться в путь.

Прямо-таки — интонация негритянского блюза.
А потом обязательно:

Бежит речка по песочку,
Бережочек моет.
Молодой жулик, молодой жулик
Начальничка молит:
«Ой, начальничек,
Ключик-чайничек,
Отпусти до дому...»

* * *

<Из Ленгстона Хьюза>

Подари на прощанье мне билет
На поезд куда-нибудь...
А мне всё равно, куда он пойдёт,
Лишь бы отправиться в путь...

Ты скажи, на прощанье, как всегда,
Мне несколько милых фраз...
А мне всё равно — о чём и зачем,
Лишь бы в последний раз!

Мне б не помнить ни губ твоих, ни рук,
Не знать твоего лица...
А мне всё равно, что Север, что Юг,
Ведь этому нет конца!..

<1955?>

Михаил Львовский:

«Подари на прощанье мне билет» — песня переводная. Саша её обработал и приписал к ней заключительные строчки. Ну а что касается речки, которая бережок моет, — то это типично блатной напев. Евтушенко отметил в своих стихах тех лет, что «интеллигенция поёт блатные песни», а я бы добавил — ещё и сочиняет их. Подлинно блатных в репертуаре вышеупомянутой интеллигенции было очень мало. В основном присутствовал — исполнялся и сочинялся — городской романс. Например: «Кто тебя по переулкам ждал, весь дрожа и замирая в страхе...» с душераздирающим припевом: «Ну что же — брось, брось, жалеть не стану — я таких, как ты, всегда достану...»

Цитировать подобного рода опусы можно без конца. Галич был их образованным и тонким знатоком.

Я... вернулся к «Матросской тишине» только много лет спустя, после Двадцатого съезда КПСС и разоблачений Хрущёвым преступлений Сталина, вернулся в ту пору, которая с лёгкого пера Ильи Эренбурга получила название «оттепель».

...Я дописал пьесу, отпечатал её в четырёх экземплярах, прочитал нескольким друзьям. Никакому те-

атру я её почему-то — хотя и был в те годы вполне преуспевающим драматургом — не предложил.

Михаил Козаков:

«Словом, жил бы себе да жил... Ан нет, написал он пьесу под названием «Матросская тишина», где опять про 37-й год, да ещё герои пьесы — евреи, да ещё молодой герой, скрипач Давид, который учится в Московской консерватории, стесняется собственного отца Абрама Шварца, приехавшего к нему из местечка. Пьеса по тем временам производила сильное впечатление: хорошие роли, отлично закрученный сюжет — и вполне при том наша, советская. Но не манная каша, как «Походный марш» или «Орлёнок»... Галич дал мне её прочесть, полагая, что главные роли могут сыграть Л.Н.Свердлин — отца и я — сына. Я, как говорят актёры, загорелся. Дал пьесу Свердлину, тот — Охлопкову. Последовал категорический отказ. Я стал уговаривать Николая Павловича.

Он:

- Забудь и думать. Еврейский вопрос.
- Но ведь всё кончится, как надо.
- Да, но эта пьеса в нашем театре не пойдёт.

В то время я уже шустрил в «Современник» и даже бывал у них на репетициях в маленьком зале Школы-студии, где им была предоставлена возможность работать. Осенью 57-го я присутствовал там на обсуждении репертуара, с которым у них было не густо. Называли какие-то фамилии авторов, спорили. Я рассказал о «Матросской тишине». Чуть ли не в тот же вечер мы приехали к Галичу, и он прочёл пьесу, которая была принята в репертуар».

И вот однажды, без предварительного звонка, ко мне пришли актёр Михаил Козаков (когда он работал в Театре имени Маяковского, он играл в моей пьесе «По-

ходный мари» главную роль) и актёр Центрального детского театра Олег Ефремов — один из основателей Театра-студии «Современник», а ныне главный режиссёр Московского Художественного театра.

Они сказали, что достали у кого-то из моих друзей экземпляр пьесы, прочли её труппе, пьеса понравилась, и теперь они просят меня разрешить им начать репетиции, с тем чтобы студия открылась как театр двумя премьерами: пьесой В. Розова «Вечно живые» и «Матросской тишиной».

Михаил Козаков:

«Работал над ней Ефремов увлечённо, как и все участники. Главные роли репетировали: отца — Евстигнеев, сына — Кваша.

Охлопков, видимо, понимал, что пьеса Галича света не увидит даже в то, относительно либеральное, время. И не ошибся. Ефремовский спектакль был запрещён. Долго думали, подо что и как его запретить. Не скажешь же прямо: потому что там про евреев. А про 37-й год упоминать ещё было можно, шла эпоха «позднего Реабилитанса». В остальном же пьеса была как пьеса».

...Мы вылезли из такси и через улицу, заваленную сугробами, перешли на другую сторону, к подъезду Дворца культуры комбината «Правда».

Здесь в это утро очередная студия Художественного театра — впоследствии она будет называться Театр-студия «Современник» — показывала генеральную репетицию моей пьесы «Матросская тишина».

Впрочем, и студийцам, и мне — автору, и многим другим заинтересованным лицам было известно, что пьеса уже запрещена, но при этом запрещена как-то странно.

Официально она запрещена не была, у неё — у пьесы — даже оставался так называемый разреши-

тельный номер Главлита, что означало право любого театра пьесу эту ставить, но уже звенели в чиновных кабинетах телефонные звоночки, уже зарокотали, минуя пишущие машинки секретарш, приглушённые начальственные голоса, уже некое весьма ответственное и таинственное лицо — таинственное настолько, что не имело ни имени, ни фамилии, — вызвало к себе директора Ленинградского театра имени Ленинского комсомола и приказало прекратить репетиции «Матросской тишины».

— Но позвольте, — растерялся директор, — спектакль уже на выходе, что же я скажу актёрам?!

Таинственное лицо пренебрежительно усмехнулось:

— Что хотите, то и скажите! Можете сказать, что автор сам запретил постановку своей пьесы!..

Нечто подобное происходило и в других городах, где репетировалась «Матросская тишина». И нигде никто ничего не говорил прямо — а, так сказать, не советовали, не рекомендовали, предлагали одуматься!

...И только маленькая студия — ещё не театр, не организация с бланками и печатью — упорно продолжала на что-то надеяться.

...Александр Васильевич Солодовников, тогдашний директор Художественного театра, не только распорядился строжайшим образом не пускать на «генералку» никого, кроме лиц, поименованных в особом списке, но и вызвал на подмогу беспечным сторожам Дворца культуры мхатовских билетёров, вымуштрованных наподобие кремлёвской охраны.

Михаил Козаков:

«И вот кому-то в голову пришла прекрасная мысль закрыть спектакль чужими руками. Для этой цели пригласили из Ленинграда Георгия Александровича Товстоногова, «Гогу Товстоногова», уже поставившего с огромным успехом в Александринке «Оптимистичес-

кую трагедию» В.С.Вишневого и возвратившего к жизни БДТ, «либерала», пользовавшегося симпатией интеллектуалов и притом уважаемого большим начальством. Лучшей кандидатуры для хирургической операции над спектаклем про и без того «обрезанных» не придумаешь!

Товстоногов приехал на знаменитую генеральную репетицию, описанную со всеми подробностями в книжке Галича, которая так и называется «Генеральная репетиция». Она проходила в Доме культуры «Правды». В зале присутствовали представители Министерства культуры, партийное начальство из горкома и Г. А. Товстоногов. Из своих, кроме Галича и Ефремова, никого. Не были допущены даже актёры «Современника», не занятые в спектакле, не говоря уже о родственниках и знакомых. «Матросская тишина» была закрыта окончательно и бесповоротно, решение обжалованию не подлежало».

...В стороне, совершенно отдельно от всех, закинув голову и что-то внимательно изучая на потолке, сидел Георгий Александрович Товстоногов — художественный руководитель Ленинградского Большого драматического театра имени Горького. Решительно непонятно — как и зачем он попал на эту генеральную репетицию, хотя именно ему суждено будет сказать роковую фразу, которой воспользуется Солодовников, когда, после окончания спектакля, возникнет долгая и неловкая пауза.

...Когда мы с женой вошли в зал и заняли места — где-то примерно ряду в пятнадцатом, все головы обернулись к нам и на всех лицах изобразилось такое печально-сочувствующее выражение — таким выражением обычно встречают на похоронах не слишком близких родственников усопшего.

...И только две дамочки, сидевшие в первом ряду, не проявили к нашему появлению ни малейшего интереса и, не обернувшись, продолжали шушукаться о чём-то своём.

Как выяснилось, эти дамочки-то и были самыми главными, это для них устраивалась генеральная репетиция, это от них ждали окончательного и решающего слова.

...Я довольно хорошо запоминаю лица людей, которых встречал даже мельком, но сегодня, как я ни бьюсь, я не могу восстановить в памяти светлый облик этих ответственных дамочек.

Помню только, что они были пугающе похожи друг на друга, как две рельсы одной колеи. Одинаковые бесцветные жидкие волосы, собранные на затылке в одинаковые фиги, одинаковые тускло-серые глазки, носы — пуговкой, тонкогубые рты. И даже фамилии (честное слово, я ничего не придумываю!) у них были одинаково птичьи: дамочка из ЦК звалась Соколовой, а дамочка из МК — Соловьёвой.

...Товстоногов, по-прежнему сидевший в стороне, неожиданно обернулся и через несколько пустых рядов, разделявших нас, сказал мне негромко, но внятно, так что слова эти были хорошо слышны всем:

— Нет, не тянут ребята!.. Им эта пьеса пока ещё не по зубам! Понимаете?!

Солодовников внимательно, слегка прищурившись, поглядел на Товстоногова.

На бесстрастно-начальственном лице изобразилось некое подобие мысли. Слово было найдено! Сам того не желая, Товстоногов подсказал спасительно обтекаемую формулировку.

Ничего не нужно объяснять, ничего не нужно запрещать: что касается автора, то он волен распоряжаться собственной пьесой по собственному усмотрению; что же касается студийцев, то это, в конце концов, неплохо, что они в учебном порядке поработали над

таким чужеродным для них материалом, — а теперь надо искать соответствующую, близкую по духу, жизнеутверждающую драматургию, — спасибо, товарищи! За работу, товарищи! Вперёд и выше, товарищи!..

Всё это Солодовников выпалит за кулисами после конца спектакля бодрой, слегка пришепывающей скороговоркой. Потом он пожмёт руку мне, пожмёт руку Ефремову, ещё раз — благодарно — улыбнётся всем участникам спектакля и быстро, не допуская никаких вопросов, уйдёт...

— Вы что же хотите, товарищ Галич, чтобы в центре Москвы, в молодом столичном театре шёл спектакль, в котором рассказывается, как евреи войну выиграли?!

...Бросив в конце войны актёрство и занявшись драматургией, я всё равно как бы оставался в мире театра.

Потом я начну прощаться и с драматургией — это будет после того, как подряд запретят мои пьесы — «Матросскую тишину» и «Август», — а последнюю точку, как ни странно, поставит Арбузов.

Он так прямо и скажет:

— Галич был способным драматургом, но ему захотелось ещё славы поэта — и тут он кончился!

Ну что ж, кончился так кончился. Я ни о чём не жалею. Я не имею на это права. У меня есть иное право — судить себя и свои ошибки, своё проклятое и спасительное легкомыслие, своё долгое и трусливое желание верить в благие намерения тех, кто уже давно и определённо доказал свою неспособность не только созерцать благо, а просто даже понимать, что это такое — благо и добро!

Я ни о чём не жалею.

Валерий Гинзбург, кинооператор, брат Галича:

«Мне кажется, что очень точно сказала Елена Георгиевна Боннэр — что в жизни каждого человека, тем

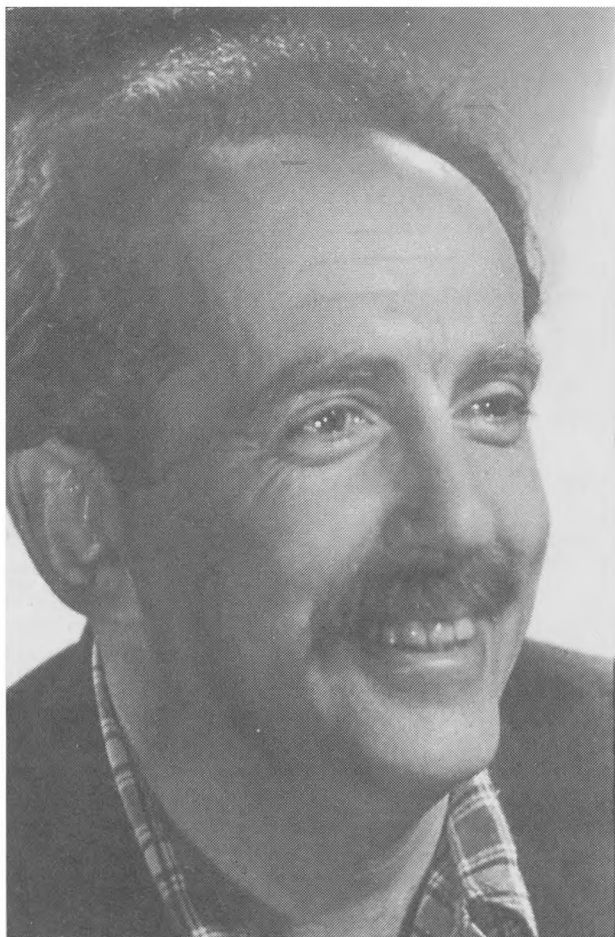
более художника, наступает определённый момент, когда он не может не говорить правду или довольствоваться полуправдой. Одной из причин — не только для Галича, а для всего его поколения, я уверен, — было возвращение людей после гулаговских ссылок и лагерей; возвращение нашего двоюродного брата Витеньки, который почти 20 лет просидел в лагере. Ну а как это начиналось — вы знаете, Галич сам рассказывает, как он сочинил «Леночку» в подарок Юрию Павловичу Герману по дороге в Ленинград, куда он ехал работать над фильмом по своему сценарию «Государственный преступник». И там же тогда же родились «Облака»...»



*

Началось всё дело
с песенки...





А. Галич на фотопробах к/ф «Дайте жалобную книгу». 1963 г.



«Просто самая первая песня, написанная мною после того, как в течение двух с половиной примерно лет у меня подряд запретили три пьесы. Одной из них должен был открываться театр «Современник», с другой должен был дебютировать режиссёр Хейфиц, а третья прошла раза два, потом была разгромная статья в «Правде». Её сняли. В общем, я понял, что так дело не пойдёт и что драматургию по-настоящему я сделать не смогу. И это — государственная институция, при которой можно, в основном, показывать кукиши в кармане... И тогда я решил просто вернуться к стихам, которые я писал в детстве и в юности, потом на долгие годы перестал писать». (Фонограмма)

«Чтобы развлечь Юрия Павловича Германа, я... в купе скорого поезда «Красная стрела» начал сочинять песню... я писал её всю ночь... Это была первая песня — «Леночка»...» (Из передачи на радио «Свобода» от 7 декабря 1974 года)

«<...> в 62-м году. Я ехал из Москвы в Ленинград, пизжон, вполне благополучный кинематографист, в мягкой «Стреле». Причём, так как у меня был блат в железнодорожной кассе, мне давали ещё так называемое 19-е место, из-за чего меня все остальные пассажиры этого вагона принимали за стукача, потому что 19-е место — это место КГБ. Это единственное

одноместное купе в мягком вагоне. И вот, так как мне не спалось, я решил сочинить какую-нибудь песню. Причём, песен я не писал очень давно, а стихов тем более, и как-то они ушли из моей жизни на долгие годы. И вот я... стал сочинять песню под названием «Леночка». И сочинял я её, в общем, всю ночь, но как-то я сочинил сразу, с ходу. То есть это заняло у меня часов пять, не больше. И когда я сочинил, я вышел в коридор и так подумал: «Э-э, батюшки! Несмотря на полную ерундовость этой песни, тут, кажется, есть что-то такое, чем, пожалуй, стоит заниматься». (Фонограмма)

«Тут, кажется, можно рассказать значительно больше, чем всё то, что я пытался сделать в разнообразных сочинениях другого рода». (Фонограмма)

«Вот с этой песни, собственно, и начались все мои дальнейшие сложные жизненные перипетии, которые меня и довели до сегодняшнего дня». (Фонограмма)

«Пути Господни неисповедимы, но не случайны. Не случайна была та бессонная ночь в вагоне поезда Москва — Ленинград, когда я написал свою первую песню «Леночка». Нет, я и до этого писал песни, но «Леночка» была началом — не концом, как полагает Арбузов, — а началом моего истинного, трудного и счастливого пути». («Генеральная репетиция»)

«...Насчёт того, что «сидит с моделью вымпела». Ну, молодые уже просто не помнят... количества этих фотографий в газетах, когда всякие гости, значит, с Берега Слоновых Костей снимались с Никитой Сергеевичем, держа в руках вымпел. И, в общем, была такая формула — прием высокого гостя, в подарок ему вручим вымпел». (Фонограмма)

ЛЕНОЧКА

Апрельской ночью Леночка
Стояла на посту.
Красоточка-шатеночка
Стояла на посту.
Прекрасная и гордая,
Заметна за версту,
У выезда из города
Стояла на посту.

Судьба милиционерская —
Ругайся цельный день,
Хоть скромная, хоть дерзкая —
Ругайся цельный день.
Гулять бы ей с подругами
И нюхать бы сирень!
А надо — с шоферюгами
Ругаться цельный день.

Итак, стояла Леночка,
Милиции сержант,
Останкинская девочка —
Милиции сержант.
Иной снимает пеночки,
Любому свой талант,
А Леночка, а Леночка —
Милиции сержант!

Как вдруг она заметила:
Огни летят, огни,
В Москву из Шереметьева
Огни летят, огни.
Ревут сирены зычные,
Прохожий — ни-ни-ни!

На Лену заграничные
Огни летят, огни!

Даёт отмашку Леночка,
А ручка не дрожит,
Чуть-чуть дрожит коленочка,
А ручка не дрожит.
Машины, чай, не в шашечку,
Колеса — вжик да вжик!
Даёт она отмашечку,
А ручка не дрожит.

Как вдруг машина главная
Свой замедляет ход,
Хоть и была исправная,
Но замедляет ход.
Вокруг охрана стеночкой
Из КГБ, но вот
Машина рядом с Леночкой
Свой замедляет ход.

А в той машине — писанный
Красавец-эфиоп,
Глядит на Лену пристально
Красавец-эфиоп.
И, встав с подушки с кремовой,
Не промахнуться чтоб,
Бросает хризантему ей
Красавец-эфиоп!

А утром мчится нарочный
ЦК КПСС
В мотоциклетке марочной
ЦК КПСС.
Он машет Лене шляпою,
Спешит наперерез:

— Пожалте, Л. Потапова,
В ЦК КПСС!

А там, на Старой площади, —
Тот самый эфиоп.

Он принимает почести,
Тот самый эфиоп.

Он чинно благодарствует
И трёт ладонью лоб,
Поскольку званья царского
Тот самый эфиоп!

Уж свита водки выпила,
А он глядит на дверь.
Сидит с моделью вымпела
И всё глядит на дверь!
Все потчуют союзника,
А он сопит, как зверь...
Но тут раздалась музыка
И отворилась дверь!..

Вся в тюле и в панбархате
В зал Леночка вошла.
Все прямо так и ахнули,
Когда она вошла!
И сам красавец царственный,
Ахмет Али-Паша
Воскликнул:

— Вот так здравствуйте! —

Когда она вошла.

И вскоре нашу Леночку
Узнал весь белый свет,
Останкинскую девочку
Узнал весь белый свет —

Когда, покончив с папою,
Стал шахом принц Ахмет,
Шахиню Л. Потапову
Узнал весь белый свет!

<1962>

Эдуард Кандель, нейрохирург:

«Многие из Сашиных песен рождались на моих глазах. Сейчас спорят, какая из них была первой. Мне Саша рассказывал, что самую первую песню он написал в Болшеве, в Доме творчества работников кино. «А за городом заборы, за заборами вожди...» В свой машинописный сборник «Книга песен» Саша её не включил. Однако в книге «Поколение обречённых», которая вышла за рубежом... эта песня есть.

По-видимому, второй песней была шуточная, но весьма невесёлая песня «У лошади была грудная жаба...», написанная вместе со Шпаликовым. Эту песню Галич включил в сборник».

«Мы жили в Болшеве, мы сочиняли там с моим приятелем. Я сидел тогда ещё за роялем, а не за гитарой. И мы сочинили такую вот песню, последний куплет которой мы никогда не пели...» (Фонограмма)

ЗА СЕМЬЮ ЗАБОРАМИ

Совместно с Г. Шпаликовым

Мы поехали за город,
А за городом дожди,
А за городом заборы,
За заборами — вожди.

Там трава несмятая,
Дышится легко,
Там конфеты мятные
«Птичье молоко».

За семью заборами,
За семью запорами,
Там конфеты мятные
«Птичье молоко»!

Там и фауна, и флора,
Там и галки, и грачи,
Там глядят из-за забора
На прохожих стукачи.

Ходят вдоль да около,
Кверху воротник...
А сталинские соколы
Кушают шашлык!

За семью заборами,
За семью запорами
Сталинские соколы
Кушают шашлык!

А ночами, а ночами
Для ответственных людей,
Для высокого начальства
Крутят фильмы про блядей!

И, сопя, уставится
На экран мурло:
Очень ему нравится
Мэрилин Монро!

За семью заборами,
За семью запорами
Очень ему нравится
Мэрилин Монро!

Мы устали с непривычки,
Мы сказали:
— Боже мой! —
Добрели до электрички
И поехали домой.

А в пути по радио
Целый час подряд
Нам про демократию
Делали доклад.

А за семью заборами,
За семью запорами,
Там доклад не слушают —
Там шашлык едят!

<1961?>

СЛАВА ГЕРОЯМ

Совместно с Г. Шпаликовым

У лошади была грудная жаба,
Но лошадь, как известно, не овца,
И лошадь на парады выезжала,
И маршалу про жабу ни словца!

А маршал, бедный, мучился от рака,
Но тоже на парады выезжал,
Он мучился от рака, но, однако,
Он лошади об этом не сказал!

Нам этот факт Великая Эпоха
Воспеть велела в песнях и стихах,
Хоть лошадь та давным-давно издохла,
А маршала сгноили в Соловках!

<1961?>

«...Поначалу мне больше всего хотелось — и это было естественно, — я занимался жанром, потому что я понял, что, так сказать, жанр — это то, что ещё как-то мало трогали все остальные шансонье в песнях. Поэтому следующая песня была написана «Физики». Называется «Песня о малярах, истопнике и теории относительности». (Фонограмма)

ПРО МАЛЯРОВ, ИСТОПНИКА И ТЕОРИЮ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

...Чуествуем с напарником: ну и ну!
Ноги прямо ватные, всё в дыму.
Чуествуем — нуждаемся в отдыхе,
Чтой-то нехорошее в воздухе.

Взяли «Жигулёвского» и «Дубняка»,
Третьим пригласили истопника,
Приняли, добавили ещё разá, —
Тут нам истопник и открыл глаза

На ужасную историю
Про Москву и про Париж,
Как наши физики проспорили
Ихним физикам пари,
Ихним физикам пари!

Всё теперь на шарике вкось и вскочь,
Шиворот-навыворот, набекрень,

И что мы с вами думаем день — ночь!
А что мы с вами думаем ночь — день!

И рубают финики лопари,
А в Сахаре снегу — невпроворот!
Это гады-физики на пари
Раскрутили шарик наоборот.

И там, где полюс был — там тропики,
А где Нью-Йорк — Нахичевань,
А что мы люди, а не бобики,
Им на это начихать,
Им на это начихать!

Рассказал нам всё это истопник,
Вижу — мой напарник ну прямо сник!
Раз такое дело — гори огнём! —
Больше мы малярничать не пойдём!

Взяли в поликлинике бюллетень,
Нам башку работой не морочь!
И что ж тут за работа, если ночью — день,
А потом обратно не день, а ночь?!

И при всёй квалификации
Тут возможен перекося:
Это всё ж таки радиация,
А не просто купорос,
А не просто купорос!

Пятую неделю я хожу больной,
Пятую неделю я не сплю с женой.
Тоже и напарник мой плачется:
Дескать, он отравленный начисто.

И лечусь «Столичною» лично я,
Чтобы мне с ума не стронуться:

Истопник сказал, что «Столичная»
Очень хороша от стронция!

И то я верю, а то не верится,
Что минует та беда...
А шарик вертится и вертится,
И всё время — не туда,
И всё время — не туда!

<1962>

«...У меня был двоюродный брат. Он был мне ближе родных, он меня воспитывал. Ему я обязан тем, что выучился читать, чем-то интересоваться в жизни... Он 24 года отбыл там, о нём я не забывал никогда и бесконечно страдал за него. Когда я пишу в «Облаках», что «недаром я 20 лет...», я пишу от имени Виктора, который был для меня больше, чем близким человеком». (Интервью «Песня, жизнь, борьба», Посев, № 8, 1974)

ОБЛАКА

Облака плывут, облака,
Не спеша плывут, как в кино.
А я цыплёнка ем табака,
Я коньячку принял полкило.

Облака плывут в Абакан,
Не спеша плывут облака...
Им тепло небось, облакам,
А я продрог насквозь, на века!

Я подковой вмёрз в санный след,
В лед, что я кайлом ковырял!
Ведь недаром я двадцать лет
Протрубил по тем лагерям.

До сих пор в глазах — снега наст!
До сих пор в ушах — шмона гам!..
Эй, подайте ж мне ананас
И коньячку ещё двести грамм!

Облака плывут, облака,
В милый край плывут, в Колыму,
И не нужен им адвокат,
Им амнистия — ни к чему.

Я и сам живу — первый сорт!
Двадцать лет, как день, разменял!
Я в пивной сижу, словно лорд,
И даже зубы есть у меня!

Облака плывут на восход,
Им ни пенсии, ни хлопот...
А мне четвёртого — перевод,
И двадцать третьего — перевод.

И по этим дням, как и я,
Полстраны сидит в кабаках!
И нашей памятью в те края
Облака плывут, облака.

И нашей памятью в те края
Облака плывут, облака...

<1962>

«Тонечка» — простая жанровая песня, жестокий романс из цикла «О чём поют в Останкино». И песне этой повезло, как некоторым моим песням. Они довольно быстро потеряли авторство, они стали распеваться, и никто не говорил, кто эту песню сочинил. И когда на одном из моих домашних концертов в первый раз люди попросили меня: «Спойте «Аджубеечку», — я сказал: «Помилуй Бог, я вроде такой песни не писал». — «Ну как же,

это ваша песня, вон, там: «Она вещи собрала...»? Я говорю: «Да, но песня называется «Тонечка». Они сказали: «Нет! Песня называется «Аджубеечка», и вы уж с нами не спорьте. Это уже стало таким широко распространённым названием этой песни». И вот так связалась биография Алексея Аджубея с биографией героя этой песни, хотя, повторяю, когда я писал её, я о нём не думал. И я ничуть не полагал, что в чём-то они похожи. А вот в сознании людей они связались. Вот эта песня «Тонечка». «Аджубеечка». (Из передачи на радио «Свобода» от 1 февраля 1977 года)

ГОРОДСКОЙ РОМАНС

...Она вещи собрала, сказала тоненько:
«А что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней,
с Тонькою!

Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми,
А что у папи у её топтун под окнами.
А что у папи у её дача в Павшине,
А что у папи холуи с секретаршами,
А что у папи у её пайки цековские
И по праздникам кино с Целиковскою!
А что Тонька-то твоя сильно страшная —
Ты не слушай меня, я вчерашняя!
И с доскою будешь спать со стиральнойю
За машину за его персональную...

Вот чего ты захотел, и знаешь сам,
Знаешь сам, да стесняешься,
Про любовь твердишь, про доверие,
Про высокие про материи...
А в глазах-то у тебя дача в Павшине,
Холуи да топтуны с секретаршами,

И как вы смотрите кино всей семейкою,
И как счастье на губах — карамелькою!..»

Я живу теперь в доме — чаша полная,
Даже брюки у меня — и те на «молнии»,
А вино у нас в доме — как из кладезя,
А сортир у нас в доме — восемь на десять...
А папаша приезжает сам к полуночи,
Топтуны да холуи тут все по струночке!
Я папаше подношу двести граммчиков,
Сообщаю анекдот про абрамчиков!

А как спать ложусь в кровать с душой
с Тонькою,
Вспоминаю той, другой, голос тоненький.
Ух, характер у неё — прямо бешеный,
Я звоню ей, а она трубку вешает...

Отвези ж ты меня, шеф, в Останкино,
В Останкино, где «Титан» кино,
Там работает она билетёршею,
На дверях стоит вся замёрзшая.

Вся замёрзшая, вся продрогшая,
Но любовь свою превозмогшая!
Вся иззябшая, вся простывшая,
Но не предавшая и не простившая!

<1962>

«В шестьдесят втором году я с группой кинематографистов вылетал на пленум Союза кинематографистов Грузии <...> И вот в самолёте, когда мы уже вылетели, я открыл последний номер газеты и прочёл о том, что Никита Сергеевич Хрущёв устроил для своего дорогого гостя, великого революционера, представителя «Острова свобо-

ды», Фиделя Кастро... правительственную охоту¹ с егерями, с доезжачими, с кабанами, которых загоняли эти егеря, — и они, уже обессиленные, стояли на подгибающихся ногах, а высокое начальство стреляло в них в упор, — с большой водкой, икрой и так далее. Маленькая деталь: охота эта была устроена на месте братских могил под Нарвою, где в тысяча девятьсот сорок третьем году ко дню рождения Геня всех времён и народов товарища Сталина было устроено контрнаступление, кончившееся неудачей, потому что оно подготовлено не было, оно было такое парадное контрнаступление. И вот на этих местах лежали тысячи тысяч наших с вами братьев, наших друзей. И на этих местах, вот там, где они лежали, на месте этих братских могил гуляла правительственная охота.

Я помню, что, когда я прочёл это сообщение, меня буквально залило жаром, потому что я знал историю этого знаменитого контрнаступления, и вот... эта трагичная, отвратительная история. И тут же в самолёте

¹ Визит Ф. Кастро с охотой состоялся не в 1962, а в 1964 году. Аберрация памяти?

«Правда», 13 января 1964 года:

«Во время визита в Советский Союз в 1963 г. Первого секретаря Национального руководства Единой партии социалистической революции, Премьер-министра Революционного правительства Республики Куба товарища Фиделя Кастро Рус Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР товарищ Н. С. Хрущёв пригласил товарища Фиделя Кастро вновь посетить Советский Союз в зимнее время для того, чтобы обменяться мнениями по интересующим обе стороны вопросам, а также отдохнуть, познакомиться с зимней природой и поохотиться в покрытых снегом лесах Советского Союза.

<...>

Товарищ Фидель Кастро с удовлетворением принял приглашение товарища Хрущёва и 12 января с.г. вылетел в СССР вместе с товарищем Н. В. Подгорным и членами советской делегации, которая принимала участие в праздновании пятой годовщины кубинской революции».

я начал писать эту песню, и, когда мы приехали в Тбилиси, я не пошёл на какую-то там очередную торжественную встречу, а, запершись у себя в номере гостиницы, написал её целиком. Потом я попросил достать мне гитару и положил её на музыку». (Из передачи на радио «Свобода» от 12 октября 1974 года)

ОШИБКА

Мы похоронены где-то под Нарвой,
Под Нарвой, под Нарвой,
Мы похоронены где-то под Нарвой,
Мы были — и нет.

Так и лежим, как шагали, попарно,
Попарно, попарно,
Так и лежим, как шагали, попарно,
И общий привет!

И не тревожит ни враг, ни побудка,
Побудка, побудка,
И не тревожит ни враг, ни побудка
Помёрзших ребят.
Только однажды мы слышим, как будто,
Как будто, как будто,
Только однажды мы слышим, как будто
Вновь трубы трубят.

Что ж, подымайтесь, такие-сякие,
Такие-сякие,
Что ж, подымайтесь, такие-сякие,
Ведь кровь — не вода!
Если зовёт своих мёртвых Россия,
Россия, Россия,
Если зовёт своих мёртвых Россия,
Так значит — беда!

Вот мы и встали в крестах да в нашивках,
В нашивках, в нашивках,

Вот мы и встали в крестах да в нашивках,
В снежном дыму.
Смотрим и видим, что вышла ошибка,
Ошибка, ошибка,
Смотрим и видим, что вышла ошибка
И мы — ни к чему!

Где полегла в сорок третьем пехота,
Пехота, пехота,
Где полегла в сорок третьем пехота
Без толку, зазря,
Там по пороше гуляет охота,
Охота, охота,
Там по пороше гуляет охота,
Трубят егеря!

<1962?>

*«Ещё из этого же цикла «Песни о пенсионерах», песня
о другом человеке, тоже имевшем отношение к лагерям».
(Фонограмма концерта 1975 года)*

ЗАКЛИНАНИЕ

В. Фриду и Ю. Дунскому

Помилуй мя, Господи, помилуй мя!

Получил персональную пенсию,
Заглянул на часок в «Поплавок»,
Там ракушками пахнет и плесенью,
И в разводах мочи потолок.

И шашлык отрывается свечкою,
И сулгуни воняет треской...
И сидеть ему лучше б над речкою,
Чем над этой пучиной морской.

Ой, ты море, море, море, море Чёрное,
Ты какое-то верчѐное-кручѐное!
Ты ведѐшь себя не по правилам,
То ты Каином, а то ты Авелем!

Помилуй мя, Господи, помилуй мя!

И по пляжу, где б под вечер по двое,
Брѐл один он, задумчив и хмур.
Это Чёрное, вздорное, подлое,
Позволяет себе чересчур!

Волны катятся, чѐртовы бестии,
Не желают режим понимать!
Если б не был он нынче на пенсии,
Показал бы им кузькину мать!

Ой, ты море, море, море, море Чёрное,
Не подследственное жаль, не заключѐнное!
На Инту б тебя свѐл за дело я,
Ты б из чѐрного стало белое!

Помилуй мя, Господи, помилуй мя!

И в гостинице странную, страшную,
Намечтал он спросонья мечту —
Будто Чёрное море под стражею
По этапу пригнали в Инту.

И блаженней блаженного во Христе,
Раскурив сигаретку «Маяк»,
Он глядит, как ребятушки-вохровцы
Загоняют стихию в барак!

Ой, ты море, море, море, море Чёрное,
Ты теперь мне по закону поручѐнное!
А мы обучены, бля, этой химии —
Обращению со стихиями!

Помилуй мя, Господи, помилуй мя!

И лежал он с блаженной улыбкою,
Даже скулы улыбка свела...
Но, должно быть, последней уликою
Та улыбка для смерти была.

И не встал он ни утром, ни к вечеру,
Коридорный сходил за врачом,
Коридорная Божию свечечку
Над счастливым зажгла палачом...

И шумело море, море, море Чёрное,
Море вольное, никем не приручённое,
И вело себя не по правилам —
И было Каином, и было Авелем!

Помилуй мя, Господи, в последний раз!

<1963?>

«...Должен сказать, что когда я прочёл удивительную, прекрасную повесть Георгия Владимова «Верный Руслан», я подумал, что ведь, собственно говоря, вот эту песню — «Больничная цыганочка» — можно было бы назвать «Верным Русланом». Это история о людях с совершенно искалеченной, парадоксальной психологией, которая возможна только в тех парадоксальных, невероятных условиях, в которых существуют наши люди». (Из передачи радио «Свобода» от 7 сентября 1975 года)

БОЛЬНИЧНАЯ ЦЫГАНОЧКА

А начальник всё спьяну о Сталине,
Всё хватает баранку рукой...
А потом нас, конечно, доставили
Санитары в приёмный покой.

Сняли брюки с меня и кожаночку,
Всё моё покидали в мешок
И прислали Марусю-хожалочку,
Чтоб дала мне живой порошок.

А я твердил, что я здоров,
А если ж печки-лавочки,
То в этом лучшем из миров
Мне всё давно до лампочки,
Мне всё равно, мне всё давно
До лампочки!

Вот лежу я на койке, как чайничек,
Злая смерть надо мною кружит,
А начальник мой, а начальничек, —
Он в отдельной палате лежит!
Ему нянечка шторку повесила,
Создают персональный уют!
Водят к гаду еврея-профессора,
Передачи из дома дают.

А там икра, а там вино,
И сыр, и печки-лавочки!
А мне — больничное говно,
Хоть это и до лампочки!
Хоть всё равно мне всё давно
До лампочки!

Я с обеда для сестрина мальчика
Граммов сто отолью киселю:
У меня ж ни кола, ни калачика —
Я с начальством харчи не делю!

Я возил его, падлу, на «Чаечке»,
И к Маргошке возил, и в Фили...
Ой вы добрые люди, начальнички,
Соль и слава родимой земли!

Не то он зав, не то он зам,
Не то он печки-лавочки!
А что мне зам?! Я сам с усам,
И мне чины до лампочки!
Мне все чины — до ветчины,
До лампочки!

Надеваю я утром пижамочку,
Выхожу покурить в туалет
И встречаю Марусю-хожалочку:
— Сколько зим, — говорю, — сколько лет!
Доложи, — говорю, — обстановочку!
А она отвечает не в такт:
— Твой начальничек дал упаковочку —
У него получился инфаркт!

Во всех больничных корпусах
И шум, и печки-лавочки...
А я стою — темно в глазах,
И как-то всё до лампочки!
И как-то вдруг мне всё вокруг
До лампочки...

Да, конечно, гражданка — гражданочкой,
Но когда воевали, братва,
Мы ж с ним вместе под этой кожаночкой
Ночевали не раз и не два.
И тянули спиртягу из чайника,
Под обстрел загорали в пути...
Нет, ребята, такого начальника
Мне, наверно, уже не найти!

Не слёзы это, а капель...
И всё, и печки-лавочки!

Поясок ей подарил поролоновый
И в палату с ней ходил в Грановитую.
А жена моя, товарищ Парамонова,
В это время находилась за границею.

А вернулась, ей привет — анонимочка:
Фотоснимок, а на нём — я да Ниночка!..
Просыпаюсь утром — нет моей кисочки,
Ни вещичек её нет, ни записочки!

Нет как нет,
Ну, прямо — нет как нет!

Я к ней в ВЦСПС, в ноги падаю,
Говорю, что всё во мне переломано.
Не сердчай, что я гулял с этой падлюю,
Ты прости меня, товарищ Парамонова!

А она как закричит, вся стала чёрная:
— Я на слёзы на твои — ноль внимания!
И ты мне лазаря не пой, я учёная,
Ты людя́м все расскажи на собрании!

И кричит она, дрожит, голос слабенький...
А холуи уж тут как тут, каплют капельки:
И Тамарка Шестопал, и Ванька Дёрганов,
И ещё тот референт, что из органов,

Тут как тут,
Ну, прямо — тут как тут!

В общем, ладно, прихожу на собрание.
А дело было, как сейчас помню, первого.
Я, конечно, бюллетень взял заранее
И бумажку из диспáнсера нервного.

А Парамонова, гляжу, в новом шарфике,
А как увидела меня — вся стала красная.

У них первый был вопрос —
«Свободу Африке!»,
А потом уж про меня — в части «разное».

Ну, как про Гану — все в буфет за сардельками,
Я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами,
А как вызвали меня, я свял от робости,
А из зала мне кричат: «Давай подробности!»

Все, как есть,
Ну, прямо — все, как есть!

Ой, ну что ж тут говорить,
что ж тут спрашивать?

Вот стою я перед вами, словно голенький.
Да, я с племянницей гулял с тёти Пашиной,
И в «Пекин» её водил, и в Сокольники.

И в моральном, говорю, моём облике
Есть растленное влияние Запада.
Но живём ведь, говорю, не на облаке,
Это ж только, говорю, соль без запаха!

И на жалость я их брал, и испытывал,
И бумажку, что я псих, им зачитывал.
Ну, поздравили меня с воскресением:
Залепили строгача с занесением!

Ой, ой, ой,
Ну, прямо — ой, ой, ой...

Взял я тут цветов букет покрасивее,
Стал к подъезду номер семь, для начальников.
А Парамонова, как вышла — стала синяя,
Села в «Волгу» без меня и отчалила!

И тогда прямым путём в раздевалку я
И тёте Паше говорю: мол, буду вечером.

А она мне говорит: «С аморалкою
Нам, товарищ дорогой, делать нечего.

И племянница моя, Нина Саввовна,
Она думает как раз то же самое,
Она всю свою морковь нынче прѣдала
И домой по месту жительства отбыла».

Вот те на,
Ну, прямо — вот те на!

Я иду тогда в райком, шлю записочку:
Мол, прошу принять по личному делу я.
А у Грошевой как раз моя кисочка,
Как увидела меня — вся стала белая!

И сидим мы у стола с нею рядышком,
И с улыбкой говорит товарищ Грошева:
— Схлопотал он строгача — ну и ладушки,
Помиритеесь вы теперь по-хорошему!

И пошли мы с ней вдвоѐм, как по облаку,
И пришли мы с ней в «Пекин» рука об руку,
Она выпила дюрсо, а я перцовую
За советскую семью образцовую!

Вот и всё!

<1963?>

ПЕСНЯ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ

Ангелине

Как мне странно, что ты жена,
Как мне странно, что ты жива!
А я-то думал, что просто
Ты мной воображена...

Не считайте себя виноватыми,
Не ищите себе наказанья,
Не смотрите на нас вороватыми,
Перепуганными глазами.
Будто призваны вы, будто позваны,
Нашу муку терпеньем мелете...
Ничего, что родились поздно вы, —
Вы всё знаете, всё умеете!

Как мне странно, что ты жена,
Как мне странно, что ты жива!
А я-то думал, что просто
Ты мной воображена....

Никаких вы не знали фортелей,
Вы не плыли бутырскими окнами,
У проклятых ворот в Лефортове
Вы не зябли ночами мокрыми.
Но ветрами подует грозными —
Босиком вы беду измерите!
Ничего, что родились поздно вы, —
Вы всё знаете, всё умеете!

Как мне странно, что ты жена,
Как мне странно, что ты жива!
А я-то думал, что просто
Ты мной воображена...

Не дарило нас время сладостью,
Раздавало горстями горькость,
Но великою вашей слабостью
Вы не жизнь нам спасли, а гордость!
Вам сторицей не будет воздано,
И пройдем мы по веку розно.
Ничего, что родились поздно вы, —
Воевать никогда не поздно!

Как мне страшно, что ты жена!
Как мне страшно, что ты жива!
Воркутинскою долгой ночью
Ты была воображена...

<1963?>

КОМАНДИРОВОЧНАЯ ПАСТОРАЛЬ

То ли шлюха ты, то ли странница,
Вроде хочется, только колется,
Что-то сбудется, что-то станется,
Чем душа твоя успокоится?
А то и станется, что подкинется,
Будут волосы все распатланы.
Общежитие да гостиница —
Вот дворцы твои Клеопатровы.

Сядь, не бойся, выпьем водочки,
Чай, живая, не покойница!
Коньячок? Четыре звёздочки?
Коньячок — он тоже колется...

Гитарист пошёл тренди-брендями,
Саксофон хрипит, как удушенный,
Всё, что думалось, стало бреднями,
Обманул Христос новоявленный!
Спой, гитара, нам про страдания,
Про глаза нам спой и про пальцы,
Будто есть страна Пасторалия,
Будто мы с тобой пасторальцы.

Под столом нарежем салца,
И плевать на всех на тутошних.
Балычок? Прости, кусается...
Никаких не хватит суточных.

Расскажи ж ты мне, белка белая,
Чем ты, глупая, озабочена,
Что ты делала, где ты бегала?
Отчего в глазах червоточина?
Туфли-лодочки на полу-то чьи?
Чья на креслице юбка чёрная?
Наш роман с тобой до полуночи:
Курва здешняя коридорная!

Влипнешь в данной ситуации,
И пыли потом, как конница.
Мне — к семи, тебе — к двенадцати,
Очень рад был познакомиться!

До свидания, до свидания,
Будьте счастливы и так далее...
А хотелось нам, чтоб страдания,
А хотелось, чтоб Пасторалия!
Но, видно, здорово мы усталые,
От анкет у нас в кляксах пальцы!
Мы живём в стране Постоялии —
Называемся — постояльцы...

<1963?>

ФАРС-ГИНЬОЛЬ

...Все засранцы, все нахлебники —
Жрут и пьют, и воду месят,
На одни, считай, учебники
Чуть не рупь уходит в месяц!
Люська-дура заневестила,
Никакого с нею слада!
А у папеньки-то шестеро,
Обо всех подумать надо —

Надо и того купить, и сего купить,
А на копеечки-то вовсе воду пить,
А сырку к чайку или ливерной —
Тут двугривенный, там двугривенный,
А где ж их взять?!

Люське-дурочке всё хаханьки,
Всё малина ей, калина,
А Никитушка-то махонький
Чуть не на крик от колита!
Подтянул папаня помочи,
И, с улыбкой незавидной,
Попросил папаня помощи
В кассе помощи взаимной.

Чтоб и того купить, и сего купить,
А на копеечки-то вовсе воду пить,
А сырку к чайку или ливерной —
Тут двугривенный, там двугривенный,
А где ж их взять?!

Попросил папаня слёзно и
Ждёт решенья, нет покоя...
Совещанье шло серьёзное,
И решение такое:
Подмогнула б тебе касса, но
Кажный рупь — догнать Америку!
Посему тебе отказано,
Но сочувствуем, поелику

Надо ж и того купить, и сего купить,
А на копеечки-то вовсе воду пить,
А сырку к чайку или ливерной —
Тут двугривенный, там двугривенный,
А где ж их взять?!

Вот он запил, как залеченный,
Два разá бил морду Люське,

А в субботу поздно вечером
Он повесился на люстре...

Ой, не надо «скорой помощи»!
Нам бы медленную помощь! —
«Скорый» врач обрезал помочи
И сказал, что помер в полночь...
Помер смертью незаметною,
Огорчения не вызвал,
Лишь записочку предсмертную
Положил на телевизор —

Что, мол, хотел он и того купить,
и сего купить,
А на копеечки-то вовсе воду пить!
А сырку к чайку или ливерной —
Тут двугривенный, там двугривенный,
А где ж их взять?!

<1963?>

«Ну вот ещё одна песня, которая принадлежит к этому же циклу «Разноцветных песен», потому что, как вы видели, Парамонова всё время меняла цвета. А песня совсем другого характера, хотя называется она «Весёлый разговор». (Фонограмма концерта в Израиле, ноябрь 1975 года)

ВЕСЁЛЫЙ РАЗГОВОР

А ей мама ну во всём потакала,
Красной Шапочкой звала,
пташкой вольной,
Ей какава по утрам два стакана,
А сама чайку попьёт — и довольно.
А как маму схоронили в июле,
В доме денег — ни гроша, ни бумаги,

Но нашлись на свете добрые люди:
Обучили на кассиршу в продмаге.

И сидит она в этой кассе,
Как на месте публичной казни.

А касса щёлкает, касса щёлкает,
Скушал Шапочку Серый Волк!
И трясёт она чёрной чёлкою,
А касса щёлк, щёлк, щёлк...

Ах, весёлый разговор!

Начал Званцев ей, завмаг, делать пасты:
«Интересно бы узнать, что за птица?»
А она ему в ответ из-за кассы:
Дожидаю, мол, прекрасного принца.

Всех отшила, одного не отшила,
Называла его милым Алёшей,
Был он техником по счётным машинам,
Хоть и лысый, и еврей, но хороший.

А тут как раз война, а он в запасе...
Прокричала ночь — и снова в кассе.

А касса щёлкает, касса щёлкает,
А под Щёлковым — в щепки полк!
И трясёт она пегою чёлкою,
А касса щёлк, щёлк, щёлк...

Ах, весёлый разговор!

Как случилось — ей вчера ж было двадцать,
А уж доченьке девятый годочек,
И опять к ней подъезжать начал Званцев,
А она про то и слушать не хочет.

Ну и стукнул он, со зла, не иначе,
Сам не рад, да не пойдёшь на попятный:

Обнаружили её в недостатке,
Привлекли её по сто тридцать пятой.

А на этап пошла по указу.
А там амнистия — и снова в кассу.

А касса щёлкает, касса щёлкает,
Засекается ваш крючок!
И трясёт она рыжей чёлкою,
А касса щёлк, щёлк, щёлк...

Ах, весёлый разговор!

Уж любила она дочку, растила,
Оглянуться не успела — той двадцать!
Ой, зачем она в продмаг зачастила,
Ой, зачем ей улыбается Званцев?!

А как свадебку сыграли в июле,
Было шумно на Песчаной на нашей.
Говорят в парадных добрые люди,
Что зовёт её, мол, Званцев «мамашей».

И сидит она в своей кассе,
А у ней внучок в первом классе.

А касса щёлкает, касса щёлкает,
Не копеечкам — жизни счёт!
И трясёт она белой чёлкою,
А касса: щёлк, щёлк, щёлк...

Ах, веселый разговор!

<1963?>

«Если вас не очень утомит, я вам спою пародийную песню из пародийного цикла. Она довольно длинная, вам придётся потерпеть. Значит, песня — но она пародийная, — она, естественно, поётся от лица идиота. Так

сказать, в данном случае идиотом выступает автор». (Фонограмма концерта на фестивале в Новосибирске, 9 марта 1968 года)

«Несколько слов об этой песне, поскольку мы сегодня, естественно, не столько занимаемся исполнительством, сколько анализируем и спорим. Вот потому, вероятно, о том, как она возникла и почему она написана, стоит сказать. Естественно, как всякий сатирик, я прежде всего воюю с одним из главных наших врагов — с мещанством и обывательщиной... Должен сказать, что по роду своей деятельности мне пришлось делать несколько совместных фильмов с другими странами: ну, скажем, я делал с Францией картину, делал с болгарами картину, сейчас буду делать картину с кооперированной продукцией Италии, Англии и Советского Союза. Поэтому мне много раз пришлось бывать за границей, и я видел, как наши обыватели, которые на словах клялись, так сказать, в верности нашим идеям и идеалам, — как они теряли сознание при виде всяких шмуток заграничных, как они постыдно себя вели в этой обстановке и как было необходимо как-то по этому поводу откликнуться.

Мне не хотелось об этом говорить в лоб, то есть с такого прямого захода, — хотелось как-то иначе, немножко по-другому решить эту же самую тему, вывернуть, так сказать, этого мещанина.

Вот то, что вы говорили, я понимаю так. Что вы против того, чтобы складывать оружие сатиры. (Я думаю, что, в общем, оно никогда не складывается — сатира всегда существовала и будет существовать до тех пор, пока будут объекты для сатирического высмеивания.) Вы говорили просто о литературных достоинствах произведения — в том смысле, что в нём не было никакого открытия. Но в нём было кое-какое открытие — я вам сейчас скажу какое. Для меня, во всяком случае.

Сейчас по поручению партийной организации Союза писателей я веду семинар с молодыми — воспитываю мо-

лодых драматургов. И вот одна из просто технических задач, поставленных мною перед ними, — это попытки найти абсолютно современное решение старым темам. Ну, вот что может быть старше темы о мещанине, на долю которого свалилось некое неслыханное богатство и наследство? Но современное её решение — оно, в общем, в данном случае предложено мною впервые. Понимаете? Таким же образом может быть решён и «Гартюф», вероятно, и «Ревизор», и так далее. Поисковать, причём не просто по-своему, а именно исходя из каких-то явлений времени — тех социальных, экономических, политических событий, которые происходят в нашем современном мире, — вот эти, грубо говоря, задачи стояли передо мною, когда я сочинял песню под названием «Баллада о прибавочной стоимости». (Из выступления в дискуссии на Новосибирском фестивале, 11 марта 1968 года)

БАЛЛАДА О ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ

...Призрак бродит по Европе,
призрак коммунизма...

Я научность марксистскую пестовал,
Даже точками в строчке не брезговал.
Запятым по пятам, а не дуриком,
Изучал «Капитал» с «Анти-Дюрингом».
Не стеснясь мужским своим признаком,
Наряжался на праздники «Призраком»,
И повсюду, где устно, где письменно,
Утверждал я, что всё это истинно.

От сих до сих, от сих до сих, от сих до сих,
И пусть я псих, а кто не псих? А вы не псих?

Но недавно случилась история —
Я купил радиолу «Эстония»,

И в свободный часок на полчаса
Я прилёт позабавиться классикой.
Ну, гремела та самая опера,
Где Кармен свово бросила опера,
А когда откричал Эскамилио,
Вдруг своё я услышал фамилиё.

Ну, чёрт-те что, ну, чёрт-те что, ну, чёрт-те что!
Кому смешно, мне не смешно. А вам смешно?

Гражданин, мол, такой-то и далее —
Померла у вас тётка в Фингалии,
И по делу той тёти Калерии
Ожидают вас в Инюрколлегии.
Ох, и вскинулся я прямо на дыбы:
Ох, не надо бы вслух, ох, не надо бы!
Больно тема какая-то склизкая,
Не марксистская, ох, не марксистская!

Ну прямо срам, ну прямо срам, ну, стыд и срам!
А я ведь сам почти что зам! А вы не зам?

Ну, промаялся ночь как в холере я,
Подвела меня падла Калерия!
Ну, жена тоже плачет, печалится —
Культ — не культ, а чего не случается?!
Ну, бельишко в портфель, щётка, мыльница, —
Если сразу возьмут, чтоб не мыкаться.
Ну, являюсь, дрожу аж по потрохи,
А они меня чуть что не под руки.

И смех и шум, и смех и шум, и смех и шум!
А я стою — и ни бум-бум. А вы — бум-бум?

Первым делом у нас — совещание,
Зачитали мне вслух завещание —
Мол, такая-то, имя и отчество,

В трезвой памяти, всё честью по чести,
Завещаю, мол, землю и фабрику
Не супругу, засранцу и бабнику,
А родной мой племянник Володечка
Пусть владеет всем тем на здоровьечко!

Вот это да, вот это да, вот это да!
Выходит так, что мне — т у д а! А вам куда?

Ну, являюсь на службу я в пятницу,
Посылаю начальство я в задницу,
Мол, привет, по добру, по спокойненьку,
Ваши сто мне — как насморк покойнику!
Пью субботу я, пью воскресенье,
Чуть посплю — и опять в окосение.
Пью за родину, и за не родину,
И за вечную память за тётину.

Ну, пью и пью, а после счёт, а после счёт,
А мне б не счёт, а мне б ещё. И вам ещё?!

В общем, я за усопшую тётеньку
Пропил с книжки последнюю сотенку,
А как встал, так друзья мои, бражники,
Прямо все как один за бумажники:
— Дорогой ты наш, бархатный, саржевый,
Ты не брезговай, Вова, одалживай! —
Мол, сочтёмся когда-нибудь дружбою,
Мол, пришлешь нам, что будет ненужное.

Ну, если так, то гран мерси, то гран мерси,
А я за это вам — джерси. И вам — джерси.

Наодалживал, в общем, до тыщи я,
Я ж отдам, слава Богу, не нищий я,
А уж с тыщи-то рад расстараться я —
И пошла ходуном ресторация...

С контрабаса на галстук — басовую!
Не «Столичную» пьём, а «Особую»!
И какие-то две с перманентиком
Всё назвать норвят меня Эдиком.

Гуляем день, гуляем ночь, и снова ночь,
А я не прочь, и вы не прочь, и все не прочь.

С воскресенья и до воскресения
Шло у нас вот такое веселие,
А очухался чуть к понедельнику,
Сел глядеть передачу по телику.
Сообщает мне дикторша новости
Про успехи в космической области,

А потом:

— Передаём сообщение из-за границы. Революция в Фингалии! Первый декрет народной власти — о национализации земель, фабрик, заводов и всех прочих промышленных предприятий. Народы Советского Союза приветствуют и поздравляют братский народ Фингалии со славной победой!

Я гляжу на экран, как на рвотное:
То есть как это так, всё народное?!
Это ж наше, кричу, с тётей Калею,
Я ж за этим собрался в Фингалию!

Негодяи, бандиты, нахалы вы!
Это всё, я кричу, штучки Карловы!
...Ох, нет на свете печальнее повести,
Чем об этой прибавочной стоимости!

А я ж её от сих до сих, от сих до сих!
И вот теперь я полный псих!
А кто не псих?!

<1963?>

«...Я неизменно вспоминаю своего покойного друга, замечательную женщину, Фриду Вигдорову, человека мужественного, благороднейшего, человека такой необыкновенной строгой доброты... который был готов броситься в бой с любой несправедливостью. Она узнавала о том, что где-то в Сибири обижают кого-то... она, маленькая седая женщина, тут же отправлялась в путь за десятки, за сотни, за тысячи километров... Я вспоминаю о ней потому, что, когда я написал свои первые песни, она... пришла ко мне и сказала: «Знаете, Саша, я хочу с вами поговорить... Что вы начали делать сейчас — вам кажется, что это вы так просто сочинили несколько забавных песен, а мы подумали, и нам показалось, что вот это то, чем вы должны заниматься. Это то, что вы должны делать...» (Из передачи на радио «Свобода» от 23 июня 1977 года)

УХОДЯТ ДРУЗЬЯ

*Памяти
Фриды Вигдоровой*

На последней странице газет
печатаются объявления о смерти,
а на первой — статьи, сообщения
и покаянные письма.

Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни — в никуда, а другие — в князья.
В осенние дни и в весенние дни,
Как будто в году воскресенья одни...
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!

Не спешите сообщить по секрету:
Я не верю вам, не верю, не верю!
Но приносят на рассвете газету,
И газета подтверждает потерю.

Знать бы загодя, кого сторониться,
А кому была улыбка — причастьем!
Есть — уходят на последней странице,
Но которые на первых — те чаще...

Уходят, уходят, уходят друзья,
Как одному, а другому — стезя.
Такой по столетию ветер гудит,
Что косит своих и чужих не щадит...
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!

Мы мечтали о морях-океанах,
Собирались напрямиком на Гавайи!
И, как спятивший трубач, спозаранок
Уцелевших я друзей созываю.

Я на ощупь, и на вкус, и по весу
Учиняю им поверку... Но вскоре
Вновь приносят мне газету-повестку
К отбыванию повинности горя.

Уходят, уходят, уходят друзья!
Уходят, как в ночь эскадрон на рысях.
Им право — не право, им совесть — пустяк,
Одни наплюют, а другие простят!
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!

И когда потеря громом крушенья
Оглушила, полоснула по сердцу,
Не спешите сообщить в утешенье,
Что немало есть потерь по соседству.

Не дарите мне беду, словно сдачу,
Словно сдачу, словно гривенник стёртый!
Я ведь всё равно по мёртвым не плачу —
Я ж не знаю, кто живой, а кто мёртвый.

Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни — в никуда, а другие — в князья.
В осенние дни и в весенние дни,
Как будто в году воскресенья одни...
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!..

<1963?>

ВАЛЬС, ПОСВЯЩЁННЫЙ УСТАВУ КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Поколение обречённых!
Как недавно — и ох как давно, —
Мы смешили смешливых девчонок,
На протырку ходили в кино.

Но задул сорок первого ветер —
Вот и стали мы взрослыми вдруг.
И вколачивал шкура-ефрейтор
В нас премудрость науки наук.

О, суконная прелесть устава —
И во сне позабыть не моги,
Что любое движенье направо
Начинается с левой ноги.

А потом в разноцветных нашивках
Принесли мы гвардейскую статью,
И женились на разных паршивках,
Чтобы всё поскорей навестать.

И по площади Красной, шалея,
Мы шагали — со славой на «ты», —
Улыбался нам Он с мавзолея,
И охрана бросала цветы.

Ах, как шаг мы печатали браво,
Как легко мы прощали долги!..
Позабыв, что движенье направо
Начинается с левой ноги.

Что же вы присмирели, задиры?!
Не такой нам мечтался удел.
Как пошли нас судить дезертиры,
Только пух, так сказать, полетел.

— Отвечай, солдат, как есть на духу!
Отвечай, солдат, как есть на духу!
Отвечай, солдат, как есть на духу!
Ты кончай, солдат, нести чепуху:
Что от Волги, мол, дошёл до Белграда,
Не искал, мол, ни чинов, ни разживу...
Так чего же ты не помер, как надо,
Как положено тебе по ранжиру?

Еле слышно отвечает солдат,
Еле слышно отвечает солдат,
Еле слышно отвечает солдат:
— Ну, не вышло помереть, виноват.

Виноват, что не загнулся от пули,
Пуля-дура не в того угодила.
Это вроде как с наградами в ПУРе¹,
Вот и пули на меня не хватило!

— Всё морочишь нас, солдат, стариной?!
Всё морочишь нас, солдат, стариной!
Всё морочишь нас, солдат, стариной —
Бьёшь на жалость, гражданин строевой!

Ни денег, мол, ни квартирки отдельной,
Ничего, мол, нет такого в заводе,

¹ ПУР — политуправление. (Прим. автора.)

И один ты, значит, вроде идейный,
А другие, значит, вроде Володи!

Ох, лютует прокурор-дезертир!
Ох, лютует прокурор-дезертир!
Ох, лютует прокурор-дезертир! —
Припечатает годкам к десяти!

Ах, друзья ж вы мои, дуралеи, —
Снова в грязь непроезжих дорог!
Заключенные параллели
Преподали нам славный урок —

Не делить с подонками хлеба,
Перед лестью не падать ниц
И не верить ни в чистое небо,
Ни в улыбку сиятельных лиц.

Пусть опять нас тетёшкает слава,
Пусть друзьями назвались враги, —
Помним мы, что движенье направо
Начинается с левой ноги!

<1963?>

*«Марш штрафников. Штрафники поют... поют
про малые войны». (Фонограмма)*

ЛЕВЫЙ МАРШ

Б. Метальникову

Левой, левой, левой,
Лвою, шагом марш!

Нет, ещё не кончены войны,
Голос чести ещё невнятен,

И на свете, наверно, вольно
Дышат йоги, и то навряд ли!

Наши малые войны были
Ежедневными чудесами
В мутном облаке книжной пыли
Государственных предписаний.

Левой, левой, левой,
Левою, шагом марш!

Помнишь, сонные понятия
Стали к притолоке головой,
Как мечтающие о тыле
Рядовые с передовой?!

Помнишь — вспоротая перина,
В летней комнате зимний снег?!
Молча шёл, не держась за перила,
Обещанный человек.

Левой, левой, левой,
Левою, шагом марш!

И не пули, не штык, не камень —
Нас терзала иная боль!
Мы бессрочными штрафниками
Начинали свой малый бой!

По детдомам, как по штрафбатам, —
Что ни сделаем — всё вина!
Под запрятанным шла штандартом
Необъявленная война.

Левой, левой, левой,
Левою, шагом марш!

Наши малые войны были
Рукопашными зла и чести,

В том проклятом военном быте,
О котором не скажешь в песне.

Сколько раз нам ломали рёбра,
Этот — помер, а тот — ослеп,
Но дороже, чем рёбра, — вобла
И солёный мякинный хлеб.

Левой, левой, левой,
Левою, шагом марш!

И не странно ли, братья серые,
Что по-волчьи мы, на лету,
Рвали горло — за милосердие,
Били морду — за доброту!

И ничто нам не мило, кроме
Поля боя при лунном свете!
Говорили — до первой крови,
Оказалось — до самой смерти...

Левой, левой, левой,
Левою, шагом марш!

<1963?>

«Ну вот старая очень песенка, которая почему-то, так сказать, называлась мною «Подражание Беранже», хотя это никакое не подражание Беранже и называется «Закон природы». (Фонограмма)

ЗАКОН ПРИРОДЫ **Подражание Беранже**

Ать-два, левой-правой,
Три-четыре, левой-правой,
Ать-два-три,
Левой, два-три!

Отправлен взвод в ночной дозор
Приказом короля.
Выводит взвод тамбурмажор,
Тра-ля-ля-ля-ля-ля!
Эй, горожане, прячьте жён,
Не лезьте сдуру на рожон!
Выводит взвод тамбурмажор —
Тра-ля-ля-ля!
Пусть в бою труслив, как заяц,
И деньжат всегда в обрез,
Но зато — какой красавец!
Чёрт возьми, какой красавец!
И какой на вид храбрец!

Ать-два, левой-правой,
Три-четыре, левой-правой,
Ать-два-три,
Левой, два-три!

Проходит пост при свете звёзд,
Дрожит под ним земля,
Выходит пост на Чёртов мост,
Тра-ля-ля-ля-ля-ля!
Чеканя шаг, при свете звёзд
На Чёртов мост выходит пост,
И, раскачавшись, рухнул мост —
Тра-ля-ля-ля!
Целый взвод слизнули воды,
Как корова языком,
Потому что у природы
Есть такой закон природы —
Колебательный закон!

Ать-два, левой-правой,
Три-четыре, левой-правой,

Ать-два-три,
Левой, два-три!

Давно в музей отправлен трон,
Не стало короля,
Но существует тот закон,
Тра-ля-ля-ля-ля-ля!
И кто с законом не знаком,
Пусть учит срочно тот закон,
Он очень важен, тот закон,
Тра-ля-ля-ля!
Повторяйте ж на дорогу
Не для кружева-словца,
А поверьте, ей-же-Богу,
Если все шагают в ногу —
Мост об-ру-ши-ва-ет-ся!

Ать-два, левой-правой,
Три-четыре, правой-левой,
Ать-два-три,
Левой, правой —
Кто как хочет!

<1963?>

НОЧНОЙ ДОЗОР

Когда в городе гаснут праздники,
Когда грешники спят и праведники,
Государственные запасники
Покидают тихонько памятники.
Сотни тысяч — и все похожие! —
Вдоль по лунной идут дорожке,
И случайные прохожие
Кувыркаются в неотложки!
И бьют барабаны!..

На часах замирает маятник,
Стрелки рвутся бежать обратно:
Одинокий шагает памятник,
Повторённый тысячекратно.
То он в бронзе, а то он в мраморе,
То он с трубкой, а то без трубки,
И за ним, как барашки на море,
Чешут гипсовые обрубки!

И бьют барабаны!..

Я открою окно, я высунусь,
Дрожь пронзит, будто сто по Цельсию!
Вижу: бронзовый генералиссимус
Шутовскую ведёт процессию!
Он выходит на место лобное —
Гений всех времён и народов! —
И, как в старое время доброе,
Принимает парад уродов!

И бьют барабаны!..

Прёт стеной мимо дома нашего
Хлам, забытый в углу уборщицей, —
Вот сапог громыхает маршево,
Вот обломанный ус топорщится!
Им пока — скрипеть да поругиваться,
Да следы оставлять линючие,
Но уверена даже пуговица,
Что сгодится ещё при случае!

И будут бить барабаны!..

Утро родины нашей — розово,
Позывные летят, попискивая.
Восвояси уходит бронзовый,
Но лежат, притаившись, гипсовые.
Пусть до времени покалечены,

Но и в прахе хранят обличие.
Им бы, гипсовым, человечины —
Они вновь обретут величие!
И будут бить барабаны!..

<1963?>

Евгений Евтушенко, поэт:

«Году в 1963-м Галич пригласил меня к себе домой и спел примерно двадцать песен в очень узкой компании. Песни меня поразили пронзительной гражданственной афористичностью: «Но поскольку молчание — золото, то и мы безусловно старатели»; «Ах, как шаг мы печатали браво, как легко мы прощали долги, позабыв, что движение направо начинается с левой ноги».

Начавшейся тогда попытке отката с позиций безоговорочного осуждения культа личности на позиции оговорочные, оправдывающие Галич противопоставил собственную безоговорочность. Уже в тот вечер это было совершенно ясно».

Владимир Волин, писатель:

«Начало 60-х. В маленькой комнате Дома творчества писателей в Малеевке собралось несколько человек, из которых сейчас помню только прекрасного прозаика И. Грекову (она же учёный-математик, доктор технических наук Елена Сергеевна Вентцель), чьи удивительные повести «За проходной» и «Дамский мастер» были тогда у всех на устах. Любимый мною пародист Александр Борисович Раскин принёс магнитофон «Яуза» и обычную 250-метровую кассету. Заперли дверь, включили негромкий звук. Для большинства собравшихся впервые прозвучали знаменитые ныне «Леночка» и «Ошибка», «Уходят мои друзья» и «Заклинание», «Красный треугольник» и «Облака» — два десятка песен, не похожих ни на что слышанное ранее.

Раскин кратко комментировал, но и без того было ясно, что мы слышим нечто необычное, смешное и страшное одновременно».

КОЛЫБЕЛЬНЫЙ ВАЛЬС

Баю-баю-баю-бай!
Ходи в петлю, ходи в рай,
Баю-баюшки-баю!
Хорошо ль тебе в раю?
Улетая — улетай!
Баю-баю-баю-бай!
Баю-бай!

Но в рай мы не верим, нехристи,
Незрячим к чему приметы!
А утром пропавших без вести
Выводят на берег Леты.
Сидят пропавшие, греются,
Следят за речным проливом.
А что им, счастливым, грезится?
Не грезится им, счастливым.

Баю-баю-баю-бай!
Забывая — забывай!
Баю-бай!

Идут им харчи казнённые,
Завозят вино — погуливают,
Сидят палачи и казнённые,
Поплёвывают, покуривают.
Придавят бычок подошвою,
И в лени от ветра вольного
Пропавшее наше прошлое
Спит под присмотром конвойного.

Баю-баю-баю-бай!
Ходи в петлю, ходи в рай!
Гаркнет ворон на плетне —
Хорошо ль тебе в петле?
Помирая — помирай,
Баю-баю-баю-бай!
Баю-бай!

<1964?>

«В своём театральном кабинете за день до отъезда в Минск, где его убили, Соломон Михайлович показывал мне полученные им из Польши материалы, документы и фотографии — о восстании в Варшавском гетто.

...Всхлипывая, он всё перекладывал и перекладывал эти бумажки и фотографии на своём огромном столе, всё перекладывал и перекладывал их с места на место, словно пытаясь найти какую-то ведомую только ему горестную гармонию.

Прощаясь, он задержал мою руку и тихо спросил:

— Ты не забудешь?

Я покачал головой.

— Не забывай, — настойчиво сказал Михозэлс, — никогда не забывай!

Я не забыл, Соломон Михайлович!» («Генеральная репетиция»)

ПОЕЗД

Памяти С. М. Михозэлса

Ни гневом, ни порицаньем
Давно уж мы не бряцаем:
Здороваемся с подлецами,
Раскланиваемся с полицаем.
Не рвёмся ни в бой, ни в поиск —

Всё праведно, всё душевно...
Но помни: отходит поезд!
Ты слышишь? Уходит поезд
Сегодня и ежедневно.

Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!

А мы балагурим, а мы куролесим,
Нам недругов лезть, как вода из колодца!
А где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам —
Колёса, колёса, колёса, колёса...

Такой у нас нрав спокойный,
Что без никаких стараний
Нам кажется путь окольный
Кратчайшим из расстояний.
Оплачен страховки полис,
Готовит обед царевна...
Но помни: отходит поезд,
Ты слышишь?! Уходит поезд
Сегодня и ежедневно.

Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!

Мы пол отциклуюем, мы шторы повесим,
Чтоб нашему раю — ни краю, ни сноса.
А где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам —
Колёса, колёса, колёса, колёса...

От скорости века в сонности
Живём мы, в живых не значась...
Непротивление совести —
Удобнейшее из чудачеств!
И только порой под сердцем
Кольнёт тоскливо и гневно:
Уходит наш поезд в Освенцим!

Наш поезд уходит в Освенцим
Сегодня и ежедневно!

Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!

А как наши судьбы — как будто похожи:
И на гору вместе, и вместе с откоса!
Но вечно — по рельсам, по сердцу,
по коже —
Колёса, колёса, колёса, колёса!

<1964?>

«Шуточная песня... В моей судьбе она сыграла неожиданно значительную роль. Именно за эту песню, когда меня исключали из Союза писателей, я был обвинён в проповеди сионизма». (Фонограмма концерта в Израиле, ноябрь 1975 года)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ой, не шейте вы, евреи, ливреи,
Не ходить вам в камергерах, евреи!
Не горюйте вы зазря, не стенайте, —
Не сидеть вам ни в Синоде, ни в Сенате.

А сидеть вам в Соловках да в Бутырках,
И ходить вам без шнурков на ботинках,
И не делать по субботам лехаим,
А таскаться на допрос с вертухаем.

Если ж будешь торговать ты елеем,
Если станешь ты полезным евреем,
Называться разрешат Рос... синантом
И украсят лапсердак аксельбантом.

Но и ставши в ремесле этом первым,
Всё равно тебе не быть камергером
И не выйти на елее в Орфеи...
Так не шейте ж вы ливреи, евреи!

<1964?>

ПЕСНЯ ПРО ОСТРОВА

Говорят, что есть на свете острова,
Где растёт на берегу забудь-трава,
Забудь о гордости, забудь про горести,
Забудь о подлости! Забудь про хворости!
Вот какие есть на свете острова!

Говорят, что где-то есть острова,
Где с похмелья не болит голова,
А сколько есть вина, пей всё без просыпу,
А после по морю ходи, как по суху!
Вот какие есть на свете острова!

Говорят, что где-то есть острова,
Где четыре не всегда дважды два,
Считай хоть дослепу — одна испарина,
Лишь то, что по сердцу, лишь то и правильно.
Вот какие есть на свете острова!

Говорят, что где-то есть острова,
Где неправда не бывает права!
Где совесть — надобность, а не солдатчина,
Где правда нажита, а не назначена!
Вот какие я придумал острова!

<1964?>

«Посвящается она Варламу Тихоновичу Шаламову. Это замечательный человек, замечательный писатель. Когда-то он начинал в тридцатые годы как поэт, и сейчас он, кстати, печатается в «Юности», но он пробыл очень много лет в лагерях. Он написал, по-моему, об этом прекрасную книжку, цикл рассказов и очерков об этом [«Колымские рассказы»]. Когда я её прочёл, мне захотелось написать песню, посвящённую ему. Мы ещё не были даже знакомы. И, в общем, это единственная моя, так сказать, лагерная стилизация, ибо я, так сказать, не очень люблю этот жанр. Но тут просто было как-то необходимо написать. И, кстати, было очень странно: я у одного нашего знакомого пел песни... Сидел какой-то очень высокий человек, костлявый. Сидел, приложив руку к уху — так слушал меня. Когда я сказал, что вот песня, посвящённая Варламу Тихоновичу Шаламову, он подсел совсем близко, просто прямо лицом к лицу. Мне было очень неудобно петь, и я очень злился во время того, как я пел эту песню. А потом, когда я кончил, он встал, обнял меня и сказал: «Ну вот, значит, давайте познакомимся. Я и есть Шаламов Варлам Тихонович». Так мы с ним познакомились, потому что песня была написана до нашего с ним знакомства. У меня, как известно, вообще голоса нет, а на эту песню у меня и вовсе голоса не хватает, потому что это такая, так сказать, истерично-урочная песня».
(Фонограмма)

ВСЁ НЕ ВОВРЕМЯ

В. Т. Шаламову

А ты стучи, стучи, а тебе Бог простит,
А начальнички тебе, Лёха, срок скостят!
А за Окой сейчас небось коростель свистит,
А у нас на Тайжете ветра свистят.
А месяц май уже, а всё снега белы,
А вертухаевы на снегу следы,

А что полнормы — тьфу, это полбеды,
А что песню спел — полторы беды!

А над Окой летят гуси-лебеди,
А за Окой свистит коростель,
А тут по наледи курвы-нелюди
Двух зэка ведут на расстрел!

А первый зэка, он с Севастополя,
Он там, чёрт чудной, Херсонес копал,
Он копал, чумак, что ни попадя,
И на полный срок в лагеря попал.
И жену его, и сынка его,
И старуху мать, чтоб молчала, блядь!
Чтобы знали все, что закаяно
Нашу родину сподниза копать!

А в Крыму теплынь, в море сельди,
И миндаль небось подоспел,
А тут по наледи курвы-нелюди
Двух зэка ведут на расстрел!

А второй зэка — это лично я,
Я без мами жил, я без папи жил,
Моя б жизнь была преотличная,
Да я в шухере стукаря пришил!
А мне сперва вышкá, а я в раскаянье,
А уж в лагере — корешей внавал,
И на кой я пёс при Лёхе-Каине
Чумаку подпел «Интернационал»?!

А в караулке пьют с рафинадом чай,
А вертухай идёт, весь сопрел.
Ему скучно, чай, и несподручно, чай,
Нас в обед вести на расстрел!

<1964?>

«... Он подъехал к нашему столику на инвалидной тележке, вместо протезов было четыре колеса. Он сказал: «Подсадите-ка меня, братцы». Мы посадили его. Он сказал: «Угостите-ка меня, братцы». Мы выпили. Когда мы выпили, он рассказал нам такую историю». (Фонограмма)

ПЕСНЯ О СИНЕЙ ПТИЦЕ

Был я глупый тогда и сильный,
Всё мечтал я о птице синей,
А нашел её синий след —
Заработал пятнадцать лет:
Было время — за синий цвет
Получали пятнадцать лет!

Не солдатами — номерами
Помирали мы, помирали.
От Караганды по Нарым —
Вся земля как сплошной нарыв!
Воркута, Инта, Магадан!
Кто вам жребий тот нагадал?!
То нас шмон трясёт, а то цинга!
И чуть не треть зэка из ЦК.
Было время — за красный цвет
Добавляли по десять лет!

А когда пошли миром грозы —
Мужики — на фронт, бабы — в слёзы!
В жёлтом мареве горизонт,
А нас из лагеря да на фронт!
Севастополь, Курск, город Брест...
Нам слепил глаза жёлтый блеск.
А как жёлтый блеск стал белеть,
Стали глазоньки столбенеть!
Ох, сгубил ты нас, жёлтый цвет!
Мы на свет глядим, а света нет!

Покалечены наши жизни!
А может, дело всё в дальтонизме?!
Может, цвету цвет не чета,
А мы не смыслим в том ни черта?!
Так подчаль меня, друг, за столик,
Ты дальтоник, и я дальтоник...
Разберёмся ж на склоне лет,
За какой мы погибли цвет!

<1964?>

«Под Москвой в 35 километрах, на станции Белые Столбы, расположен Госфильмофонд, а также сумасшедший дом». (Фонограмма)

«... Один разговор, который я когда-то слышал в очереди... за хлебом... Какие-то две женщины, стоявшие впереди меня, разговаривали, и одна говорила другой: «Знаешь, мы вчера, в воскресенье, в Белые Столбы ехали, в психбольницу на психов поглядеть, ой, умора, знаешь, они гуляют и каждый делает, чего хочет. Один на карачках ползает, другой плюётся, третий песни поёт, весело! Во жизнь!» (Из передачи на радио «Свобода» от 7 октября 1977 года)

«Ну вот это, так сказать, из тех песен, которые, в общем, вполне ерундовы, но которыми я очень горжусь, потому что они давно как бы потеряли авторство. Только это не в том, что этого никто не сочинял, это народное...» (Фонограмма)

**ПРАВО НА ОТДЫХ,
или Баллада о том, как я навещал своего брата,
находящегося на излечении в психбольнице
в Белых Столбах**

Первача я взял ноль-восемь, взял халвы,
Пару рижского и керченскую сельдь,

И отправился я в Белые Столбы
На братана да на психов поглядеть.

Ах, у психов жизнь —
Так бы жил любой:
Хочешь — спать ложись,
Хочешь — песни пой!
Предоставлено
Им вроде литеры —
Кому от Сталина,
Кому от Гитлера!

А братан уже встречает в проходной,
Он меня за опоздание корит.
Говорит: — Давай скорее по одной,
Тихий час сейчас у психов, — говорит.

Шизофреники —
Вяжут веники,
А параноики
Рисуют нолики,
А которые
Просто нервные —
Те спокойным сном
Спят, наверное.

А как приняли по первой первача,
Тут братана прямо бросило в тоску.
Говорит, что он зарежет главврача,
Что тот, сука, не пустил его в Москву!

А ему ж в Москву
Не за песнями,
Ему выправить
Надо пенсию,
У него в Москве
Есть законная...

И ещё одна есть —
Знакомая.

Мы пивком переложили, съели сельдь,
Закусили это дело косхалвой,
Тут братан и говорит мне: — Сень, а Сень,
Ты побудь здесь за меня денёк-другой!

И по выходке,
И по роже мы
Завсегда с тобой
Были схожими,
Тебе ж нет в Москве
Вздоха-продыха,
Поживи здесь, как
В доме отдыха!..

Тут братан снимает тапки и халат,
Он мне волосы легонько ворошит,
А халат на мне — ну, прямо в аккурат,
Прямо вроде на меня халат пошит!

А братан — в пиджак
Да и к поезду,
А я — булавочкой
Деньги к поясу
И иду себе
На виду у всех...
А и вправду мне
Отдохнуть не грех!

Тишина на белом свете, тишина!
Я иду и размышляю не спеша:
То ли стать мне президентом США,
То ли взять да и окончить ВПШ!..

Ах, у психов жизнь —
Так бы жил любой:

Хочешь — спать ложись,
Хочешь — песни пой!
Предоставлено
Н а м — вроде литера —
Кому от Сталина,
Кому от Гитлера!..

<1964?>

НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ

Старики управляют миром,
Суетятся, как злые мыши,
Им по справке, выданной МИДом,
От семидесяти и выше.

Откружили в боях и в вальсах,
Отмолили годам продление,
И в сведённых подагрой пальцах
Держат крепко бразды правленья.

По утрам их терзает кашель,
И поводят глазами шало
Над тарелками с манной кашей
Президенты Земного Шара!

Старики управляют миром,
Где обличья подобны маскам,
Пахнут вёсны — яичным мылом,
Пахнут зимы — камфарным маслом.

В этом мире — ни слов, ни сути,
В этом мире — ни слёз, ни крови!
А уж наши с тобою судьбы
Не играют и вовсе роли!

Им важнее, где рваться минам,
Им важнее, где быть границам...

Старики управляют миром,
Только им по ночам не спится.

А девчонка гуляет с милым,
А в лесу раскричалась птица!
Старики управляют миром,
Только им по ночам не спится.

А в саду набухает завязь,
А мальчишки трубят: «По коням!»
И острее, чем совесть, — зависть
Старикам не даёт покоя!

Грозный счёт покорённым милям
Отчеркнёт пожелтевший ноготь.
Старики управляют миром...
А вот сладить со сном — не могут!

<1964?>

СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА

Врач сказал: «Будь здоров! Паралич!»
Помирает Иван Ильич...

Ходят дети с внуками на цыпочках,
И хотя разлука не прispела,
Но уже месткомовские скрипочки
Принялись разучивать Шопена.

Врач сказал: «Может, день, может, два,
Он и счас уже дышит едва».

Пахнет в доме горькими лекарствами,
Подгоревшим давешним обедом,
Пахнет в доме скорыми мытарствами
По различным загсам и собесам.

Врач сказал: «Ай-ай-ай, вот те раз!
А больной-то, братцы, помер у нас».

Не снимает радист наушники
(По морям, по волнам),
А корабль подплывает к пристани
(По морям, по волнам)...
Не снимает радист наушники,
А корабль подплывает к пристани,
Но биндюжники есть биндюжники! —
Два бочонка с рифмами свистнули.
По морям, по волнам, по морям, по волнам,
По морям, по волнам...

Хоть всю землю шагами выстели
(По морям, по волнам),
Хоть расспрашивай всех и каждого
(По морям, по волнам)...
Хоть всю землю шагами выстели,
Хоть расспрашивай всех и каждого,
С чем рифмуется слово ИСТИНА —
Не узнать ни поэтам, ни гражданам!
По морям, по волнам, по морям, по волнам,
По морям, по волнам...

Виноваты во всём биндюжники!

<1965?>

Я ПРИНИМАЮ УЧАСТИЕ В НАУЧНОМ СПОРЕ

**между доктором филологических наук,
профессором Б. А. Бяликом
и действительным членом Академии наук СССР
С. Л. Соболевым по вопросу о том,
может ли машина мыслить**

...Я не чикался на курсах, не зубрил сопромат,
Я вполне в научном мире личность лишняя.
Но вот чего я усёк:

Газированной водой торговал автомат,
За копейку — без сиропа, за три — с вишнею.

И с такой торговал вольностью,
Что за час его весь выпили.
Стаканы́ наливал полностью,
А людя́м никакой прибыли!
А людя́м никакой выгоды,
Ни на зуб с дуплом компенсации!..
Стали люди искать выхода
Из безвыходной ситуации.

Сели думать тут ребятки, кто в беде виноват,
Где в конструкции ошибка,
в чём неправильность,
Разобрали тут ребята весь как есть автомат,
Разобрали, устранили в нём несправедность.

А теперь крутись, а то выпорем!
Станешь, дура, тогда умною!
Приспособим тебя к выборам —
Будешь в ёлках стоять урною!
Ты кончай, автомат, школьничать,
Ты кончай, автомат, умничать —
Мы отучим тебя вольничать,
Мы научим тебя жульничать.

Он повкалывал недельку — с ним обратно беда:
Весь затрясся он, как заяц под стужею,
Не поймёшь, чего он каплет —
не сироп, не вода,
Может, краска, может, смазка, может, хужее.

И стоит, на всех шавкой злобится,
То он плачет, то матюкается,
Это люди — те приспособятся,

А машина — та засекается!
Так и стал автомат шизиком,
Всех пугает своим видиком,
Ничего не понять физикам,
Не понять ничего лирикам!

Так давайте ж друг у друга не воруйте идей,
Не валите друг на друга свои горести,
И вот чего я вам скажу:
Может, станут автоматы не глупее людей,
Только очень это будет не вскорости!

<1965?>

ЖУТКОЕ СТОЛЕТИЕ

И. Грековой

В понедельник (дело было к вечеру,
Голова болела — прямо адово)
Заявляюсь я в гараж к диспетчеру,
Говорю, что мне уехать надобно.

Говорю, давай путёвку выпиши,
Чтоб куда подале да посеверней!
Ты меня не нюхай, я не выпивши,
Это я с тоски такой рассеянный.

Я гулял на свадьбе в воскресенье,
Тыкал вилкой в винегрет, закусывал,
Только я не пил за счастье Ксенино,
И вообще не пил, а так... присутствовал.

Я ни шкалика и ни полшкалика,
А сидел жевал горбушку чёрного,
Всё глядел на Ксенькина очкарика,
Как он строил из себя учёного.

А я, может, сам из семинарии,
Может, шоферюга я по случаю,
Вижу, даже гости закемарили,
Даже Ксенька, вижу, туча тучею.

Ну а он поёт, как хор у всенощной,
Всё про иксы, игреки да синусы,
А костюмчик — и взглянуть-то не на что:
Индпошив, фасончик «на-ка, выкуси»!

И живёт-то он не в Дубне атомной,
А в НИИ каком-то под Каширою,
Врёт, что он там шеф над автоматною
Электронно-счётною машиною.

Дескать, он прикажет ей: помножь-ка мне
Двадцать пять на девять с одной сотею, —
И сидит потом, болтает ножками,
Сам сачкует, а она работает.

А она работает без ропота,
Огоньки на пульте обтекаемом!
Ну, а нам-то, нам-то среди роботов,
Нам что делать, людям неприкаянным?!

В общем, слушал я, как замороженный,
А потом меня как чтой-то подняло.
Встал, сказал: — За счастье новорожденной!
Может, кто не понял — Ксенька поняла!

И ушёл я, не было двенадцати,
Хлопнул дверью — празднуйте, соколики!
И в какой-то вроде бы прострации
Я дошёл до станции «Сокольники».

В автомат пятак засунул молча я,
Будто бы в копилку на часовенку,

Ну а он залязгал, сука волчая,
И порвал штаны мне снизу доверху.

Дальше я не помню, дальше — кончики!
Плакал я и бил его ботинкою,
Шухера свистели в колокольчики,
Граждане смеялись над картинкою.

Так давай, папаша, будь союзником,
До суда поезжу дни последние,
Ах, обрыдла мне вся эта музыка,
Это автоматное столетие!

<1965?>

ПЕСНЯ ПРО СЧАСТЬЕ

Ты можешь найти на улице копейку
И купить коробок спичек,
Ты можешь найти две копейки
И позвонить кому-нибудь из автомата,
Ну, а если звонить тебе некому,
Так зачем тебе две копейки?
Не покупать же на две копейки
Два коробка спичек!

Можно вообще обойтись без спичек,
А просто прикурить у прохожего,
И заговорить с этим прохожим,
И познакомиться с этим прохожим,
И он даст тебе номер своего телефона,
Чтоб ты позвонил ему из автомата...
Но как же ты сможешь позвонить ему
из автомата,
Если у тебя нет двух копеек?!

Так что лучше уж не прикуривать
у прохожего,
Лучше просто купить коробок спичек.
Впрочем, и для этого сначала нужно
Найти на улице одну копейку...

<1965?>

«Песня из пьесы «Будни и праздники». (Фонограмма)

ЮЗ

По стеклу машины перед глазами шофёра
Бегают «дворники» направо-налево,
Направо-налево, направо-налево...

Не летят к нам птицы с тёплого юга,
Улетают птицы на тёплый юг.
Почему-то надо бояться юза,
А никто не знает, что такое юз.
Ах, никто не знает, что такое юз!

Телефон молчит мой, а это скверно.
Я-то понимаю, что дело в том, —
Ты сейчас под зонтиком ходишь, наверно,
А под зонтиком трудно ходить вдвоём.
Ах, под зонтиком трудно ходить вдвоём!

И под медленным дождиком мокнет муза,
И у дождика странный, солёный вкус...
Может, муза тоже боится юза?
И не знает тоже, что значит юз?
Ах, не знает муза, что значит юз!

По стеклу машины перед глазами шофёра
Бегают «дворники» направо-налево,
Направо-налево, направо-налево...

<1965?>

«Песня-пародия. Написана при участии Александра Раскина-Венцеля. Посвящается Елене Сергеевне Венцель». (Фонограмма)

КОМПОЗИЦИЯ № 27, ИЛИ ТРОЛЛЕЙБУСНАЯ АБСТРАКЦИЯ

И. Грековой

— Он не то чтобы достиг — он подлез...
— А он ей в ЦУМе — пылесос и палас...
— А она ему: «Подлец ты, подлец!..»
— И как раз у них годичный баланс...

А на дворе — то дождь, то снег,
То дождь, то снег — то плач, то смех.
И чей забой — того казна...
А кто — в запой, а кто — в «козла».

«Пользуйтесь услугами Аэрофлота,
Экономьте время», и тра-ля-ля!

— В общежитии замок на двери...
— В нос шибает то пивком, то потком...
— Отвори, — она кричит, — отвори!..
— Тут его и цап-царап на партком!..

А на дворе — то дождь, то снег,
Сперва — чуть-чуть, а там — и сверх,

Кому — во Львов, кому — в Казань,
А кто — в любовь, а кто — в «козла»!

«Покупайте к завтраку рыбные палочки,
Вкусно и питательно», и тра-ля-ля!

- Говорят, уже не первый сигнал...
- А он им в чай и подмешай нембутал...
- А им к празднику давали сига...
- По-советски, а не как-нибудь там!..

А на дворе — то дождь, то снег,
И тот же смех, один на всех.
И, словно бой, гремит гроза,
А кто — в любовь, а кто — в «козла».

«Граждане, подписку на газеты и журналы
Оформляйте вовремя», и тра-ля-ля!

- В общем, вышло у него так на так...
- А она опять: «Подлец ты, подлец!..»
- Подождите, не бросайте пятак!..
- Ну, поставили на вид, и конец!..

А на дворе — то дождь, то снег,
Всё тот же смех и тот же снег...
И не беда, что тот же смех,
А вот беда — всё тот же век!

«Предъявляйте пропуск в развёрнутом виде
При входе и выходе», и тра-ля-ля!

<1965?>

«...Песня, к которой требуется эпиграф. Называется она «Прощание с гитарой, или Чибиряк». Подражание Аполлону Григорьеву, у которого есть известные строчки в его известнейшей поэме, посвящённой гита-

Нехитрая грамматика
Небитых школяров.

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
Ах, как скушно мне с тобой, моя душечка!

И вот, как дождь по луночке,
Который год подряд
Всё на одной на струночке,
А шесть других молчат.
И лишь затем без просыпа
Разыгрываешь страсть,
Что, может, та, курносая,
«Послушает и дасть»...
Так и живёшь, бездумная,
В приятности примет,
Гитара однострунная —
Полезный инструмент!

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
Ах, не совестно ль тебе, моя душечка!

Плевать, что стала курвою,
Что стать под стать блядям,
Зато номенклатурная,
Зато нужна людям!
А что души касается,
Про то забыть пора.
Ну что ж, прощай, красавица!
Ни пуха, ни пера!

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
Что ж, ни пуха, ни пера, моя душечка!

<1965?>

«...Песни о трёх Александрях. Цикл, который называется «Александрейские песни». Песни, посвящённые поэтам, которых я очень люблю, и людям, кото-

рых я очень люблю и одного из которых я знал». (Фонограмма)

«Первая песня называется «Гусарская песня». Посвящается она замечательному поэту, офицеру Александру Полежаеву, который за свои сатирические стихи и песни был арестован, а затем разжалован в рядовые, сослан. После чего он спился и закончил свои дни в сумасшедшем доме». (Фонограмма)

ГУСАРСКАЯ ПЕСНЯ

По рисунку палешанина
Кто-то выткал на ковре
Александра Полежаева
В чёрной бурке на коне.
Тёзка мой и зависть тайная,
Сердце горем горячи!
Зависть тайная — летальная,
Как сказали бы врачи.

Славно, братцы,
Славно, братцы,
Славно, братцы-егеря!
Славно, братцы-егеря,
Рать любимая царя!
Ах, кивера да ментики,
Ах, соколы-орлы!
Кому вы в сердце метили,
Лепажевы стволы?
... Не мне ль вы в сердце метили,
Лепажевы стволы?!

А беда явилась за полночь,
Но не пулею в висок, —
Просто в путь, в ночную заволочь,
Важно тронулся возок.

И не спеть, не выпить водочки,
Не держать в руке бокал!
Едут трое: сам в серёдке,
Два жандарма по бокам.

Славно, братцы,
Славно, братцы,
Славно, братцы-егеря!
Славно, братцы-егеря,
Рать любимая царя!
Ах, кивера да ментики,
Пора бы выйти в знать!
Но этой арифметики
Поэтам не узнать.
...Ни прошлым и ни будущим
Поэтам не узнать!

Где ж друзья твои, ровесники?
Некому тебя спасать!
Началось всё дело с песенки,
А потом — пошла писать!
И по мукам, как по лезвию...
Размышляй теперь о том —
То ли броситься в поэзию,
То ли сразу в жёлтый дом...

Славно, братцы,
Славно, братцы,
Славно, братцы-егеря!
Славно, братцы-егеря,
Рать любимая царя!
Ах, кивера да ментики,
Возвышенная речь!
А всё-таки наветики
Страшнее, чем картечь!

...Доносы и наветики
Страшнее, чем картечь!..

По рисунку палешанина
Кто-то выткал на ковре
Александра Полежаева
В чёрной бурке на коне.
Но оставь, художник, вымысел,
Нас в герои не крои:
Нам не знамя жребий вывесил —
Носовой платок в крови...

Славно, братцы,
Славно, братцы,
Славно, братцы-егеря!
Славно, братцы-егеря,
Рать любимая царя!
Ах, кивера да ментики,
Нерукотворный стяг!
И дело тут не в метрике,
Столетие — пустяк!
...Столетие, столетие,
Столетие — пустяк...

<1965?>

«Следующая песня из этого цикла, из «Александрийского», из цикла «Песен об Александрях», — называется «Цыганская песня». (Фонограмма)

ЦЫГАНСКИЙ РОМАНС

Повстречала девчонка бога,
Бог пил мёртвую в монопольке,
Ну, а много ль от бога прока

В чертовне и в чаду попойки?
Ах, как пилоь к полночи!
Как в башке гудело,
Как цыгане, сволочи,
Пели «Конавэлла»!

«Ай да Конавэлла, гран-традела,
Ай да йорысака палалховела!»

А девчонка сидела с богом,
К богу фасом, а к прочим боком,
Ей домой бы бежать к папане,
А она чокается шампанью.
Ах, ёлочки-мочалочки,
Сладко вина пьются —
В серебряной чарочке
На золотом блюде!

Кому чару пить?! Кому здраву быть?!
Королевичу Александровичу!

С самоваров к чертям полуда,
Чад летал над столами сотью,
А в четвёртом часу, под утро,
Бог последнюю кинул сотню...
Бога, пьяного в дугу,
Все теперь цукáли,
И цыгане — ни гугу,
Разбрелись цыгане,
И друзья, допив до дна, —
Скатертью дорога!
Лишь девчонка та одна
Не бросала бога.

А девчоночка эта с Охты,
И глаза у ней цвета охры,

Ждёт маманя свою кровинку,
А она с богом сидит в обнимку.
И надменный половой
Шваркал мокрой тряпкой,
Бог с поникшей головой
Горбил плечи зябко
И просил у цыган хоть слова,
Хоть немножечко, хоть чуть слышно,
А в ответ ему — жбан рассола:
Понимай, мол, что время вышло!
Вместо водочки — вода,
Вместо пива — пена!..
И девчоночка тогда
Тоненько запела:

«Ай да Конавэлла, гран-традела,
Ай да йорысака палалховела...»

Ах, как пела девчонка богу
И про поле, и про дорогу,
И про сумерки, и про зори,
И про милых, ушедших в море...
Ах, как пела девчонка богу!
Ах, как пела девчонка Блоку!
И не знала она, не знала,
Что бессмертной в то утро стала —

Этот тоненький голос в трактирном чаду
Будет вечно звенеть в «Соловьином саду».

<1965?>

«Посвящается она памяти человека, которого — я горжусь тем, что я его знал, любил и был даже с ним дружен, — Александру Николаевичу Вертинскому, родона-

чальнику русского шансоньерства, если так можно выразиться. Человека, который первый начал использовать поэзию как средство такого песенного выражения». (Фотোগрамма)

САЛОННЫЙ РОМАНС

Памяти А. Н. Вертинского

...Мне снилось, что потом,
В притонах Сан-Франциско,
Лиловый негр Вам подаёт
манто.

А. Вертинский

...И вновь эти вечные трое
Играют в преступную страсть,
И вновь эти греки из Трои
Стремятся Елену украсть!..

А сердце сжимается больно,
Виски малярийно мокры —
От этой игры треугольной,
Безвыигрышной этой игры.

Развей мою смуту жалейкой,
Где скрыты лады под корой,
И спой — как под старой шинелькой
Лежал сероглазый король.

В беспамятстве дедовских кресел
Глаза я закрою, и вот —
Из рыжей Бразилии крейсер
В кисейную гавань плывёт.

А гавань созвездия множит,
А тучи — летучей грядой...
Но век не вмешаться не может,
А норы у века крутой!

Он судьбы смешает, как фанты,
Ему ералаш по душе, —
И вот он вряля-лейтенанта
Назначит морским атташе.

На карте истории некто
Возникнет, подобный мазку,
И правнук лилового негра
За займом приедет в Москву.

И всё ему даст непременно
Тот некто, который никто,
И тихая пани Ирена
Наденет на негра пальто.

И так этот мир разутюжен,
Что чёрта ли нам на рожон?!
Нам ужин прощальный — не ужин,
А сто пятьдесят под боржом.

А трое? Ну что же что трое!
Им равное право дано.
А Троя? — Разрушена Троя,
И это известно давно.

Всё предано праху и тлену,
Ни дат не осталось, ни вех.
А нашу Елену, Елену —
Не греки украли, а век!

<1965?>

А. Галич

ПРОЩАЛЬНЫЙ УЖИН

Началось всё неожиданным утренним звонком тридцать уже с лишком лет тому назад. Мне позвонил мой приятель и каким-то странным, слегка насмешливым голосом сказал: «Слушай, у меня есть

свободный билет. Ты не хотел бы пойти сегодня вечером в Дом кино, на концерт Александра Вертинского?» Я тоже чуть хмыкнул, сказал: «На чей концерт?» Он ответил: «На Вертинского. Ты же знаешь, он приехал, он в Москве». Я действительно слышал, что Вертинский приехал в Москву, и мне даже говорили, что где-то в очень узком кругу, для актёров Художественного театра, он пел, но что он будет выступать публично и то, что я смогу его услышать, казалось мне невероятным. И вот я пошёл на концерт Вертинского. Он должен был выступать в Доме кино, в старом Доме кино, который помещался у площади Восстания, там, где теперь Театр киноактёра.

Сама обстановка в фойе и в зале была довольно странная. Люди ходили немножко с недоверчивыми улыбками, переглядывались, говорили: «Ну-ну, неужели это правда?»

Я хотел бы, чтобы это представили те из вас, которые родились в годы войны или после войны и которые не знают, почему мы так странно отнеслись к сообщению о том, что приехал Вертинский.

Долгие годы Александр Вертинский был не то чтобы под запретом, а был человеком из какой-то другой, фантастической жизни. Он эмигрировал в двадцатые годы, и иногда до нас случайно доходили какие-то его пластинки, стёртые-престёртые. Мы слушали их, едва разбирая слова... И то, что вот он, легендарный Вертинский, о котором нам рассказывали наши матери, — то, что он сегодня, сейчас выступит и мы его увидим, казалось нам совершенно невероятным. Уже здесь, в кулуарах, рассказывали такую шутку-анекдот, полуанекдот, может быть, это и было правдой, что граф Алексей Николаевич Толстой, пролетарский писатель, устроил в честь приезда Александра Николаевича Вертинского приём. Гос-

тей почему-то долго томили в гостиной, не звали к столу, что-то не было готово у хозяек, и тут один из гостей, поглядевший на собравшееся общество: граф Алексей Николаевич Толстой, граф Игнатъев, митрополит Николай Крутицкий, Александр Николаевич Вертинский, — спросил: «Кого ещё ждём?» Грубый голос остроумца Смирнова-Сокольского ответил: «Государя!»

И вот мы пришли в зал. Сцена была пуста, открыт занавес, стоял рояль, а потом на сцену, без всякого предупреждения, вышел высокий человек в сизом фраке, с каким-то чрезвычайно невыразительным, стёртым лицом, с лицом, на котором как бы не было вовсе глаз, с такими белесовато-седыми волосами; за ним просеменил маленький аккомпаниатор, сел к роялю. Человек вышел вперёд и без всякого объявления, внятно, хотя и негромко, сказал: «В степи молдаванской». Пианист сыграл вступление, и этот человек со стёртым, невыразительным лицом произнёс первые строчки:

Тихо тянутся сонные дроги
И, вздыхая, ползут под откос...

И мы увидели великого мастера с удивительно прекрасным лицом, сияющими лукавыми глазами, с такой выразительной пластикой рук и движений, которая даётся годами большой работы и которая дарится людям большим их талантом. Можно по-разному оценивать творчество Александра Николаевича Вертинского, но то, что он оставил заметный след в жизни не одного, а нескольких поколений русских людей и в Советском Союзе, и за рубежом, — это вне всякого сомнения. Песни его, казалось бы, никак не соприкасающиеся с жизнью, такие, как «Я знаю, Джим», «Лиловый негр вам подаёт мантию», «Про-

щальный ужин», — казалось бы, что они там, в Советском Союзе? Что значили для нас эти песни, какое отношение имели к нашей жизни? Я помню стихи Смелякова: «Гражданин Вертинский вертится спокойно, девочки танцуют английский фокстрот; я не понимаю, что это такое, как это такое за душу берёт...»

Но он врал, Ярослав Смеляков. Он-то понимал, почему это брало за душу, почему в этой лирической, салонной пронзительности было для нас такое новое ощущение свободы.

Потом, после этого концерта, года два или три спустя, мне довелось познакомиться с Александром Николаевичем Вертинским. Мы даже жили с ним рядом в соседних номерах, в гостинице «Европейской» в Ленинграде, месяца полтора. Я работал тогда на киностудии «Ленфильм», делал сценарий, а у Вертинского были концерты. Он выступал в саду «Аквариум». И вот по вечерам, после концерта, он входил со своим стаканом чая. Он неизменно носил свой стакан чая с лимоном, садился и говорил мне: «Ну, давайте. Читайте стихи». Я читал ему Мандельштама, Пастернака, Заболоцкого, Сельвинского, Ахматову, Хармса. Читал совсем ему уже неизвестных даже по именам Бориса Корнилова и Павла Васильева, читал всё то, что он, долгие годы оторванный от России, не мог знать. Он был не только исполнителем, не только замечательным мастером, он был поразительным слушателем. Сам — актёр, певец, поэт, он умел слушать, особенно умел слушать стихи. И вкус у него на стихи был безошибочный. Он мог сфальшивить сам, мог иногда поставить неудачную строчку, мог даже неудачно (если ему было удобней) изменить строчку поэта, на стихи которого писал песню, — но чувствовал он стихи безошибочно. И когда я прочёл ему в первый раз стихотворение Ман-

дельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз», он заплакал, а потом сказал мне: «Запишите мне, пожалуйста. Запишите мне».

У меня с ним был ещё один забавный вечер. Мы решили не сидеть в номере, а пойти поужинать в «Европейскую». Летом ресторан работает на крыше, и туда ходят с удовольствием ленинградцы. Я не знаю, как сейчас, но в моё время, — я уже говорю, в моё время, как говорят старики, — так вот, в моё время это было довольно любимым местом ленинградцев. И вот мы пошли с Александром Николаевичем поужинать. Мы сидели вдвоём за столиком, и вдруг к нам подбежала какая-то необыкновенно восторженная, сильно в годах уже дама, сказала: «Боже мой, Александр Николаевич Вертинский!» Он встал, я, естественно, встал следом за ним (он был человеком чрезвычайно воспитанным и галантным), и сказал: «Ради Бога, прошу вас, садитесь к нам», она сказала: «Нет, нет, там у нас большая компания, просто я увидела вас. Я была, конечно, на вашем концерте, но я не рискнула зайти к вам за кулисы, а здесь я воспользовалась таким радостным случаем и просто хотела сказать вам, как мы счастливы, что вы вернулись на родину».

Александр Николаевич повторил: «Прошу вас, посидите с нами, хотя бы несколько минут». Она сказала: «Нет, нет, я очень тороплюсь. Я просто хочу, чтоб вы знали, каким счастьем было для нас, когда мы получали пластинки с вашими песнями, с вашими или с песнями Лещенко...» Вдруг я увидел, как лицо Александра Николаевича окаменело. Он сказал: «Простите, я не понял вторую фамилию, которую вы только что назвали». Дама повторила: «Лещенко».

«Простите, но я не знаю такого. Среди моих друзей в эмиграции были Бунин, Шаляпин, Рахмани-

нов, Дягилев, Стравинский. У меня не было такого ни знакомого, ни друга по фамилии Лещенко».

Дама отошла. Александр Николаевич был человеком с юмором, но иногда он его терял, когда его творчество воспринималось как творчество ресторанное — под водочку, под селёдочку, под расстегайчик, под пьяные слёзы и тоску по родине. Он считал, что делает дело куда как более важное, и думаю, что он был прав.

<1977>

«Однажды после очень тяжёлой болезни меня прямо из больницы Боткинской... врачи уговорили поехать в этот санаторий. Оказался это санаторий областного совета профсоюзов, который находился в ста с лишним километрах от Москвы, где, значит, жили, в основном, такие странные старики и старухи из разных областных центров. Из Москвы там никого не было... Единственное благодеяние, которое мне оказало местное начальство, — мне дали отдельную маленькую комнатку. Малюсенькую, как пенал. Но у меня был собственный ключ, и мне не нужно было сдавать чемодан в каптерку, значит, бегать за каждым носовым платком. И это было, в общем, довольно вскоре после моего приезда из Парижа, последнего. И я был... ещё довольно пижонски выглядел. И старики, и старухи никак не могли понять, кто я такой. Просто они всё время за мной следили. А у меня не было просто желания, не потому, что я не хотел, но не было желания общаться — я себя очень худо чувствовал. И вот однажды ко мне совершенно случайно, там у них было какое-то совещание, приехали Елена Сергеевна Венцель, она же писательница И. Грекова — это мой большой друг, — и с ней приехал наш тоже общий друг, такой роскошный полковник Димка Соколовский. Он... У него лёгкие погоны, но они выглядели, значит, как кэзэбэвские. Такие голубые погоны. Он огромного роста, в папахе каракулевой. Мы

пошли с ними гулять, а потом поднялись ко мне наверх на второй этаж. Я сказал, что они разденутся у меня в комнате, а сам я разделся внизу. И потом я вдруг обнаружил, что ключ от комнаты я забыл внизу в пальто. Я так вполоборота, — я шёл впереди с Еленой Сергеевной, — я сказал Димке, я говорю: «Уж, Димка, сбегай за ключом». А, значит, старухи и старики сидели, и они вдруг увидели, как полковник бросился выполнять моё распоряжение. Ну тут они уже совершенно обомлели. После этого вечера в курилке, а там, значит, можно было курить только в сортире, они мне стали задавать наводящие вопросы, говорят: «Это кто, — говорят, — к вам, братан приезжал?» Я говорю: «Да нет, не братан». Они говорят: «А кто же это приезжал?» И тут я не отказал себе в удовольствии сказать, что это приезжал сослуживец. Ну тогда уж они поняли, что я уж по меньшей мере какой-нибудь крупный генерал. Вот история, так тут всё правда, в этой песне. Это, собственно, даже не песня, а почти что очерк». (Фонограмма)

БАЛЛАДА О СТАРИКАХ И СТАРУХАХ,

с которыми я вместе жил и лечился в санатории
областного Совета профсоюзов в 110 км от Москвы

Все завидовали мне: «Эко денег!»
Был загадкой я для старцев и стариц.
Говорили про меня: «Академик!»
Говорили: «Генерал! Иностранец!»

О, бессонниц и снотворных отрав!
Может статься, это вы виноваты,
Что привиделась мне вздорная слава
В полумраке санаторной палаты?

А недуг со мной хитрил поминутно:
То терзал, то отпускал на поруки.

И всё было мне так страшно и трудно,
А труднее всего — были звуки.

Доминошники стучали в запале,
Привалившись к покорябанной пальме.
Старцы в чёсанках с галошами спали
Прямо в холле, как в общественной спальне.

Я неслышно проходил: «Англичанин!»
Я «козла» не забивал: «Академик!»
И звонки мои в Москву обличали:
«Эко денег у него, эко денег!»

И казалось мне, что вздор этот вечен,
Неподвижен, точно солнце в зените...
И когда я говорил: «Добрый вечер!»,
Отвечали старики: «Извините».

И кивали, как глухие глухому,
Улыбались не губами, а краем:
«Мы, мол, вовсе не хотим по-плохому,
Но как надо, извините, не знаем...»

Я твердил им в их мохнатые уши,
В перекурах за сортирную дверью:
«Я такой же, как и вы, только хуже!»
И поддакивали старцы, не веря.

И в кино я не ходил: «Ясно, немец!»
И на танцах не бывал: «Академик!»
И в палатке я купил чай и перец:
«Эко денег у него, эко денег!»

Ну и ладно, и не надо о славе...
Смерть подарит нам бубенчики славы!
А живём мы в этом мире послами
Не имеющей названья державы...

<1965?>



Мне приснилось,
что я — атлант...





А. Галич. В редакции газеты «Известия», декабрь 1965 г.
Фото В. Ахломова.



«Неделя», 1 января 1966 года:

Александр Галич:

— Я думаю, что сочинение таких песен надо рассматривать как явление литературное. Постараюсь доказать почему. На мой взгляд, лучшие из наших песен прежде всего интересны стихами, правда, существующими в неразрывной связи с мелодией. Совершенно очевидно, какую огромную нагрузку несёт в подобных песнях слово, как важен в них единый поэтический стиль. В большинстве удачных песен расширяется образный круг, затрагиваются темы, которые считались совершенно недоступными песне. Посмотрите, очень многие из этих сочинений включают в себе точный сюжет, практически перед нами короткие новеллы или даже новеллы-драмы, новеллы-повести, новеллы-притчи и сатиры. И каждая несёт совершенно определённый характер главного действующего лица или, так сказать, лирического героя. В лучших песнях Анчарова, Визбора, Кима, Городницкого герой подлинный, он имеет социальное происхождение, вполне осязаемую плоть, лексику, свойственную только ему. И этот центральный образ человека наших дней, который возникает за всеми этими произведениями, человека настоящего, много испытавшего, оптимистичного, на мой взгляд, одно из примечательных свойств наших «самодеятельных» песен.

<...>

Но надо учитывать... что это явление совершенно особое и в значительной степени необычное, хотя и всемирное: вспомним хотя бы французских шансонье, английских и американских «фолк-сингеров». Во многих песнях мы уходим от стандартной куплетной формы. Песня становится историей чьей-то жизни, рассказанной песенным монологом. Из всех моих друзей, сочиняющих песни, я самый безграмотный в музыкальном отношении, но даже музыкальная — а не только литературная — сторона наших песен имеет своё оправдание. Она очень чутка к бытовой интонации наших современников. Мелодии извлекаются из хождений по улицам, из поездок в метро и в автобусе. Это почти разговорная интонация, и она у всех «на слуху». Кажется, что всё это ты давно уже слышал, а где — и сам не помнишь. Но если потом разложить эту мелодию с гармонической точки зрения, то окажется, что мы не такие уж плагиаторы.

СПРАШИВАЙТЕ, МАЛЬЧИКИ!

Спрашивает мальчик: почему?

Спрашивает мальчик: почему?

Двести раз и триста: почему?

Тучка набегает на чело.

А папаша режет ветчину,

А папаша режет ветчину,

Он сопит и режет ветчину

И не отвечает ничего.

Снова замаячили быль, боль,

Снова рвутся мальчики в пыль, в бой!

Вы их не пугайте, не отваживайте,

Спрашивайте, мальчики, спрашивайте,
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте,
Спрашивайте, спрашивайте!

Спрашивайте: как и почему?
Спрашивайте: как и почему?
Как, и отчего, и почему —
Спрашивайте, мальчики, отцов!
Сколько бы ни резать ветчину,
Сколько бы ни резать ветчину,
Сколько бы ни резать ветчину, —
Надо ж отвечать, в конце концов!

Но в зрачке-хрусталике — вдруг муть,
А старые сандалики — ух, жмут!
Ну и не жалейте их, снашивайте!
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте!
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте,
Спрашивайте, спрашивайте!

<1966?>

«Песня называется «Атлант». Посвящается... доблестным органам Комитета государственной безопасности, в благодарность за их вечные опеку и внимание». (Фотোগрамма)

ПЕСНЯ ПРО МАЙОРА ЧИСТОВА

Я спросонья вскочил — патлат,
Я проснулся, а сон за мной,
Мне приснилось, что я — атлант,
На плечах моих — шар земной!

И болит у меня спина,
То мороз по спине, то жар,

И, с устатку пьяней пьяна,
Я роняю тот самый шар!

И, ударившись об Ничто,
Покатился он, как звезда,
Через Млечное решето
В бесконечное Никуда!

И так странен был этот сон,
Что ни дочери, ни жене
Не сказал я о том, что он
Этой ночью приснился мне!

Я и сам отогнал ту боль,
Будто наглухо дверь забил,
И к часам десяти ноль-ноль
Я и вовсе тот сон забыл.

Но в двенадцать ноль-ноль часов
Простучал на одной ноге
На работу майор Чистов,
Что заведует буквой «Г»!

И открыл он моё досье,
И на чистом листе, педант,
Написал он, что мне во сне
Нынче снилось, что я атлант!..

<1966?>

МЫ НЕ ХУЖЕ ГОРАЦИЯ

Вы такие нестерпимо ражие
И такие, в сущности, примерные.
Всё томят вас бури вернисажные,
Всё шатают паводки премьерные.
Ходите, тишайшие, в неистовых,
Феями цензурными заняньканы!..

Ну а если — ни премьер, ни выставок?
Десять метров комната в Останкино,
Где улыбкой стражники-наставники
Не сияют благостно и святочно,
Но стоит картина на подрамнике, —
Вот и всё!

...А этого достаточно.

Есть — стоит картина на подрамнике,
Этого достаточно!

Осудив и совесть и бесстрашие
(Вроде не заложишь и не купишь их),
Ах, как вы присутствуете, ражие,
По карманам рассовавши кукиши!
Что ж, зовите небылицы былями,
Окликайте стражников по имени!..
Бродят между ражими Добрынями
Тунеядцы Несторы и Пимены.
Их имён с эстрад не рассиропили,
В супер их не тискают облаточный:
«Эрика» берёт четыре копии,
Вот и всё!

...А этого достаточно.

Пусть пока всего четыре копии —
Этого достаточно!

Время сеет ветры, мечет молнии,
Создаёт советы и комиссии,
Что ни день — фанфарное безмолвие
Славит многодумное безмыслие.
Бродит Кривда с полосы на полосу,
Делится с соседской Кривдой опытом!..
Но гремит — напетое вполголоса,
Но гудит — прочитанное шёпотом.

Ни партера нет, ни лож, ни яруса,
Клака не безумствует припадочно, —
Есть магнитофон системы «Яуза»,
Вот и всё!

...А этого достаточно.

Есть — стоит картина на подрамнике!
Есть — отстуканы четыре копии!
Есть магнитофон системы «Яуза»!
Этого достаточно!

<1966?>

Олег Ковалов:

«В фильме всё было — наоборот. У А. Грина — герои вырывались к мечте из тины обыденности, здесь — обыденность последовательно затаптывала, как плевки, остатки последних романтических иллюзий. В кислой рецензии говорилось — авторы не поняли А. Грина-романтика: у него статую не разрушают — символ мечты спасает от злодеев чудо. Но даже из статьи вычитывалось: решение авторов — не от непонятливости, как раз рабски цепляющейся за букву оригинала, а — концептуально.

...В пёстром списке его лент выделяются две вполне «авторские». Фильм «Верные друзья» (1954) явил вольный разлив реки, омывшей струёй лиризма романтизированную панораму страны, пробуждающейся от тяжкой яви — забавным был здесь порок зазнайства, потешными букашками казались пугливые пузатенькие чинуши, перестраховщики, разумеется — «отдельные» и отживающие. В «Бегущей по волнам» (1967) океан раскачивает сор и слизь — фильм посвящён общественному отрезвлению от иллюзий.

...Фильм «Бегущая по волнам» обозначил приход «эпохи Кузьмы Кузьмича».

Даже песня тут заикается,
Даже песня тут заикается, —
Эта самая Фрези Грант...

Как бы там ни было, корабль плыл, плыл и был в пути полтора месяца, когда вахта на рассвете заметила огромную волну, метров сто высотой, идущую с юго-востока. Все испугались и приняли меры достойно утонуть. Однако ничего не случилось: корабль поднялся, опустился, и все увидели остров необычайной красоты. Фрези Грант стала просить отца пристать к острову, но капитан Грант естественно и с полным основанием ответил, что острова эти всегонавсего пригрезились.

Острова эти нам пригрезились,
Нам пригрезились, нам пригрезились,
Нам пригрезились эти отмели,
Эти пальмы на берегу,
А к мечте, дорогая Фрези,
Я пристать никак не могу.

Что ж, вы правы, сказала Фрези,
Что ж, прощайте, сказала Фрези,
Что ж, прощай, мой отец любимый,
Не сердись понапрасну ты!
Пусть корабль к мечте не причаливает —
Я смогу добежать до мечты.

И с этими словами Фрези прыгнула за борт. «Это не трудно, как я и думала», — сказала она, побежала к острову и скрылась, как говорится, в тумане.

И бежит по волнам, чуть касаясь воды,
И на зыбкой воде остаются следы,

И бежит сквозь ненастье и мрак до конца,
Всё бежит и надежду приносит в сердца.
Фрези Грант, Фрези Грант, Фрези Грант!..

<1966>

ПЕРВАЯ ПЕСЕНКА ШУТА

(К кинофильму «Бегущая по волнам»)

Встречаемые «Осанною»,
Преклонные уже смолода, —
Повсюду вы те же самые —
Клеймённые скукой золота!..

И это не вы ступаете,
А деньги ваши ступают...
Но памятники — то, что в памяти,
А память не покупают!

Не готовят в аптеке,
На лотках не выносятся!
Ни в раю и ни в пекле,
Ни гуртом и ни в розницу —
Не купить вам людскую память!

Неправд прописных глашатаи,
Добро утвердив по смете,
Правители, ставьте статуи,
А памятники не смейте!..

Вас тоже «осаннят» с папертей,
Стишки в вашу честь кропают,
Но памятники — то, что в памяти,
А память не покупают!..

<1966>

* * *

(К кинофильму «Бегущая по волнам»)

Всё наладится, образуется,
Так что незачем зря тревожиться.
Все безумные образуются,
Все итоги непременно подытожатся.

Были гром и град, были бедствия,
Будут тишь да гладь, благоденствие,
Ах, благоденствие!

Всё наладится, образуется,
Виноватые станут судьями.
Что забудется, то забудется:
Сказки — сказками, будни — буднями.

Всё наладится, образуется,
Никаких тревог не останется.
И покуда не наказуется,
Безнаказанно и мирно будем стариться.

<1966>

ПЕСНЯ О НОЧНОМ ПОЛЁТЕ

...Был, да ушёл в неги!

Ах, как трудно улетают люди!
Вот идут по трапу на ветру,
Вспоминая ангельские лютни
И тому подобную муру.
Улетают — как уходят в неги,
Исчезают угольком в золе...
До чего всё трудно людям в небе,
До чего всё мило на земле!

Пристегните ремни!
Пристегните ремни!

Ну, давай, посошок
На дорожку налей!
Тут же ясное дело,
Темни не темни,
А на поезде ездить людям веселей...
Пристегните ремни!
Пристегните ремни!
Не курить! Пристегните ремни!

И такой на землю не похожий
Синий мир за взлётной крутизной...
Пахнет небо хлоркою и кожей,
А не тёплой горестью земной!
И вино в пластмассовой посуде
Не сулит ни хмеля, ни чудес...
Улетают, улетают люди —
В злую даль, за тридевять небес!

Пристегните ремни!
Пристегните ремни!
Помоги, дорогой,
Чемоданчик поднять...
И какие-то вдруг
Побежали огни,
И уже ничего невозможно понять,
Пристегните ремни!
Пристегните ремни!
Не курить! Пристегните ремни!

Люди спят, измученные смутой,
Снятся людям их земные сны —
Перед тою роковой минутой
Вечной и последней тишины.
А потом, отдав себя крушенью,
Камнем вниз, не слушаясь руля!

И земля ломает людям шею,
Их благословенная земля.

Пристегните ремни!
Пристегните ремни!
Мы взлетели уже?
Я не понял. А вы?
А в окно ещё виден
Кусочек земли,
И немножко бетона, немножко травы...
Отстегните ремни!
Отстегните ремни!
Навсегда отстегните ремни!

София, 9 октября 1966

«Я вам спою такую очень... я бы сказал, духоподъёмную песню. Называется она «Вальс-баллада про тещу из Иванова». Это, в общем, подлинная история. Не сомневаюсь в абсолютной просвещённости аудитории, просто в песне можете не понять слово, и оно так и пройдёт непонятым, — слово «Поллок», которое в этой песне произносится, означает фамилию художника-абстракциониста американского Джексона Поллока. Значит, опять же прошу извинить, так сказать, за некоторую грубость». (Фонограмма концерта на фестивале в Новосибирске, март 1968 года)

ВАЛЬС-БАЛЛАДА ПРО ТЁЩУ ИЗ ИВАНОВА

Ох, ему и всыпали по первое...
По дерьму, спелёнутого, волоком!
Праведные суки, брызжа пеною,
Обзывали жуликом и Поллоком!
Раздавались выкрики и выпады,

Ставились искусно многоточия,
А в конце, как водится, оргвыводы:
Мастерская, дóговор и прочее...

Он припёр вещички в гололедицу
(Все в один упрятал узел драненький)
И свалил их в угол, как поленницу, —
И холсты, и краски, и подрамники.
Томка вмиг слетала за кубанскою,
То да сё, яичко, два творожничка...
Он грамм сто принял, заел колбаскою
И сказал, что полежит немножечко.

Выгреб тайно из пальтишка рваного
Нембутал, прикопленный заранее...
А на кухне тёща из Иванова,
Ксения Павловна, вела дознание.
За окошком ветер мял акацию,
Билось чьё-то сизое исподнее...
— А за что ж его? — Да за абстракцию.
— Это ж надо! А трезвону подняли!

Он откуда родом? — Он из Рыбинска.
— Что рисует? — Всё натуру разную.
— Сам еврей? — А что? — Сиди не рыпайся!
Вон у Лидки — без ноги да с язвою...
Курит много? — В день полпачки «Севера».
— Лидкин, дьявол, курит вроде некрута,
А у них ещё по лавкам семеро...
Хорошо живёте? — Лучше некуда!..

— Лидкин, что ни вечер, то с приятелем,
Заимела, дура, в доме врага...
Значит, окаянный твой с понятием:
В день полпачки «Севера» — недорого.
Пить-то пьёт? — Как все, под воскресение.

— Лидкин пьёт, вся рожа окорябана!
... Помолчали, хрустнуло печенье,
И, вздохнув, сказала тёща Ксения:
— Ладно уж, прокормим окаянного...

Переделкино, 25 ноября 1966

«Я написал стихотворение «Памяти Пастернака» — песню памяти Пастернака, и первым, кому я прочёл её, был Корней Иванович Чуковский. Он сказал: «Ну вот, теперь я вам подарю одну фотографию, она пока ещё почти никому не известна». И он принёс мне фотографию. На этой фотографии изображён улыбающийся Борис Леонидович с бокалом вина в руке и к нему склонился Корней Иванович Чуковский и чокается с ним этим бокалом. А Борис Леонидович — у него очень весёлая и даже какая-то хитрая улыбка на губах. Я спросил: «Что это за фотография, Корней Иванович?» Он мне сказал: «Это примечательная фотография. Эта фотография снята в тот день, когда было сообщено о том, что Борис Леонидович получил Нобелевскую премию. И вот я пришёл его поздравить, а он смеётся, потому что я ему, который всю жизнь свою ходил в каком-то странном парусиновом рабочем костюме, я ему рассказывал о том, что ему теперь придётся шить фрак, потому что Нобелевскую премию надо получать во фраке, когда представляешься королю».

И вот в эту фотографию, в эту сцену, через десять минут войдёт Федин и скажет, что у него на даче сидит Поликарпов и что они просят Бориса Леонидовича туда прийти. И Поликарпов сообщит ему, что советское правительство предлагает ему отказаться от Нобелевской премии. Но это случится через десять минут. А на этой фотографии, в это мгновение Борис Леонидович ещё счастлив, смеётся, и на столе стоят фрукты, которые привезла вдова Табидзе. Ей очень много помогал Пастернак, поддерживал все годы после гибели её мужа. Она прилетела из Тбилиси, привезла фрукты, весенние фрукты, и

цветы, чтобы поздравить Бориса Леонидовича... Я не много раз встречался в жизни с Борисом Леонидовичем Пастернаком, но однажды он пришёл в переделкинский Дом писателей (я тогда жил там, я ещё был членом Союза писателей), пришёл звонить по телефону (у него на даче телефон не работал). Был дождь, вечер, я пошёл его проводить. И по дороге (я уже не помню даже по какому поводу) Борис Леонидович сказал мне: «Вы знаете, поэты или умирают при жизни, или не умирают никогда». Я хорошо запомнил эти слова. Борис Леонидович не умрёт никогда». (Из передачи на радио «Свобода» от 28 мая 1975 года)

ПАМЯТИ Б. Л. ПАСТЕРНАКА

Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда, Бориса Леонидовича Пастернака, последовавшей 30 мая сего года на 71-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного.

*Единственное появившееся
в газетах, вернее, в одной —
«Литературной газете», —
сообщение о смерти
Б. Л. Пастернака.*

Разобрали венки на веники,
На полчаса погрустнели...
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!
И терзали Шопена лабухи,
И торжественно шло прощанье...
Он не мылил петли в Елабуге
И с ума не сходил в Сучане!
Даже киевские письмэнники

На поминки его успели.
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!..

И не то чтобы с чем-то за́ сорок —
Ровно семьдесят, возраст смертный.
И не просто какой-то пасынок —
Член Литфонда, усопший сметный!
Ах, осыпались лапы ёлочки,
Отзвенели его метели...
До чего ж мы гордимся, сволочи,
Что он умер в своей постели!

«Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела...»

Нет, никакая не свеча —
Горела люстра!
Очки на морде палача
Сверкали шустро!

А зал зевал, а зал скучал —
Мели, Емеля!
Ведь не в тюрьму и не в Сучан,
Не к высшей мере!

И не к терновому венцу
Колесованьем,
А как поленом по лицу —
Голосованьем!

И кто-то, спяну, вопрошал:
— За что? Кого там?
И кто-то жрал, и кто-то ржал
Над анекдотом...

Мы не забудем этот смех
И эту скуку!
Мы — поимённо! — вспомним всех,
Кто поднял руку!..

«Гул затих. Я вышел на подмости.
Прислонясь к дверному косяку...»

Вот и смолкли клевета и споры,
Словно взят у вечности отгул...
А над гробом встали мародёры
И несут почётный
ка-ра-ул!

Переделкино, 4 декабря 1966

«Лет десять тому назад мне довелось принимать участие в декаде русского искусства и литературы в Казахстане. Это было, в общем, довольно странное мероприятие. Нас встречали на аэродроме. Под предводительством Соболева оно проходило, покойного уже ныне Героя Соцтруда, который за всю свою жизнь не написал трёхсот страниц, как подсчитано, так он перетрудился жутко. И под его руководством нас встречали на аэродроме девушки в национальных костюмах казахских с хлебом-солью. А потом нас распределили в разные бригады, мы разъехались по республике. Я попал в город Караганду. И вот в городе Караганде я встретился с людьми, которые своё детство, отрочество и даже юность провели в лагере для детей врагов народа. Был такой лагерь «Долинка» под Карагандой. В 56—55-м годах, когда они освободились, они вышли, естественно, на волю, и мужчины, в основном, разъехались, а женщины, в основном, остались в Караганде. Причём это очень красивые женщины. Это очень страшный город такой, выстроенный по линейке и стоящий прямо у края степи, из которой дует холодный колючий ветер. Женщины все рождения так середины

30-х годов. Была такая мода тогда, особенно у военспецов, жениться на иностранках. Так что они все полукровки: полурусские-полушведки, полурусские-полуангличанки и так далее. Они все остались в Караганде, потому что ехать им было некуда, не к кому, незачем. И они нарочито ведут себя грубо. Почти все они незамужние. Почти все они ведут такую странную, почти полублатную жизнь. И вот несколько человек, которые обслуживали нас в ночном ресторане, потому что мы уезжали на концерты, приезжали поздно вечером, ресторан уже не работал, и вот был такой специальный зал выделен для нас, вот они нас обслуживали. Когда мы говорили: «Ну как вы там? Не скучаете по Москве, по Ленинграду?» Они говорят: «Мы их не видели, мы не знаем. Это вы оттуда, из России, а мы про Россию знать ничего не хотим!» Они считают, что они из Азии, а мы живём в России... Это меня очень пронзило, должен вам сказать. У них очень такие странные и горестные лица. И вот про одну из таких женщин я написал песню. Называется она «Песня про генеральскую дочь, или Караганда». (Фонограмма)

ПЕСНЯ-БАЛЛАДА ПРО ГЕНЕРАЛЬСКУЮ ДОЧЬ

М. Фигнер

Он был титулярный советник,
Она генеральская дочь...

Постелилась я, и в печь — уголёк,
Накрошила огурцов и мясца,
А он явился, ноги вынул и лёг —
У мадам у его — месяца.

А он и рад тому, сучок, он и рад,
Скушал водочки — и в сон наповал!..
А там — в России — где-то есть Ленинград,
А в Ленинграде том — Обводный канал.

А там мамонька жила с папонькой,
Называли меня «лапонькой»,
Не считали меня лишнею,
Да им дали обоим высшую!

Ой, Караганда, ты, Караганда!
Ты угольком даёшь на-гора года!
Дала двадцать лет, дала тридцать лет,
А что с чужим живу, так своего-то нет!
Кара-ган-да...

А он, сучок, из гулевых шоферов,
Он барыга, и калымщик, и жмот,
Он на торговой даёт будь здоров, —
Где за рупь, а где какую прижмёт!

Подвозил он раз меня в «Гастроном»,
Даже слова не сказал, как полез,
Я бы в крик, да на стекле ветровом
Он картиночку приклеил, подлец!

А на картиночке — площадь с садиком,
А перед ней камень с Медным Всадником,
А тридцать лет назад я с мамой в том саду...
Ой, не хочу про то, а то я выть пойду!

Ой, Караганда, ты, Караганда!
Ты мать и мачеха, для кого когда,
А для меня была так завсегда нежна,
Что я самой себе стала не нужна!
Кара-ган-да!..

Он проснулся, закурил «Беломор»,
Взял пинжак, где у него кошелёк,
И прошлёпал босиком в коридор,
А вернулся — и обратно залёг.

Он сопит, а я сижу у огня,
Режу мелко на водку лучок...

А ведь всё-таки он жалеет меня,
Всё-таки ходит, всё-таки дышит, сучок!

А и спи, проспись ты, моё золотце,
А слёзы — что ж, от слёз —

хлеб не солится,

А что мадам его крутит мордою,
Так мне плевать на то, я не гордая...

Ой, Караганда, ты, Караганда!
Если тут горда, так и на кой годна!
Хлеб насущный наш дай нам, Боже, днесь,
А что в России есть, так то не хуже здесь!
Кара-ган-да!..

Что-то сон нейдет, был, да вышел весь,
А завтра делать дел — прорву адскую!
Завтра с базы нам сельдь должны завезть,
Говорили, что ленинградскую.

Я себе возьму и кой-кому раздам,
Надо ж к празднику подзаправиться!
А пяток сельдей я пошлю мадам,
Пусть покушает, позабавится!

Пусть покушает она, дура жалкая,
Пусть не думает она, что я жадная,
Это, знать, с лучка глазам колется,
Голова на низ чтой-то клонится...

Ой, Караганда, ты, Караганда!
Ты угольком даёшь на-гора года,
А на картиночке — площадь с садиком,
А перед ней камень...
Ка-ра-ган-да!..

<1966>

Лев Копелев, писатель:

«...Декабрь 1966 года. Переделкино. Дом творчества. У нас в комнате поёт Александр Галич. Внезапно входит Корней Иванович. Мы испугались. Ведь песни Галича — их язык, стиль, страсти прямо противоположны всему, что он любит. Но слушал он благодарно, увлечённо. Галич пел «Аве Мария», «Караганда» — тогда только сочинённые. Корней Иванович стал заказывать. Оказалось, что раньше он уже слышал плёнки. Весело повторял:

Как про Гану, все в буфет
За сардельками...

И пригласил Галича петь у него в доме. Концерт состоялся через несколько дней».

Раиса Орлова, литературовед (из дневника):

«...Я уже столько раз видела поющего Сашу, что могу позволить себе роскошь и наслаждение — не отрывать глаз от Корнея Ивановича.

Удивительно: ведь у Галича современный, сверхсовременный язык. Сиюминутный. Чуковский живёт на земле девятый десяток лет. Как за это время изменились слова, лексика, интонация. Казалось бы, всё это должно быть чужим. Отчасти и раздражающим. И реалии неведомые: можно поручиться, что К.И. и не видел никогда, как «соображают на троих»...

Но он воспринимает каждое слово, выделяет то, единственное, избранное из сотен тысяч, найденное. Он схватывает полифонию галичевских песен, оттенки значений сразу, мгновенно.

И ещё — для К.И. слово Галича вкусно. Он его смакует, пробует на зуб, воспринимает чувственно, не только головой, душой, сердцем, даже пальцами как бы ощупывает, проводит по буграм, по извилинам, по всем многозначьям слова... Вскрывает. Вскрывает. Смеётся. Темнеет.

Чуковский подарил Галичу свою книгу и написал: «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь...»

Вскоре после этого тот под хмельком пришёл к Чуковскому просить коньячку — и был попросту выставлен. — Не смейте приходить ко мне пьяным».

Мирон Петровский, писатель:

«Переступив порог переделкинского дома, я понял, что разговору, ради которого я приехал, сегодня не бывать: дом был полон гостей. Такого многолюдства я в этом доме никогда не заставал, разве что на знаменитых чуковских «кострах».

Оказалось, будет вечер одного из нынешних поэтов. Начали без хозяина, и никто не спросил о нём: очевидно, по этому поводу было предупреждение до моего прихода. Исполнялись песни, решительно не похожие на привычную песенную традицию. Это было не сразу понятное, но ясно ощутимое новое единство поэтического слова и музыки. Представить себе это слово вне гитарного перебора и модуляции артистического голоса поэта казалось невозможным, да и не хотелось.

На исходе десятка песен со своего второго этажа спустился Корней Иванович. Тут в концерт вклинился маленький вставной спектакль.

Сделав вид, будто страшно изумлён таким многолюдством в его доме, Корней Иванович почтительно поклонился во все стороны и чуть ли не в пояс. Извинился за опоздание. Сиротским тенором стал выклянчивать себе местечко, но не выдержал игры — рассмеялся. Отверг все предложенные ему места. Преувеличенно застенчиво показал, где он желает сидеть — меж двух хорошеньких женщин. Усевшись, немедленно обнял обеих — жестом монарха, не желающего скрывать свою любовь к подданным. Попросил продолжать. После каждой песни плескал в огромные ладони, словно выколачивая ковер, и поощрительно

кивал. Когда же исполнитель попросил передышки, откланялся, сославшись на возраст и болезни.

После перерыва концерт продолжался своим чередом. Мне передали, что Корней Иванович не забыл про обещанный разговор и просит подняться к нему наверх.

Хотя Корней Иванович был занят самым будничным делом — он читал, — едва ли кто-нибудь занимался более необычным чтением. Он читал подаренную ему автором книжку стихов поющего поэта.

Оцените парадоксальность обстоятельств: внизу слушают песни под гитару, наверху, плотно прикрыв обитую дерматином дверь, Чуковский читает по книжке эти — нарочно созданные для пения под гитару — стихи. «Единство слова и музыки», «новый музыкально-поэтический жанр», «синтез стиха и музыки в авторском исполнении» и многое другое, о чём так охотно говорили внизу, — всё это не занимало Корнея Ивановича. От моего вопроса о песнях он отмахнулся: «Гитаризованная поэзия!»

— Но, — продолжал он, — какие чудесные стихи! С каким изящным мастерством строит поэт свои баллады — так, что и мастерства никакого не видать. Сильные, фольклорные, классические по своей строгой конструкции стихи. Как прекрасно знает поэт своих героев — людей из низовых слоёв — и с какой естественностью перевоплощается в них! Напрасно его творчество связывают с какими-то новейшими течениями западной поэзии — его истоки отечественные, русские, некрасовские:

Частью по глупой честности,
Частью по простоте,
Пропадаю в неизвестности,
Пресмыкаюсь в нищете.

Место я имел доходное,
А доходу не имел:
Бескорыстье благородное!
Да и брать-то не умел...

Корней Иванович читал стихи, упиваясь их музыкой, как бы внушая слушателю своим чтением, что никакой иной музыки, кроме этой, слуху не надобно. И одним лишь чтением, не прибегая к логическим доводам, убеждал в правильности своей мысли о том, что именно здесь, в «Филантропе» Некрасова (и других подобных некрасовских вещах), — исток традиции, питающей современную «поющуюся поэзию», несмотря на то, что сами её создатели, вероятно, весьма удивились бы, услышав об этом. Они, нынешние «поющие поэты», не ориентировали свои создания на Некрасова сознательно, тем убедительнее объективная их связь с великой литературной традицией, которая была впитана ими в детстве и сейчас живёт в них как некая внутренняя музыка...

Слово «музыка» в употреблении Корнея Ивановича явно имело не тот смысл, что у людей, слушавших пение поэта на нижнем этаже».

«Такая старинная научная песня... пожалуй, одна из немногих песен, — я в этом смысле должен похвастаться, — которая, так сказать, устарела, просто благодаря изменению политики цен. Называется она «Небольшое теоретическое размышление о том, как надо пить на троих, или Вальс Его Величества». (Фонограмма)

**ВАЛЬС ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА,
или Размышления о том,
как пить на троих**

Не квасом земля полита,
В каких ни пытай краях:
Поллитра — всегда поллитра
И сто́ит везде
Трояк!

Поменьше иль чуть побольше —
Копейки, какой рожон?!
А вот разделить по-Божьи —
Тут очень расчёт нужен!

Один — размечает тонко,
Другой — на глазок берёт,
И ежели кто без толка,
Всегда норовит —
Вперёд!

Оплаченный процент отпит,
И — Вася, гуляй, беда!
Но тот, кто имеет опыт,
Тот крайним стоит всегда.

Он — зная свою отметку —
Не пялит зазря лицо.
И выпьет он под конфетку,
А чаще — под сукнецо.

Но выпьет зато со вкусом,
Издаст подходящий стон,
И даже покажет знаком,
Что выпил со вкусом он!

И — первому — по затылку
Он двинет, шутя, пинка.
А после
Он сдаст бутылку
И примет ещё пивка.

И где-нибудь, среди досок,
Блаженный, приляжет он.
Поскольку —
Культурный досуг
Включает здоровый сон.

Он спит,
А над ним планеты —
Немеркнувший звёздный тир.
Он спит,
А его полпреды
Варганят войну и мир.

По всем уголкам планеты,
По миру, что сном объят,
Развозят Его газеты,
Где славу Ему трубят!

И грозную славу эту
Признали со всех сторон!
Он всех призовет к ответу,
Как только проспится Он!

Куется ему награда,
Готовит харчи Нарпит...
Не трожьте его!
Не надо!
Пускай человек поспит!..

<1966?>

«Эта песня была написана в то время, когда Семичастный ещё находился на своём посту, был всесилен. Это тот самый Семичастный, который обозвал, мерзавец, словом «свинья» Бориса Леонидовича Пастернака, тот самый Семичастный, который пытался оклеветать Александра Исаевича Солженицына.

Мне иногда говорят, зачем я в стихи и в песни вставляю фамилии, которые следовало бы забыть. Я не думаю, что их надо забывать, я думаю, что мы должны хорошо их помнить. Я недаром написал в одной из своих песен, песне «Памяти Пастернака»: «Мы поимённо вспомним всех». Мы должны помнить их. И кроме того, я твёрдо

верю в то, что стихи, песня могут обладать силой физической пощёчины...» (Из передачи на радио «Свобода» от 11 января 1975 года)

«Она написана в 1966 году, и дата написания этой песни имеет значение, чтобы, так сказать, не подумали, что я размахивал кулаками после драки...» (Фонограмма)

ПЕСНЯ ПРО НЕСЧАСТЛИВЫХ ВОЛШЕБНИКОВ, ИЛИ «ЭЙН, ЦВЕЙ, ДРЕЙ!»

Жили-были несчастливые волшебники,
И учёными считались, и спесивыми,
Только самые волшебные учебники
Не могли их научить, как быть счастливыми.
И какой бы ни пошли они дорогою —
Всё кончалось то бедою, то морокою!

Но когда маэстро Скрипочкин —
Ламца-дрица, оп-ца-ца! —
И давал маэстро Лампочкин
Синий свет из-за кулис, —
Выходили на просцениум
Два усатых молодца,
И восторженная публика
Им кричала: «Браво, бис!»

В никуда взлетали голуби,
Превращались карты в кубики,
Гасли свечи стеариновые —
Зажигались фонари!
Эйн, цвей, дрей!
И отрезанные головы
У желающих из публики,
Улыбаясь и подмигивая,

Говорили: «Раз, два, три!»,
Что в дословном переводе означает:
«Эйн, цвей, дрей!»

Ну а после, утомлённые до сизости,
Не в наклеенных усах и не в парадности,
Шли в кафе они куда-нибудь поблизости,
Чтоб на время позабыть про неприятности,
И заказывали ужин два волшебника —
Два стакана молока и два лапшевника.

А маэстро Балалаечкин —
Ламца-дрица, оп-ца-ца! —
И певица Доремикина
Что-то пела про луну!
И сидели очень грустные
Два усталых мудреца
И тихонечко, задумчиво
Говорили: «Ну и ну!»

А вокруг гудели парочки,
Пили водку и шампанское,
Пил маэстро Балалаечкин
Третью стопку на пари —
Эйн, цвей, дрей!
И швырял ударник палочки,
А волшебники, с опаскою
Наблюдая это зрелище,
Говорили: «Раз, два, три!»,
Что, как вам уже известно, означает:
«Эйн, цвей, дрей!»

Так и шли они по миру безучастному,
То проезжею дорогой, то обочиной...
Только тут меня позвали к Семичастному,
И осталась эта песня неоконченной.

Объяснили мне, как дважды два учебники,
Что волшебники — счастливые волшебники!

И не зря играет музыка —
Ламца-дрица, оп-ца-ца!
И не зря чины и звания —
Вроде ставки на кону,
И не надо бы, не надо бы
Ради красного словца
Сочинять, что не положено
И не нужно никому!

Я хотел бы стать волшебником,
Чтоб ко мне слетались голуби,
Чтоб от слов моих, таинственных,
Зажигались фонари —
Эйн, цвей, дрей!
Но, как пёс, гремя ошейником,
Я иду повесив голову
Не туда, куда мне хочется,
А туда, где:
— Ать — два — три!
Что ни капли не похоже
На волшебное:
«Эйн, цвей, дрей!»

<1966>

«...Женщинам одним в ресторан было входить запрещено. Им было запрещено одним ужинать, без сопровождения мужчин. Почему-то заранее руководители Нарпита подозревали этих женщин в каких-то дурных намерениях, и это в стране, где так много и часто говорят о женском равноправии, о том, что женщине открыты все пути, все дороги... Да, все дороги открыты — в тяжёлый, непосильный, изнурительный труд, но вот в ре-

сторан, оказывается, ей дорога закрыта, одна она войти туда не может...» (Из передачи на радио «Свобода» от 19 февраля 1977 года)

**БАЛЛАДА О ТОМ,
КАК ОДНА ПРИНЦЕССА
РАЗ В ДВА МЕСЯЦА ПРИХОДИЛА
ПОУЖИНАТЬ В РЕСТОРАН
«ДИНАМО»**

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна...

А. Блок

Кивал с эстрады ей трубач,
Сипел трубой, как в насморке.
Он и прозвал её, трепач,
Принцессой с Нижней Масловки.
Он подтянул, трепач, штаны
И выдал румбу с перчиком,
А ей, принцессе, хоть бы хны,
Едва качнула плечиком:
Мол, только пальцем поманю —
Слетятся сотни соколов...
И села, и прочла меню,
И выбрала — бефстроганов.

И все бухие пролетарии,
Все тунейдцы и жульё,
Как на комету в планетарии,
Глядели, суки, на неё...

Румба, та-да-ра-да-ра-да-ра-да,
Румба, та-да-ра-да-ра-да-ра!

Бабыё вокруг, издавши стон,
Пошло махать платочками,

Она ж, как леди Гамильтон,
Пила ситро глоточками.
Бабье вокруг — сплошной собес! —
Воздев, как пики, вилочки,
Рубают водку под супец,
Шампанское под килечки.
И, сталь коронок заголя,
Расправой бредят скорою:
Ах, эту б дочку короля
Шарахнуть бы «Авророю»!

И все бухие пролетарии,
Смирив идейные сердца,
Готовы к праведной баталии
И к штурму Зимнего дворца!

Румба, та-да-ра-да-ра-да-ра-да,
Румба, та-да-ра-да-ра-да-ра!

Душнеет в зале, как в метро,
От пергидрольных локонов.
Принцесса выпила ситро
И съела свой бефстроганов.
И вновь таращится бабье
На стать её картинную —
На узком пальце у неё
Кольцо за два с полтиною.
А время подлое течёт,
И, зал пройдя, как пасеку,
Шестёрка ей приносит счёт —
И всё, и крышка празднику!

А между тем пила и кушала,
Вложив всю душу в сей процесс,
Благополучнейшая шушера,
Не признающая принцесс.

Румба, та-да-ра-да-ра-да-ра-да,
Румба, та-да-ра-да-ра-да-ра!

...Держись, держись, держись, держись,
Крепись и чисти пёрышки!
Такая жизнь — плохая жизнь —
У современной Золушки.
Не ждёт на улице её
С каретой фея крёстная...
Жуёт бабье, сопит бабье,
Придумывает грозное!
А ей не царство на веку —
Посулы да побасенки,
А там — вались по холодку,
«Принцесса» с Нижней Масловки!

И вот она идёт меж столиков
В своём костюмчике джерси...
Ах, ей далёко до Сокольников,
Ах, ей не хватит на такси!

Румба, та-да-ра-да-ра-да-ра-да,
Румба, та-да-ра-да-ра-да-ра!

<1967?>

А. Галич

О ЖЕСТОКОСТИ И ДОБРОТЕ ИСКУССТВА

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой
пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил
я свободу
И милость к падшим призывал.

В этих великих пушкинских строках одновременно коротко и с исчерпывающей полнотой изложены задачи и назначение искусства. Это не только кон-

статация — это завет. Несмотря на то, что современный кинематограф — звуковой, цветной, широкоэкранный, широкоформатный — родился спустя сто лет после того, как были сказаны эти слова, в лучших образцах советского и мирового киноискусства этот пушкинский завет выполнялся свято и неукоснительно и находил своё вполне современное выражение. Но, к сожалению, за последние годы на наших экранах — в фильмах западных и фильмах советских — всё чаще и чаще стали появляться кадры и эпизоды, безнравственные в своей жестокости. Я имею в виду жестокость, смакование которой не продиктовано художественными задачами произведения (смакование жестокости вообще не может являться задачей), жестокость, которой щеголяют и которую гримируют под мужественность.

Когда Фёдор Михайлович Достоевский в «Преступлении и наказании» подробно описывает, как Раскольников убивает старуху-процентщицу, то и нужно ему это подробное описание для того — и для того только, — чтобы всем дальнейшим рассказом страстно восстать против выдуманного «сверхчеловеками» права лишать жизни других людей; чтобы с поразительным художественным контрастом показать жестокость обдуманного убийства и убийства случайного, вынужденного, когда Раскольников трусливо и жалко убивает пришедшую не вовремя Лизавету.

Когда Гойя в своих офортах «Бедствия войны» показывает нам убитых, растерзанных, повешенных, то видимая жестокость этих произведений — это страстный и гневный вопль художника против жестокости.

А вот, к примеру, военные рисунки Верещаги-

на — я не собираюсь сравнивать дарование двух этих художников, а говорю только о подходе к изображаемым явлениям, — так вот, некоторые военные рисунки Верещагина вызывают, честно говоря, чувство отвращения и брезгливости своим не то чтобы беспристрастием, а неким даже любопытством, обывательским любопытством к жестокости и страданиям.

Может ли искусство быть жестоким? Разумеется. Но только тогда, когда оно восстаёт против жестокости. Совсем недавно по экранам страны прошёл фильм «Неуловимые мстители», адресованный младшему поколению кинозрителей.

Всё хорошо в этом фильме до тех пор, пока героини-подростки помогают старшим в их борьбе за свободу и справедливость, когда они выступают в роли разведчиков и следопытов, устраивают комическую засаду на кладбище и отбивают у бандитов скот, угнанный у крестьян...

Но вот героини-подростки начинают убивать. И нам показывают это всё с той же увлечённой лихостью. Показывают с наивным и твёрдым убеждением, что эпизоды эти должны вызвать восхищение зрителей и явиться примером для подражания.

Что ж, на войне как на войне, и врагов приходится убивать. Но никакое убийство, никакая казнь — даже самая неизбежная и справедливая — не имеют права быть предметом восхищения и зрительской радости.

Нет, если не существует этого «гневного вопля Гойи», если нет отчаянья и страстного протеста Достоевского — я умышленно повторяю имена художников, которых принято именовать «жестокими», — то не только убийство человека человеком, но и все

раздавленные и растерзанные собаки, сбрасываемые с обрывов лошади и т. д. и т. п. — все эти кадры, в сущности, глубоко безнравственны и аморальны. Безнравственны, как всякая неправда, поскольку в художественном произведении любая деталь, не продиктованная абсолютной, единственной необходимостью, — неправда.

Безнравственна, впрочем, не одна жестокость. Перефразируемая известная шутка Маяковского «стремление сделать нам изящней» — раскрашенная, поющая и пляшущая пошлость, которую ежедневно, под руководством кинопроката, поглощают миллионы зрителей, — безнравственна и аморальна не менее, чем бессмысленная кокетничающая жестокость. Порой пошлость даже опаснее, потому что людям недостаточно грамотным эстетически и этически почти невозможно объяснить, почему отвратительны и безнравственны красивые и такие «демократические» страдания какой-нибудь королевы Шантеклера. Вообще говоря, следовало бы почаще вспоминать вполне не новую мысль, что не существует эстетического воздействия вне воздействия этического. Что же касается суммы доходов проката, то ведь никто, к великому сожалению, не пытался подсчитать сумму нравственных убытков.

У первобытных племён существовал обычай — охотники, вернувшись с удачной охоты, устраивали ритуальные танцы вокруг своего деревянного или глиняного божка, умащивали его благовониями и пели в его честь хвалебные гимны. Если же охота была неудачной — Бога сбрасывали на землю и топтали ногами.

Примерно так же, в ряде случаев, поступает кри-

тика со зрителем. Если мнение критика совпадает с мнением зрителей — начинают произноситься высокопарные слова: «о возросшем уровне», «о чутье и глубоком понимании», «о справедливости и высокой требовательности». Если же мнения критика и зрителей различны, то зрителей упрекают в отсталости, говорят «о нетребовательном вкусе некоторой отсталой части зрителей», хотя эта «часть» измеряется цифрой с шестью нулями. А всё дело в том, что зрителя не надо умищать благовониями. И топтать ногами тоже не надо. Зрителя надо воспитывать.

Гениальный артист Фёдор Иванович Шаляпин, человек, о котором Горький писал, что он «в русском искусстве эпоха, как Пушкин», рассказывал о том, как, осматривая вместе с Мамонтовым картины, выставленные на Всероссийской нижегородской выставке, он страшно восхитился какой-то ремесленной картиной, где были изображены молодой человек и девушка, сидящие в саду на скамейке. На вопрос Мамонтова, что ему в этой картине приглянулось, Шаляпин совершенно искренне и серьёзно ответил:

— Штаны, Савва Иванович! Очень хороши на этом молодце штаны, непременно себе такие же закажу!..

А вот картин Врубеля и Серова Шаляпин не понял, и они ему не понравились. И в своих воспоминаниях Шаляпин признаётся, что понадобились долгие годы общения с выдающимися деятелями культуры, прежде чем он понял и полюбил живопись Врубеля, Серова, Левитана. Годы потребовались гениальному Шаляпину — великому артисту, необычайно при этом одарённому художнику и скульптору!.. Понимать и воспринимать искусство — тоже в своём роде искусство. И ему надо учиться.

Так чем же всё-таки особенно дороги нам подлинно великие произведения кинематографа? Такие, как «Броненосец «Потёмкин» и «Чапаев», как «Похитители велосипедов» и «Восемь с половиной»? Вероятно, и прежде всего, как принято теперь говорить, «поток информации», но не просто информации, заключающей в себе некоторую определённую сумму сведений, а именно нравственной информации! Потому что, покидая зрительный зал, мы не только обогатились какими-то новыми впечатлениями, не просто больше узнали о людях и мире, нас окружающем, — мы стали добрее и человечнее!

Оттого-то и безнравственны фильмы жестокие и фильмы пошлые, что заложенная в них нравственная информация не то чтобы равна нулю, а просто-напросто отрицательна.

И тут мне снова хочется вернуться к строчкам, поставленным эпиграфом к этой статье. Давайте вспомним, чем полагал Пушкин остаться любезным народной памяти — тем, что возбуждал добрые чувства, прославлял свободу и призывал к милосердию.

И не смеет именовать себя художником тот, кто пробуждает чувства злые, прославляет рабство и призывает не к милосердию, а к мести.

«Цель оправдывает средства» — одно из самых подлых и безнравственных изречений, придуманных человеком. Кровью, обманом и предательством нельзя достичь возвышенной цели. И это в самом прямом смысле приложимо к искусству. Наилепшешая идея, выраженная средствами недостойными, не только теряет благородство, а превращается порою в свою противоположность. Когда мы говорим, что искусство требует жертв, то полуироничес-

кая эта фраза имеет вполне определённый реальный смысл.

Да, создание произведений искусства требует многих жертв от тех, кто эти произведения создаёт, — требует бессонных ночей, напряжения ума и воли, способности отказываться от найденного, бесконечных и мучительных поисков, поисков, поисков... Но не надо уподобляться Нерону, не надо ежедневно и ежечасно сжигать сотни тысяч маленьких Римов для того, чтобы потом всего-навсего спеть свою не слишком удачную песню.

(Не опубликованная тогда статья для газеты «Советская культура», 1967 год)

ВЕК НЫНЕШНИЙ И ВЕК МИНУВШИЙ

Понимая, что нет в оправданиях смысла,
Что бесчестье кромешно и выхода нет,
Наши предки писали предсмертные письма,
А потом, помолившись:

«Во веки и присно...» —

Запирались на ключ — и к виску пистолет.

А нам и честь, и чох, и чёрт —

Неведомые области!

А нам — признание и почёт

За верность общей подлости!

А мы баюкаем внучат

И ходим на собрания,

И голоса у нас звучат

Всё чище и сопраннее!..

<1967?>

ПЕСНЯ О ПОСЛЕДНЕЙ ПРАВОТЕ

Ю. О. Домбровскому

Подстилала удача соломки,
Охранять обещала и впредь,
Только есть на земле Миссалонги,
Где достанется мне умереть.

Где, уже не пижон и не барин,
Ошалев от дорог и карет,
Я от тысячи истин, как Байрон,
Вдруг поверю, что истины нет!

Будет серый и скверный денёчек,
Небо с морем сольются в одно.

И приятель мой, плут и доносчик,
Подольёт мне отраву в вино.

Упадёт на колени тетрадка,
И глаза мне затянет слюда.
Я скажу: «У меня лихорадка,
Для чего я приехал сюда?!»

И о том, что не в истине дело,
Я в последней пойму дурноте,
Я — мечтавший и ночью и денно
О несносной своей правоте!

А приятель, всплакнув для порядка,
Перейдёт на возвышенный слог
И запишет в дневник: «Лихорадка.
Он был прав. Да простит его Бог!»

<1967?>

«...Слово «шибер» — это такое старое, по-моему, слово, сейчас оно уже почти не произносится, кроме как в лагере. Шибером называется спекулянт — севший за спекуляцию». (Фонограмма)

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ

Не хочу посмертных антраша,
Никаких красотостей не выберу.
Пусть моя нетленная душа
Подлецу достанется и шиберу!

Пусть он, сволочь, врёт и предаёт,
Пусть он ходит, ворон, в перьях сокола.
Все на свете пули — в недалёт,
Все невзгоды — не к нему, а около!

Хорошо ему у пирога,
Всё полно приязни и приятельства —
И номенклатурные блага,
И номенклатурные предательства!

С каждым днём любезнее житьё...
Но в минуту самую внезапную
Пусть ему — отчаянье моё
Сдавित сучье горло чёрной лапою!

<1967?>

ЧЕРНОВИК ЭПИТАФИИ

Худо было мне, люди, худо...
Но едва лишь начну про это,
Люди спрашивают: откуда?
Где подслушано? Кем напето?
Дуралеи спешат смеяться,
Чистоплюи воротят морду...

Как легко мне было сломаться,
И сорваться, и спиться к чёрту!

Не моя это вроде боль,
Так чего ж я кидаюсь в бой?
А вела меня в бой судьба,
Как солдата ведёт труба:

Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та,
Тра-та-та!

Сколько раз на меня стучали,
И дивились, что я на воле...
Ну, а если б я гнил в Сучане,
Вам бы легче дышалось, что ли?
И яснее б вам, что ли, было,
Где — по совести, а где — кроме?
И зачем я, как сторож в б́ило,
Сам в себя колочу до крови?!

И какая, к чертям, судьба?
И какая, к чертям, труба?
Мне б частушкой по струнам влёт,
Да гитара, как видно, врёт:

Трень да брень, трень да брень,
трень да брень,
Трень да брень!

А хотелось-то мне в дорогу,
Налегке, при попутном ветре...
Я бы пил молоко, ей-Богу,
Я б в лесу ночевал, поверьте!
И шагал бы, как вольный цы́ган,
Никого бы нигде не трогал,
Я б во Пскове по-птичьи цыкал
И округло б на Волге окал,

Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поёт!

Канареечка, канарейка,
Птица малая, вроде мухи.
А кому судьба — карамелька,
А кому она — одни муки.

Не в Сарапуле и не в Жиздре —
Жил в Москве я, в столице мира,
А что видел я в этой жизни,
Окромя верёвки да мыла?

Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поёт!

Ну, сносил я полсотни тапок,
Был загубленным, был спасённым...
А мне, глупому, лучше б в табор,
Лошадей воровать по сёлам.

Прохиндей, шарлатан, провидец —
И в весёлый час под забором
Я на головы всех правительств
Положил бы тогда с прибором!

Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поёт!

<1967?>

АБСОЛЮТНО ЕРУНДОВАЯ ПЕСНЯ

Собаки бывают дуры
И кошки бывают дуры,
Но дуროсть не отражается
На стройности их фигуры.

Не в глупости и не в дикости —
Всё дело в статьях и в прикусе.
Кто стройные — те достойные,
А прочие — на-ка, выкуси!

И важничая, как в опере,
Шагают суки и кóбели,
Позвякивают медальками,
Которыми их сподобили.

Шагают с осанкой гордою,
К любому случаю годною,
Посматривают презрительно
На тех, кто не вышел мордою.

Рождённым медаленосителями
Не быть никогда просителями,
Самой судьбой им назначено
В собачьем сидеть президиуме.

Собаки бывают дуры
И кошки бывают дуры,
И им по этой причине
Нельзя без номенклатуры.

<1967?>

Михаил Крыжановский, собиратель авторской песни:

«В 1967-м, когда познакомился с Галичем, мне было 25, ему — 49. Проводился Всесоюзный поход молодёжи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. В жюри — Михаил Танич, Ян Френкель, Александр Галич и... я, так как обеспечивал конкурс технически. Как-то после обсуждения Александр Аркадьевич взял в руки гитару и сказал:

— Ну хорошо. А теперь я сам вам спою.

Понимая, что нет в оправданиях смысла,
Что бесчестье кромешно и выхода нет,
Наши предки писали предсмертные письма,
А потом, помолившись:

«Во веки и присно...» —

Запирались на ключ — и к виску пистолет!..

Да уж, не походили эти песни на нашу «блатную» романтику и «сопливую» лирику! Тогда я будто остановился: что же происходит вокруг? Во всём конкурсе с его парадной шумихой было куда меньше истинного патриотизма, чем в одной песне Галича. И я понял, что без боли нет любви. А значит, нет и того, что называют патриотизмом».

**Из выступлений на Всесоюзной конференции
по проблемам авторской (самодетальной) песни.
Петушки, 21 мая 1967 года.**

Владимир Фрумкин, музыковед:

«Разве можно забывать о том, что песня — это синтетическое произведение искусства, она действует необычайно тонко на разные стороны психики, и музыка играет в ней хоть и подчинённую, но далеко не последнюю роль.

Вот пример с песнями Александра Аркадьевича. Я вчера и переживал их, а потом ещё и проанализировал. Ведь хотя это, казалось бы, чистейшая поэзия, но это всё-таки песня. Возьмите песни Галича, просто отпечатанные на машинке, не зная даже, что к ним сочинена мелодия, вы сразу обнаружите их музыкальность, которая присуща им при самом зачатии этого произведения. Вот один из признаков музыкальности, песенности этой поэзии, — начиная, насколько я знаю, с «Парамоновой» гуляет по вашим песням рефренчик, присказочка, со словами, а иногда и без слов, и вчера это было почти в каждой песне. Вот так вот поис-

тине песенно льются стихи Галича, несмотря на всю интеллектуальную остроту, горечь, сарказм. Интеллектуальность в лучшем смысле слова, которая им присуща.

Так вот, я ратую, призываю всех, кто здесь есть, — и авторов, и особенно исследователей: давайте братья за комплексный подход к песне».

Александр Галич:

«..Я думаю, что мы немножко углубились в дебри догматических споров... Так, чтобы вас повеселить, я вам расскажу историю... о вреде догматизма.

Один старый человек, еврей из какого-то маленького местечка, приехал в Москву. У него был один день — наутро ему нужно было уезжать. И он сделал массу покупок. Но он очень хотел непременно попасть в Большой театр. Он действительно, уже взмыленный, с покупками в руках, подскочил к Большому театру. Там была премьера, но ему удалось достать билет на эту самую премьеру, даже хороший билет — во втором ряду. И во втором ряду он оказался рядом с прекрасным, надушенным, пахнущим каким-то французским одеколоном стариком с холёной бородкой. Это был Немирович-Данченко. И он, сидя с ним, начал смотреть спектакль. Это был балет «Пламя Парижа». Старик долго мучился, потом наклонился к Немировичу и сказал: «Слушайте, папаша, когда же будут петь?» И Немирович, поглаживая свою холёную бородку, сказал: «Голубчик, это — балет, здесь не поют». И в этот момент на сцене запели «Ça ira» — поскольку в «Пламени Парижа» тогда пели. Тогда старик наклонился к Немировичу и сказал: «Что, папаша, тоже первый раз в театре?» Понимаете, можно петь и в балете. Давайте не будем догматиками!»

«...Когда я жил в городе со стороны Репино и началась Шестидневная война, у меня испортился радиоприёмник... я слушал только радиоточку... Там исключительно всё наступали наши родные египетско-сирийские войска, и я, значит, просто так очень сокрушался. Не потому, что я такой сионист, но всё-таки было неприятно... Маленькая страна, на неё нападают, значит, двадцать восемь стран. Вот. Потом на шестые сутки я решил поехать в Ленинград, купил батарейки для приёмника, приехал, выяснилось, что там капитуляция... А я уж за это время сочинил песню. Вот песня, сочинённая по ошибке. Когда я был в ИФЛИ, который я, правда, не кончал, но, так сказать, я учился в параллельном институте и все мои друзья были ифлийцами, был такой Арон Копштейн, был такой поэт, который погиб в Финскую войну, и был Павлик Коган, который погиб в первые дни Великой Отечественной войны. Итак, называется «Песня, написанная по ошибке, или Плач по неубитым»». (Фонограмма 1974 года)

РЕКВИЕМ ПО НЕУБИТЫМ

Шесть с половиной миллионов...
Шесть с половиной миллионов...
Шесть с половиной миллионов!..

Шесть с половиной миллионов —
А надо бы ровно десять!
Любителей круглого счёта
Должна порадовать весть,
Что жалкий этот остаток
Сжечь, расстрелять, повесить
Вовсе не так уж трудно,
И опыт, к тому же, есть!

Такая над миром темень...
Такая над миром темень...
Такая над миром темень!..

Такая над миром темень —
Глаз ненароком выколешь!
Каждый случайный выстрел
Несметной грозит бедой.
Так что же тебе неймётся,
Красавчик, фашистский выкормыш,
Увенчанный нашим орденом
И Золотой Звездой?!

Должно быть, тобой заслужено...
Должно быть, тобой заслужено...
Должно быть, тобой заслужено!..

Должно быть, тобой заслужено —
По совести и по чести!
На праведную награду
К чему набрасывать тень?!
Должно быть, с Павликом Коганом
Бежал ты в атаку вместе,
И рядом с тобой под Выборгом
Убит был Арон Копштейн!

Тоненькой струйкой дыма...
Тоненькой струйкой дыма...
Тоненькой струйкой дыма!..

Тоненькой струйкой дыма
В небо уходит Ева,
Падает на апельплаце
Забитый насмерть Адам!
И ты по ночам, должно быть,
Кричишь от тоски и гнева, —
Носи же свою награду
За всех, кто остался там!

Голос добра и чести...
Голос добра и чести...
Голос добра и чести!..

Голос добра и чести
В разумный наш век — бесплоден!
Но мы вознесём молитву
До самых седьмых небес!
Валяйте — детей и женщин!
Не трогайте Гроб Господень!
Кровь не дороже нефти,
А нефть нужна позарез!

Во имя Отца и Сына...
Во имя Отца и Сына...
Во имя Отца и Сына!..

Во имя Отца и Сына
Мы к ночи помянем чёрта, —
Идут по Синаю танки,
И в чёрной крови пески!
Три с половиной миллиона
Осталось до круглого счёта!
Это не так уж много —
Сущие пустяки!

<1967>

*«Ну и вот «Литераторские мостки». Значит, первая
песня без названия. Песня-вступление». (Фонограмма)*

* * *

Р. Бенъаш

Вот пришли и ко мне седины.
Распеваётся вороньё!
«Не судите, да не судимы...» —
Заклинает меня враньё.

Ах, забвенья глоток студёный,
Ты охотно напомнишь мне,

Как роскошный герой Будённый
На роскошном скакал коне.

Так давайте ж, друзья, утроим
Наших сил золотой запас!
«Нас не трогай, и мы не тронем...» —
Это пели мы, и не раз!..

«Не судите!»
Смирней, чем Авель,
Падай в ноги за хлеб и кров...
Ну, писал там какой-то Бабель,
И не стало его — делов!

«Не судите!»
И нет мерила,
Всё дозволено, кроме слов...
Ну, какая-то там Марина
Захлебнулась в петле — делов!

«Не судите!»
Малюйте зори,
Забивайте своих «козлов»...
Ну, какой-то там чайник в зоне
Всё о Федре кричал — делов!

«Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном, многоярусном театре...»
...Он не увидит знаменитой «Федры»
В старинном, многоярусном театре!

Пребывая в туманной чёрности,
Обращаюсь с мольбой к историку:
От великой своей учёности
Удели мне хотя бы толику!

Я ж пути не ищу раскольного,
Я готов шагать по законному!

Успокой меня, беспокойного,
Растолкуй ты мне, бестолковому!

Если правда у нас на знамени,
Если смертной гордимся годностью, —
Так чего ж мы в испуге замерли
Перед ложью и перед подлостью?

А историк мне отвечает:
«Я другой такой страны не знаю...»

Будьте ж счастливы, голосуйте,
Маршируйте к плечу плечом!
Те, кто выбраны, те и судьи.
Посторонним вход воспрещен!

Ах, как быстро, несусветимы,
Дни пошли нам виски сидеть...
«Не судите, да не судимы...»
Так вот, значит, и не судить?!

Так вот, значит, и спать спокойно?
Опускать пятаки в метро?
А судить и рядить — на кой нам?!
«Нас не трогай, и мы не тро...»

Нет! Презренна по самой сути
Эта формула бытия!
Те, кто выбраны, те и судьи?
Я не выбран. Но я — судья!

<1967?>

Эдуард Кандель:

«Это было в октябре 1967 года — примерно за две-три недели до очень торжественного празднования 50-летия Октября. Саша позвонил мне рано утром, что было весьма необычно, и сказал, что хочет срочно со

мною поговорить. Через час мы с ним встретились. Было видно, что Саша чем-то очень взволнован. Во время прогулки по Красноармейской улице он рассказал мне, что вчера вечером у него был некий человек, которого к нему послал из Ленинграда Георгий Александрович Товстоногов. Он просил передать Саше, что накануне праздника его посадят. Сегодня это показалось бы чем-то диким и невероятным, но, как я прекрасно помню, у Саши, да и у меня, не возникло сомнений в реальности такой угрозы. Было также ясно, что такой человек, как Товстоногов, как говорится, зря не скажет. «Выход один, — сказал Саша, — положи меня к себе в клинику». Это, как мы оба прекрасно понимали, никакой не выход. И тем не менее арестовать больного человека в клинике... Ведь всё же не 37-й...

Для меня это было тоже не простой проблемой. В клинику мы принимаем больных только для операций на головном и спинном мозге. И всё же «официальная» причина для госпитализации Галича была. Он страдал приступами особой формой мигрени, связанной с одной из артерий под кожей головы. Короче говоря, Саша провёл в клинике полтора месяца. Прошли праздники, и мы облегчённо вздохнули. Я делал ему блокады каждые несколько дней. Подлечили его больное сердце. Это было хорошее время — мы виделись и разговаривали каждый день. Когда Саша выписывался, он вручил мне стихи, в которых были такие строчки: «Доктор Кандель и другие! Нет добра без худа... Ваша нейрохирургия — это ж просто чудо! Был я счастлив здесь, не смейтесь, тих и счастлив разом!..»

«Это одна из историй другого персонажа, который тоже, вероятно, будет продолжаться. Разные сочинения про его судьбу, Егора Петровича Мальцева». (Фонограмма)

«Вот ещё тоже одна научно-фантастическая песня, но уже, так сказать, несколько пародийного характера.»

Посвящается она почему-то памяти Даниила Хармса, которым я последнее время очень увлекаюсь». (Фонограмма)

БАЛЛАДА О СОЗНАТЕЛЬНОСТИ

Э. Канделю

Егор Петрович Мальцев
Хворает, и всерьёз:
Уходит жизнь из пальцев,
Уходит из желёз,

Из прочих членов тоже
Уходит жизнь его,
И вскорости, похоже,
Не будет ничего.

Когда нагрянет свора
Савёловских родных,
То что же от Егора
Останется для них?

Останется пальтишко,
Подушка, чтобы спать,
И книжка, и сберкнижка
На девять двадцать пять.

И таз, и две кастрюли,
И рваный подписной,
Просроченный в июле
Единый проездной.

И всё. И нет Егора!
Был человек — и нет!
И мы об этом скоро
Узнаем из газет.

Пьют газировку дети
И пончики едят,
Ему ж при диабете —
Всё это чистый яд!

Вот спит Егор в постели,
Почти что невесом,
И дышит еле-еле,
И смотрит дивный сон:

В большом красивом зале,
Резону вопреки,
Лежит Егор, а сзади
Знамёна и венки.

И алым светом залит
Большой его портрет,
Но сам Егор не знает,
Живой он или нет.

Он смаргивает мошек,
Как смаргивал живой,
Но он вращать не может
При этом головой.

И дух по залу спёртый,
Как в общей душевой,
И он скорее мёртвый,
Чем всё-таки живой.

Но хором над Егором
Краснознамённый хор
Краснознамённым хором
Поёт: «Вставай, Егор!

Вставай, Егор Петрович,
Во всю свою длину,

Давай, Егор Петрович,
Не подводи страну!

Центральная газета
Оповестила свет,
Что больше диабета
В стране Советской нет!

Пойми, что с этим, кореш,
Нельзя озорничать,
Пойми, что ты позоришь
Родимую печать!

Вставай, Егор Петрович,
Во всю свою длину,
Давай, вставай, Петрович,
Загладь свою вину!»

И сел товарищ Мальцев,
Услышав эту речь,
И жизнь его из пальцев
Не стала больше течь.

Егор трусы стирает,
Он койку застелил,
И тает, тает, тает
В крови холестерина...

По площади по Трубной
Идёт он, милый друг,
И всё ему доступно,
Что видит он вокруг!

Доступно кушать сласти
И газировку пить...
Лишь при Советской власти
Такое может быть!

<1967>

ЖЕЛАНИЕ СЛАВЫ

...Что там услышишь из песен твоих?
Чудь начудила, да Меря намерила
Гатей, дорог, да столбов верстовых.

А. Блок

Непричастный к искусству,
Не допущенный в храм, —
Я пою под закуску
И две тысячи грамм.
Что мне пениться пеной
У беды на краю?
Вы налейте по первой,
А уж я вам спою!
А уж я позабавлю —
Вспомню Мерю и Чудь,
И стыда ни на каплю,
Мне не стыдно ничуть!
Спину вялую сгорбя,
Я ж не просто хулу,
А гражданские скорби
Сервирую к столу!

— Как живёте, караси?
— Хорошо живём, мерси!

...Заходите, люди добрые!
(Боже правый, помоги!)
Будут песни, будут сдобные,
Будут с мясом пироги!
Сливы-ягоды солёные,
Выручайте во хмелю...
Вон у той — глаза зелёные,
Я зелёные люблю!
Я шарاخну рюмку первую,
Про запас ещё налью,

Песню новую, непетую
Для почина пропою:

«Справа койка у стены, слева койка,
Ходим вместе через день облучаться...
Вертухай и бывший «номер такой-то», —
Вот где снова довелось повстречаться!
Мы гуляем по больничному садику,
Я курю, а он стоит на атасе,
Заливаем врачу-волосатику,
Что здоровье — хоть с горки катайся!
Погуляем полчаса с вертухаем,
Притомимся — и стоим, отдыхаем.
Точно так же мы «гуляли» с ним в Вятке,
И здоровье было тоже в порядке!
Справа койка у стены, слева койка...»

Опоздавшие гости
Прерывают куплет.
Их вбивают, как гвозди,
Ибо мест уже нет.
Мы их лиц не запомним,
Мы как будто вдвоём,
Мы по новой наполним
И в охотку допьём.
Ах, в мундире картошка,
Разлюбезная Русь!
И стыжусь я... немножко,
А верней — не стыжусь!
Мне, как гордое право,
Эта горькая роль, —
Эта лёгкая слава
И привычная боль!

— Как жуёте, караси?
— Хорошо жуём, мерси!

Колокольчики-бубенчики,
Пьяной дурусти хамёж!
Где истцы, а где ответчики —
Нынче сразу не поймёшь.
Все подряд истцами кажутся,
Всех карал единый Бог,
Все одной зелёной мажутся —
Кто от пуль, а кто от блох...
Ладно, пейте, рюмки чистые,
Помолчите только впредь.
Тише, черти голосистые!
Дайте ж, дьяволы, допеть:

«Справа койка у стены, слева койка,
А за окнами февральская вьюга.
Вертухай и бывший «номер такой-то» —
Нам теперь неважно друг без друга.
И толкуем мы о разном и ясном —
О больнице и больничном начальстве,
Отдаём предпочтение язвам,
Помереть хотим в одночасье.
Мы на пенсии теперь, на покое,
Наши койки, как суда на приколе,
А под ними на паркете из липы —
Наши тапочки, как дохлые рыбы.
Спит больница, тишина, всё в порядке...
И сказал он, приподнявшись на локте:
— Жаль я, сука, не добил тебя в Вятке,
Больно ловки вы, зэка, больно ловки...
И упал он, и забулькал, заойкал,
И не стало вертухая, не стало...

И поплыла вертухаева койка
В те моря, где ни конца, ни начала.
Я простынкой вертухая накрою...
Всё снежок идёт, снежок над Москвою,
И сынок мой по тому ль по снежочку
Провожает вертухаеву дочку...»

...Голос глохнет, как в вате,
Только струны бренчат.
Все — приличия ради —
С полминуты молчат.
А потом, под огурчик
Пропустив стопаря:
— Да уж, песня — в ажурчик,
Приглашали не зря!
— Да уж, песенка в точку,
Не забыть бы стишок —
Как он эту вот — дочку
Волокёт на снежок!..

Незнакомые рожи
Мокнут в пьяной тоске...
И стыжусь я до дрожи,
И желвак на виске!..

— Как стучите, караси?
— Хорошо стучим, мерси!

...Всё плывет и всё качается.
Добрый вечер! Добрый день!
Вот какая получается,
Извините, дребедень.
«Получайник», «получайница», —
Больно много карасей!

Вот какая получается,
Извините, карусель.

Я сижу, гитарой тренькаю.
Хохот, грохот, гогот, звон...
И сосед-стукач за стенкою
Прячет в стол магнитофон.

<1967?>

ПЕСНЯ О КОНЦЕРТЕ, НА КОТОРОМ Я НЕ БЫЛ

З. М.

Я замучил себя.
И тебя я замучаю.
И не будет — потом — Новодевичьей
гордости.
Всё друзьям на потеху, от случая к случаю,
В ожидании благ и в предчувствии горести.
И врага у нас нет.
И не ищем союзника.
У житейских невзгод — ни размеров,
ни мощности.
Но, как птичий полёт, начинается музыка
Ощущением внезапного чуда возможности!
Значит — можно!
И это ничуть не придумано,
Это просто вернулось из детства,
из прошлости.
И не надо Равеля... А Шумана, Шумана, —
Чтоб не сметь отличить гениальность
от пошлости!

Значит — можно — в полёт — по листве
и по наледи,
Только ветра глотнули — и вот уже начато!
И плевать, что актёров не вызовут
на́ люди, —
Эта сцена всегда исполняется начерно!..
Что с того нам, что век в непотребностях
множится?!
Вот шагнул он к роялю походкою узника,
И теплеет в руке мандаринная кожица.
И теперь я молчу.
Начинается музыка!

15 ноября 1967

* * *

Вот он скачет, витязь удалой,
С чудищем стоголавым силой меряясь,
И плевать на ту, что эту перевязь
Штопала заботливой иглой.

Мы не пели славы палачам,
Удержались, выдержали, выжили...
Но тихонько, чтобы мы не слышали,
Жёны наши плачут по ночам.

<1967?>

ЧЕХАРДА С БУКВАМИ

В Петрограде, в Петербурге,
В Ленинграде, на Неве,
В Колокольном переулке
Жили-были А, И, Б.

А — служило,
Б — служило,
И — играло на трубе.
И играло на трубе,
Говорят, что так себе,
Но его любили очень
И ценили А и Б.

Как-то в вечер беспокойный
Тяжко пенилась река,

И явились в Колокольный
Три сотрудника ЧК.
А — забрали,
Б — забрали,
И — не тронули пока.
Через год домой к себе
Возвратились А и Б,
И по случаю такому
И играло на трубе.

Но прошёл слушок окольный,
Что, мол, снова быть беде,
И явились в Колокольный
Трое из НКВД.
А — забрали,
Б — забрали,
И — забрали и т. д.
Через десять лет зимой
А и Б пришли домой,
И домой вернулось тоже.
Все сказали: «Боже мой!»

Пару лет в покое шатком
Проживали А, И, Б,
Но явились трое в штатском
На машине КГБ.

А, И, Б они забрали,
Обозвали всех на «б».
А — пропало навсегда,
Б — пропало навсегда,
И — пропало навсегда,
Навсегда и без следа!

Вот у этих букв какая
Вышла в жизни чехарда!

<1968?>

**БАЛЛАДА О ТОМ,
КАК ЕДВА НЕ СОШЁЛ С УМА
ДИРЕКТОР АНТИКВАРНОГО
МАГАЗИНА № 22 КОПЫЛОВ Н. А.,
РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ
ДОКТОРУ БЕЛЕНЬКОМУ Я. И.**

...Допекла меня всё же Тонечка,
Гарнитур купил ей ореховый!
Я ж не брал сперва — ни вот столечка!
А уж как начал, так поехало!
Как пошла молоть прорва адова —
Где по сотенке, где по камушку,
Намолола мне дачку в Кратове,
Намолола мне «Волгу»-матушку!
Деньги-денежки, деньги-катыши,
Вы и слуги нам, и начальники...
А у нас товар деликатнейший —
Не стандарт какой — чашки-чайники!

Чашки-чайники, фрукты-овощи!
Там кто хошь возьмёт, хоть беспомощный!
Хоть беспомощный!

А у нас товар — на любителя:
Павлы разные да Людовики.
А любителю — чем побитее,
Самый смак ему, что не новенький!
И ни-ни, чтобы по недомыслию
Спутать Францию или Швецию...
А недавно к нам на комиссию
Принесло одну старушенцию.
И в руках у ней — не хрусталина,
Не фарфоровые бомбончики,
А пластиночки с речью Сталина,
Ровно десять штук — и все в альбомчике.

А я стреляный, а я с опытом!
А я враз понял — пропал пропадом!
Пропал пропадом!

Тем речам цена — ровно тридцать «рэ»!
(И принёс же чёрт сучку-пташечку!)
Ну, какой мне смысл на такой муре
Наблюдать посла небо в шашечку?!
Вот и вникните в данный факт, друзья
(На добре ж сижу, не на ветоши!):
Мне и взять нельзя, и не взять нельзя —
То ли гений он, а то ли нет ещё?!
Тут и в прессе есть расхождения,
И вообще идут толки разные...
Вот и вникните в положение
Исключительно безобразное!

Они спорят там, они ссорятся!
Ну а я решай, а мне — бессонница!
Мне бессонница!

Я матком в душе, а сам с улыбочкой,
Выбираю слова приличные:
За альбомчик, мол, вам — спасибочко!
Мол, беру его — за наличные!
И даю я ей свои кровные,
Продавцы вокруг удивляются:
Они, может быть, деньги скромные,
Но ведь тоже зря не валяются!
И верчусь весь день, как на вертеле,
Ой, туманится небо светлое!
И хоть верьте мне, хоть не верьте мне,
А началось тут несусветное.

А я стреляный! А я с опытом!
А я враз понял — пропал пропадом!
Пропал пропадом!

Или бабку ту сам засёк народ,
Или стукнулось со знакомыми, —
Но с утра ко мне в три хвоста черёд —
Все с пластинками, все с альбомами!
И растёт, растёт гора цельная,
И наличность вся в угасании!
Указание б чьё-то ценное!
Так ведь нет его, указания!
В пух и прах пошла дачка в Кратове,
«Волга»-матушка — моё детище!
И гвоздит мне мозг многократное —
То ли гений он, а то ли нет ещё?!

«Я маленькая девочка — танцую и пою,
Я Сталина не видела, но я его люблю!»

А я стреляный, а я с опытом!
А я враз понял — пропал пропадом!
Пропал пропадом!

...Но доктор Беленький Я. И. не признал Копылова Н. А. душевнобольным и не дал ему направления в психиатрическую клинику...

<1968>

Из выступлений А. Галича в дискуссиях на Новосибирском фестивале, 11 марта 1968 года:

«Кто я такой? Я ещё с конца войны профессиональный писатель. Я написал довольно много пьес, поставленных и в театрах Советского Союза, и за рубежом. По моим сценариям поставлено девять полнометражных фильмов, прошедших не только в Советском Союзе, но и во многих странах мира. Некоторые из них были награждены международными премиями, в частности, один фильм был награждён международной премией именно за сценарий. Речь идёт о картине, снятой режиссёром Калатозовым, «Верные друзья». Это такая старая комедия, где играют Чирков, Меркурьев и Борисов. Говорю я это вовсе не для того, чтобы, так сказать, сейчас перед вами отвечать на анкетные вопросы или рассказывать, какой у меня славный путь за плечами. Во все не в этом дело. Дело в том, что для меня работа в жанре песни — вот та работа, обсуждением которой мы сейчас занимаемся, — это есть прежде всего продолжение моей профессиональной литературной, писательской деятельности. И только так, как абсолютно профессиональную, абсолютно естественную и необходимую для себя деятельность я это и рассматриваю.

Есть старая поговорка о том, что всякое новое — это хорошо забытое старое. Ну, действительно, в общем, явление-то это не такое уж новое. Оно существовало во все века и существует во многих странах. И ничего мы тут

особенного не открыли. Причём всегда существовали поэты, не расстающиеся с гитарой. Федерико Гарсиа Лорка, скажем, назывался своими друзьями «поэтом догутенберговской эпохи», потому что не любил печатных изданий — он считал, что как поэт должен выступать с гитарой и петь свои песни. Примерно половину своей жизни отдал этому делу Бертольд Брехт, который нам с вами известен в основном как драматург, а, скажем, в Германии, во Франции, в Англии он — даже больше, чем драматург, — был известен как поэт, выступающий с гитарой, поэт-сатирик. Карл Сендер... Примеров вокруг нас огромное количество. Кроме того, всегда в этом жанре существовали люди, которые своим исполнительством приобретали права авторства. Помните знаменитую фразу у Бориса Леонидовича Пастернака, где могло «сквозь исполнение авторство процветать»? Вот я, например, считаю, что целый ряд уже виденных вами здесь исполнителей, скажем, такие, как Чесноков, они где-то очень близки к этому уровню, когда сквозь исполнительство процветает авторство. Мы говорим «песни Пиаф», мы говорим «песни Шарля Азнавура», мы говорим «песни Ива Монтана» — потому что это те исполнители, которые становятся соавторами автора слова и автора музыки. И также рядом с ними существуют поэты, для которых это есть профессиональная деятельность, это то, чему отдана их жизнь, и во всяком случае, это продолжение их литературного и гражданского дела.

...Мне было очень странно читать дискуссию, напечатанную в «Вопросах литературы», в которой в основном прозвучали жалобные ноты о смерти, так сказать, об умирании песни. Мне кажется, и я убеждён, что песня сейчас переживает не умирание, а наоборот — она приобрела некое совершенно иное, очень самостоятельное и своеобразное качество. Я понимаю, что, скажем, выступление Зонова могло вызвать некоторые недовольные реплики, но даже это явление — необходимость, что ли, запеть своими словами, — оно ведь чрезвычайно харак-



А. Галич. Новосибирский Академгородок, сцена Дома учёных.
9 марта 1968 г. Фото В. Давыдова.

терно. Можно представить себе так: что ж, в тридцатые годы не было, что ль, геологов? Туристов не было? Альпинистов не было? Были! И сочиняли песни. Но вместе с тем часто прекрасно обходились — между прочим, значительно спокойнее обходились песнями, сочинёнными для них. То есть теми же самыми песнями, которые пелись вокруг них по всей стране. Мне кажется, сейчас возникла песня как наиболее мобильная и быстро откликающаяся на события, что ли, форма. Она сейчас вышла на передний край. Я вовсе не склонен здесь рассматривать положение пессимистически.

Почему я говорил о себе как о драматурге? Потому что мои песни — это, как правило, всё-таки маленькие истории. Это одноактные, если хотите, драмы. Вот, скажем, «Песня о кассирше». В общем, это кинофильм. «Баллада о прибавочной стоимости» — это сатирическая комедия. Недаром ко мне обратился Московский театр сатиры с предложением по мотивам «Баллады о прибавочной стоимости» написать просто целую пьесу с песнями, с зонгами, как это делается в таких жанрах.

Причём я вот, например, действительно занимаюсь главным образом публицистикой и сатирой. Для меня интересно в данном случае просто с точки зрения литературной определить границы, возможности словесной нагрузки в ткани произведения. Я говорю здесь о технической задаче, но есть задачи, конечно, значительно более важные — задачи гражданские. В общем, сатира всегда является одной из передовых, что ли, сторон гражданственности.

Кроме того... (На эту тему уже приходилось как-то раз говорить.) Я не помню точно, в какой стране, и не помню точно, в каком городе, и не помню точно, в каком веке, — кажется, в Италии, кажется, в Ровенне, кажется, в очень давние средние века, — несправедливо засудили одного мельника. Его казнили. После казни выяснилось, что он был осуждён несправедливо. И с тех пор каждое заседание городского суда в продолжение многих столетий начинается фразой глашатая: «Помни о мель-

нике!» Мне кажется, что, когда мы напоминаем о мельнике, мы вовсе не травмируем наше сознание, а мы укрепляем нашу ответственность и наше негодование по отношению к беззакониям для того, чтобы они никогда больше не повторились. Поэтому это направление в своей поэзии я тоже считаю достаточно важным и нужным. И вероятно, оно наиболее близко мне просто как представителю старшего поколения, потому что естественно, что товарищам, которые намного моложе меня, просто труднее об этом говорить — они родились после этого. А я, как очевидец, обязан свидетельствовать.

— Как долго вы работаете над песнями?

— Иногда очень долго. Особенно над жанровыми. Самые трудоёмкие вещи — это жанровые. Потому что происходит отбор по языку... Иногда полгода, семь, восемь месяцев. Скажем, «Прибавочную стоимость» я бросил на середине, потому что сам не знал, чем она кончится, и никак не мог найти решение. Бросил и вернулся к ней примерно через полгода и тогда написал. «Парамонову» писал месяцев пять, наверное, шесть.

— А музыка, интересно, как пишется?

— Музыка, к сожалению, у меня получается так. Либо сразу возникает вот такая напевка, что ли, ритмическая, либо вообще не возникает. И тогда уже происходит нечто совершенно несусветное в смысле аккомпанемента (смеётся).

— Кто вам нравится из наших современных бардов?

— Из наших? Ну, очень многие. Очень многие.

— А больше всех?

— Вы знаете, я настолько всё-таки люблю это дело, настолько ему предан, что мне трудно сказать — кто. Я могу называть — песни. Вот, скажем, у того мне очень нравятся эти песни, у того — эти... Пожалуй, нету ни одного, у которого не было бы целого ряда песен, которые бы мне очень нравились, и — песни, которые мне совершенно не нравятся. Очень горячо любимый мной, скажем, Булат Окуджава, которого я очень люблю и очень высоко

ценю как поэта. У него есть песни, которые вызывают моё яростное чувство протеста. Скажем, ну, типа «Берегите нас, поэтов». Это просто что-то, я бы сказал, недостойное для поэта. Поэтому мне эта песня решительно не нравится, и я всегда забываю об этом напомнить, страшно (смеётся) клеймя его за эту идею, потому что мне кажется, что там абсолютно ложная и даже какая-то стыдная поэтическая идея. Я не понимаю подобного обращения. Кто должен беречь нас, поэтов? И вообще, понимаете, это уже какое-то выделение кастового сбережения. Мне кажется, оно совершенно несправедливо. И это не гражданская позиция. Вот это моё такое сугубо личное мнение».

Эдуард Тополь:

«Финский залив отмерзал под солнцем, мы — человек 45—50, — собравшись, ждали Галича. Я хорошо помню, что теперь мы вправду ждали его уже не как ординарного учителя драматургии, а как некое общественно значимое лицо. Все знали, что он сейчас в Новосибирске, в Академгородке, где проходит почти полуофициальный всесоюзный конкурс бардов. Кажется, даже два информационных органа сообщили тогда об этом: газета «Московский комсомолец» и «Голос Америки», — де, в Новосибирске, в Академгородке проходит всесоюзный конкурс бардов-песенников, в конкурсе принимают участие Ким Рыжов, Галич... Позже кто-то из сибирских кинематографистов рассказывал мне, что, пользуясь неразберихой на студии кинохроники, снял весь конкурс на плёнку и даже смонтировал сюжет для всесоюзной хроники «Новости дня», но в последний момент сюжет запретили, и плёнка теперь валяется неизвестно где¹. А тогда... Тогда, в те апрель-

¹ Фильм сохранился, был показан в 1991 г. ленинградским телевидением под названием «Запрещённые песни». (Прим. сост.)

ские дни, как лозунг новых тёмных времён, поползла с того конкурса уж и не знаю чья (не Галича) песня, гимн советского слепого:

А я ни-че-го не вижу
И — видеть не хочу!..¹

Шли новые времена закручивания гаек, и это тоже была чья-то общественная позиция — ни-че-го не видеть.

И вот я помню этот апрель в Репино. Я помню стеклянно-прозрачную столовую, залитую солнцем и пронизанную хвойным настоем окружающих лесов и морозно-льдыстым озоном оттаивающего Финского залива. Мы завтракали — семинаристы и учителя, известные советские кинодраматурги.

И вдруг вошёл Галич.

У него был какой-то внутренне просветлённый вид, словно он нёс в себе Нечто.

Сказку?

Новую песню? Звонкость сибирских морозов?

Хрупкое знание вечности?

Помню, как он стоял несколько секунд в проёме двери — весь ещё неприлётевший, наполовину там — ещё в Новосибирске. Потом подсел за наш, ближайший к двери, столик, съел традиционный домтворческий завтрак и, видя, что мы не знаем ещё главного события конкурса бардов, не удержался, достал из «дипломата» свёрнутый в трубочку диплом и какую-то плоскую коробочку. И сказал, стеснительно улыбаясь:

— Я вам прочту сейчас, ладно?

И прочёл нам диплом первого (и последнего) всесоюзного слёта бардов».

¹ Имется в виду песня В. Березкова «Я совершенно слепой старик...» (*Прим. сост.*)



АКАДЕМИЯ НАУК
СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

26 марта 1968 г.

№ КТ-68

Иркутск, ул. Профсоюзная, 41
Тел. 214000

Глубокоуважаемый
Александр Аркадьевич!

От имени общественности Дома ученых и
Картинной галерея Новосибирского Научного Ц
выражаем Вам глубокую признательность за Ваше
художественное, высоко-гражданственное искусство.

Сегодня, когда каждый несет свою долю ответственности за
будущее нашей Страны, обличение и сатирическое бичеван
ее имеющихся недостатков - священный долг каждого деятеля с
ского искусства.

Награждение Вас Почетной грамотой и специальным призом -
копией пера великого А.С.Пушкина - дань нашего уважения Ва
таланту и Вашему мужеству, Вашему правдолюбию и непримиримос
Вашей верности Советской Родине.

Наше прогрессивное, развивающееся государство, не боится
мысли, анализа, критики - наоборот, в этом наша сила.

Председатель Коллегии
Дома ученых СО АН СССР,
член-корреспондент
Академии Наук СССР

А.А.Ляпунов

Директор Картинной
галереи СО АН СССР

Н.Я.Макаренко

Наше почтение выражается на этой и другой
карте или записке: Новосибирск, 26 марта



Н. Макаренко

Эдуард Тополь:

«И тут Галич открыл эту плоскую коробочку-футляр, и мы увидели — из тёмного серебра старинное гусяное перо лежало на сером бархате. Стесняясь, явно чувствуя неловкость от значительности такой исторической эстафеты, Галич рассказал, что в своё время золотым гусиным пером был награждён от литературного, кажется, общества Александр Пушкин, а затем литературная общественность России решила к пятидесятилетию со дня рождения таким же — только серебряным — пером наградить Некрасова, и вот по форме пушкинского пера было отлито некрасовское, серебряное. Музей Академгородка отыскал это перо у дальних родственников Некрасова, приобрёл и хранил, а теперь преподнёс Галичу за его песни...

Честно говоря, от этого дух захватывало, и что-то игольчато-звонкое, вневременное вошло в стеклянно-солнечную столовую Дома творчества. Тёмно-серебряное, величиной со столовую ложку гусиное перо самого Некрасова лежало перед нами на банальном обеденном столе, и было что-то неестественное, неисторическое, когда Галич закрыл коробочку и коротким жестом сунул её во внутренний карман пиджака.

В самый исторический момент биографии люди чаще всего делают банальные жесты, но, помнится, я успел подумать, что вот, пока мы стучим на своих пишмашинках «Москва» и «Колибри», Галич пишет пером Некрасова...

Конечно, мы устроили в этот вечер крепкий «сабантуй». Галич пел. «Караганду», «Пастернака», «Похороны Ахматовой». Я слышал их тогда впервые — не песни, а скорее речитатив, судебный приговор русской поэзии тому времени, в котором мы жили. Справедливость решения жюри конкурса бардов была очевидна. И я думаю, что это был пик творчества Галича, и на этой вершине перо Некрасова слетело ему на плечо как знак избранности и отличия, как Божий знак».

«У меня так получилось, что я вообще очень мало пишу лирических песен. Меня за это всё время обвиняют. Но тут как раз по списку получилось так, что целый ряд лирических песен будут исполнены сегодня. Они, правда, своеобразные лирические песни. Называется «Разговор с Музой». В песне я оказался дурным пророком. Я вообще иногда оказываюсь хорошим пророком... а тут я оказался дурным». (Фонограмма)

РАЗГОВОР С МУЗОЙ

Наплевать, если сгину в какой-то Инте.
Всё равно мне бессмертные счастьем
потрафили

На такой широте и такой долготе,
Что её не найти ни в какой географии —
В этом доме у маяка!..

В этом доме не стучат ставни,
Не таращатся в углах вещи,
Там не бредят о пустой славе,
Там всё истинно и всё вечно —
В этом доме,
В этом доме у маяка!..

Если имя моё в разговоре пустом
Будут втаптывать в грязь
с безразличным усердием, —
Возвратись в этот дом, возвратись
в этот дом,

Где тебя и меня наградили бессмертием —
В этом доме у маяка!..

В этом доме не бренчать моде,
В этом доме не греметь джазам,

**Всесоюзный Ленинский Коммунистический
Союз Молодёжи**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

№ 01/185с 29 марта 1968 г.

Секретно

ЦК КПСС

Информируем ЦК КПСС о состоявшемся в Новосибирске так называемом «всесоюзном фестивале-празднике самодеятельной песни».

«Фестиваль» проходил с 7 по 12 марта и был организован без ведома партийных, советских и комсомольских органов советом самодеятельного кафе-клуба «Под интегралом» в Академгородке. Программа «фестиваля» предусматривала массовые концерты, дискуссии «о новом жанре искусства — поэтической песне». Организаторы и участники «фестиваля» стремились придать ему характер «всесоюзного учредительного съезда бардов», выработать положение или устав.

«Фестиваль» в Новосибирске тщательно готовился его организаторами, причём его ярко выраженный политический характер сохранялся в тайне до самого открытия.

29 участников этого «учредительного съезда бардов» приехали из 9 городов: из Москвы (10 человек — Галич, Бережков, Волынцев, Чесноков и другие); из Ленинграда, Красноярска, Свердловска, Казани, Севастополя, Томска, Минска и Новосибирска. Участников фестиваля приветствовали телеграммами Высоцкий, Ким, Анчаров, Окуджава, Матвеева.

Состав участников был весьма неоднородным как по уровню исполнительского мастерства, так и по идейному содержанию. В большинстве своём выступления в концертах и на дискуссиях носили явно тенденциозный характер, были проникнуты духом безыдейности, аполитичности, клеветы на советскую действительность.

Об этом свидетельствует репертуар А. Галича, который содержал такие песни, как «Памяти Б. Л. Пастернака», «Баллада о прибавочной стоимости», «Ошибка», «Песня про генеральскую дочь», «Закон природы», «Про товарища Парамонову» и другие. Жанр их по определению самого автора — «жанр пародийной песни», идейная направленность — «шагать не в ногу», их герои, как правило, руководящие работники, которых автор рисует лишь в чёрных тонах.

Так, герой песни «Баллада о прибавочной стоимости» — «марксист, почти что зам., почти что зав.», знающий марксизм «от сих до сих» по «Анти-Дюрингу» и «Капиталу», но продающий свои убеждения и Родину за богатое наследство «тётушки из страны Фингалии». Автор, обращаясь к залу, постоянно подчёркивает мысль: «Все мы такие».

В песне «Памяти Б. Л. Пастернака» звучат озлобленность и угроза: «Мы поимённо вспомним всех, кто руку поднимал...»

<...>

Некоторые из участников, например, Галич, Бурштейн, Фрумкин, Чесноков, в своих выступлениях акцентировали внимание слушателей на проблемах взаимоотношений между национальностями, когда, по их мнению, «выпячивается» культура одних народов и «искусственно подавляется» культурное наследие других. В частности, назывались «незаслуженно забытые» песни и мелодии из «народного еврейского» творчества, которые здесь же, на концертах, предлагалось разучить всем слушателям.

В песенном цикле «Об Александрах» Галич откровенно издевается и над интернациональной политикой нашего государства, высмеивая помощь Советского Союза народам Африки.

Судя по всему, член Московского отделения Союза писателей А. Галич (Гинзбург А. А.) претендует на

роль идейного вдохновителя «бардов». И если ранее его песенное «творчество» распространялось только в магнитофонных записях, то в Новосибирске его песни зазвучали с открытой эстрады. Перед каждым концертом, а также в дискуссиях, аудитория усиленно «обратывалась». Галича представляли как «замечательно-го поэта, известного сценариста и драматурга», сравнивали с Салтыковым-Щедриным, Зощенко и Маяковским.

Взгляды Галича разделяли и активно поддержали в ходе дискуссии В. Фрумкин, член Союза композиторов (Ленинградское отделение), А. Бурштейн, президент клуба «Под интегралом», старший научный сотрудник Института кинетики и горения СО АН СССР, старший преподаватель Новосибирского университета, Ю. Кукин, бывший тренер, с октября 1967 года нигде не работающий, обосновавшийся при самостоятельном клубе «Восход» Ленинграда.

По мнению организаторов и многих участников, собрание их в Новосибирске должно было определить место «бардов» в творчестве народа. Они заявляли, что собраться было необходимо, так как «в нашем движении много трудностей, зигзагов, царит застой и уныние. Творчество бардов — народное искусство, народное не только по форме, но и по существу. Песни бардов — новая форма бытия поэзии. Время требует новой формы борьбы с недостатками, консерватизмом и забвением уроков прошлого».

Выступая перед аудиторией более чем в тысячу человек, С. Чесноков, преподаватель Московского инженерно-физического института, предпослал следующее вступление: «Песня посвящается американской певице, которая, когда её спросили, почему песни бардов, исполняемые плохо поставленными голосами, с плохим музыкальным сопровождением, пользуются такой популярностью, ответила: «Нам слишком долго вращали хо-

рошо поставленными голосами...» И я (т.е. Чесноков) полностью присоединяюсь к её словам».

<...>

Стихийность, неуправляемость в этом движении, как показал «фестиваль», ведут к тому, что организующую роль в нём берут на себя люди сомнительных, а порою откровенно чуждых нам политических взглядов и убеждений. И трибуна предоставляется, в основном, не подлинно самодеятельным авторам, работающим на заводах, в геологических экспедициях, в институтах, а полупрофессионалам или людям вроде А.Галича, которые любой ценой стремятся завоевать популярность, имя, да и немалые доходы.

Люди, претендующие на роль организаторов и вдохновителей «нового движения», постоянно ссылаются на опыт зарубежных «бардов» (битлов, хиппи и пр.). Не случайно на сборище в Новосибирске было предложено послать приветственную телеграмму от имени «съезда» всем «бардам» капиталистических стран.

Следует отметить, что организаторы фестиваля в какой-то мере отдают себе отчёт в том, на какой скользкий путь вступают. Один из главных организаторов упомянутого «фестиваля» А. Бурштейн высказался в том смысле, что действовать надо осторожнее, потому что недавние судебные процессы над Синявским и Даниэлем, а также над «группой» Гинзбурга, вероятно, не последние и надо быть готовым ко всему.

ЦК ВЛКСМ в настоящее время принимает меры для тщательного изучения этого вопроса...

<...>

Информируя ЦК КПСС о сборище в Академгородке Новосибирска, ЦК ВЛКСМ считает, что тенденции в развитии так называемого «движения бардов» заслуживают внимания соответствующих государственных и общественных органов.

Секретарь ЦК ВЛКСМ /С. Павлов/ (подпись)

КГБ — ЦК КПСС:

«Отрицательную роль в формировании общественных взглядов интеллигенции и молодежи Академгородка в последнее время играла деятельность клуба «Под интегралом». Ввиду отсутствия должного контроля со стороны партийной и комсомольской организации клубом руководили политически сомнительные лица (Бурштейн, Яблонский, Рожнова, Гимпель и др.), которые устраивали встречи с такими лицами, как Копелев, Галич, пытались пригласить Якира, Кима.

Как уже сообщалось ЦК КПСС, по инициативе бывшего руководства клуба в Академгородке в апреле [так!] 1968 года проведён фестиваль самодеятельной песни с участием Галича, Бережкова, Иванова, в песнях которых содержалась клевета на советских людей и нашу действительность. У значительной части зрителей эти выступления вызвали нездоровый ажиотаж...

...Органы Комитета госбезопасности оказывают помощь партийным и общественным организациям Новосибирской области в осуществлении мер, направленных на пресечение деятельности группы лиц, вставших на антиобщественный путь...»

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР ПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО СЕКРЕТАРИАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА Протокол № 10 от 20 мая 1968 г.

СЛУШАЛИ: О статье, опубликованной в газете «Вечерний Новосибирск» от 18 апреля 1968 года, и письме группы учёных института геологии и геофизики СО АН СССР на имя председателя Правления СП СССР тов. К. А. Федина по поводу выступления члена СП тов. Галича А. А. в клубе «Интеграл».

(тов. Ильин В. Н.)

В обсуждении приняли участие: тт. Кассиль Л. А., Галин Б. А., Тельпугов В. П., Розов В. С., Наровчатов С. С., Алексеев М. Н., Ильин В. Н., Михалков С. В.

ПОСТАНОВИЛИ:

Ознакомившись со статьёй в газете «Вечерний Новосибирск» и письмом группы учёных, а также заслушав объяснения члена СП тов. Галича А. А., Секретариат Правления МО СП РСФСР считает необходимым отметить отсутствие у тов. Галича А. А. должной требовательности и политического такта при выборе песенного репертуара для публичных выступлений. Секретариат также отмечает, что нарекания на идейно-политическую ущербность исполняемых им отдельных песен имели место и ранее, но, как видно, должных выводов для себя тов. Галич не сделал, о чём свидетельствует статья и письмо группы ученых. На основании вышеизложенного Секретариат считает нужным строго предупредить тов. Галича А. А. и обязать его более требовательно подходить к отбору произведений, намечаемых им для публичных исполнений, имея в виду их художественную и идейно-политическую направленность.

<...>

2. За политическую безответственность, выразившуюся в подписании заявлений и писем в различные адреса, по своей форме и содержанию дискредитирующих правопорядки и авторитет советских судебных органов, а также за игнорирование факта использования этих документов буржуазной пропагандой в целях враждебных Советскому Союзу и советской литературе, —

объявить:

строгий выговор с занесением в личное дело —

т. Копелеву Льву Залмановичу;

выговор с занесением в личное дело —

Аксенову В. П.

Самойлову Д. С.

Балтеру Б. И.

Войновичу В. Н.
Чуковской Л. К.
Штейбергу А. А.;

поставить на вид —

Ахмадулиной Б. А.
Коржавину Н. М.
Шитовой В. В.
Сарнову Б. М.
Искандеру Ф. А.
Поженяну Г. М.
Пинскому Л. Е.
Соловьевой И. Н.
Светову Ф. Г.
Икрамову К. А.
Левитанскому Ю. Д.
Адамян Э. Г.
Гольшевой Е. М.
Оттену-Поташинскому Н. Д.;

строго предупредить —

Богатырева К. П.
Корнилова В. Н.
Наумова Н. В.
Домбровского Ю. О.
Максимова В. Е.
Левицкого Л. А.;

предупредить —

Хинкиса В. А.
Рубницкого Л. Л.
Матвееву Н. Н.
Каверина В. А.
Лорие М. Ф.
Казакова Ю. П.
Эдлisa Ю. Ф.
Рощина М. М.

«Я написал эту песню когда-то в Дубне. Я лежал в больнице. Ночью вышел, как полагается, в сортир покурить... А в это время как раз в газетах очень много писалось об интеллектуальном футболе, о тончайших стратегических замыслах. И вот, сидя на низенькой скамеечке в одном исподнем и покуривая сигарету, мне пришла в голову мысль, идея этой песни. Даже сразу пришли в голову первые строфы, и я начал смеяться. Вошла нянечка и увидела, что сидит один больной пожилкой, в исподнем, курит сигарету и сам с собою очень смеётся... развлекается. Она сказала: «Врача вам не надо?» Я сказал: «Нет, ничего, обойдёмся без врача!» (Фонограмма)

**ОТРЫВОК ИЗ РАДИОТЕЛЕВИЗИОННОГО
РЕПОРТАЖА О МЕЖДУНАРОДНОМ
ТОВАРИЩЕСКОМ МАТЧЕ ПО ФУТБОЛУ
МЕЖДУ СБОРНЫМИ КОМАНДАМИ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СОВЕТСКОГО
СОЮЗА**

...Итак, судья Бидо, который, кстати, превосходно проводит сегодняшнюю встречу, просто превосходно, сделал внушение английскому игроку, — и матч продолжается. И снова, дорогие товарищи болельщики, дорогие наши телезрители, вы видите на ваших экранах, как вступают в единоборство центральный нападающий английской сборной, профессионал из клуба «Стар» Бобби Лейтон и наш замечательный мастер кожаного мяча, аспирант Московского педагогического института Владимир Лямин — капитан и любимец нашей сборной! В этом единоборстве (кстати, обратите внимание, интересный игровой момент), итак, в этом единоборстве соперники соревнуются не только в технике владения мячом, но в понимании самой природы игры, в уме-

нии, так сказать, психологически предугадать и предупредить самые тончайшие стратегические и тактические замыслы соперника...

— А он мне всё по яйцам целится,
Этот Бобби, сука рыжая,
А он у них за то и ценится —
Мистер-шмистер, ставка высшая!

А я ему по-русски, рыжему:
«Как ни целься — выше, ниже ли,
Ты ударишь — я, бля, выживу,
Я ударю — ты, бля, выживи!

Ты, бля, думаешь, напал на дикаря?!
А я сделаю культурно, втихаря,
Я, бля, врежу, как в парадном кирпичом —
Этот, с дудкой, не заметит нипочём!»

В общем, всё сказал по-тихому,
Не ревел.
Он ответил мне по-ихнему:
«Верил вел!»

...Судья Бидо фиксирует положение вне игры — великолепно проводит матч этот арбитр из Франции, великолепно, по-настоящему спортивно, строго, по-настоящему арбитр международной квалификации. Итак, свободный удар от наших ворот... Мяч рикошетом попадает снова к Бобби Лейтону, который в окружении остальных игроков по центру продвигается к нашей штрафной площадке. И снова перед ним вырастает Владимир Лямин. Володя! Володечка! Его не обманул финт англичанина — он преграждает ему дорогу к нашим воротам...

— Ты давай из кучи выгляни,
Я припас гостинчик умнику!
Финты-шминты с фигли-миглями —
Это, рыжий, всё на публику!

Не держи меня за мальчика,
Мы ещё поспорим в опыте!
Что ж я, бля, не видел мячика?
Буду бегать где ни попадя?!

Я стою, а он как раз наоборот...
Он, бля, режет, вижу, угол у ворот!
Натурально, я на помощь вратарю...
Рыжий — с ног, а я с улыбкой говорю:

«Думал вдарить, бля, по-близкому,
В дамки шёл?!»

А он с земли мне по-английскому:
«Данке шён!..»

... Да, странно, странно, просто непонятное решение — судья Бидо принимает обыкновенный силовой приём за нарушение правил и назначает одиннадцатиметровый удар в наши ворота. Это неприятно, это неприятно, несправедливо и... А-а, вот здесь мне подсказывают! Оказывается, этот судья Бидо просто прекрасно известен нашим журналистам как один из самых продажных политиканов от спорта, который в годы оккупации Франции сотрудничал с гитлеровской разведкой. Ну, итак, мяч установлен на одиннадцатиметровой отметке... Кто же будет бить? А, ну всё тот же самый Бобби Лейтон! Он просто симулировал травму... Вот он разбегается... Удар!.. ...Да, досадный и несправедливый гол, кстати, единственный гол за всю эту встречу, единственный гол за полминуты до окончания матча, единственный и несправедливый, досадный гол, забитый в наши ворота.

— Да, игрушку мы просерили,
Протютюкали, прозяпали.
Хорошо б она на Севере,
А ведь это ж, бля, на Западе.

И пойдёт теперь мурыжево —
Федерация, хренация:
Как, мол, ты не сделал рыжего?
Где ж твоя квалификация?!

Вас, засранцев, опекаешь и растишь,
А вы, суки, нам мараете престиж!
Ты ж советский, ты же чистый, как кристалл!
Начал делать — так уж делай, чтоб не встал!

Духу нашему спортивному
Цвесьть везде!
Я отвечу по-партийному:
— Будет сде!..

<1968>

«Эта песня — она возникла так. У меня год тому назад, значит, не знаю, то ли под влиянием, так сказать, каких-то событий из жизни моих друзей... и даже не друзей, всяких людей, мне почему-то... я стал бояться, что меня собьёт машина. Причём — умышленно собьёт машина. Не случайно, а умышленно... Я решил сочинить коротенькую антипесню, чтобы, так сказать, перестать бояться». (Фонограмма)

СЧАСТЬЕ БЫЛО ТАК ВОЗМОЖНО

Когда собьёт меня машина,
Сержант напишет протокол,
И представительный мужчина,
И представительный мужчина
Тот протокол положит в стол.

Другой мужчина — ниже чином,
Взяв у начальства протокол,
Прочтёт его в молчанье чинном,
Прочтёт его в молчанье чинном
И пододвинет дырокол.

И, продырявив лист по краю,
Он скажет: «Счастья в мире нет —
Покойник пел, а я играю,
Покойник пел, а я играю, —
Могли б составить с ним дуэт!»

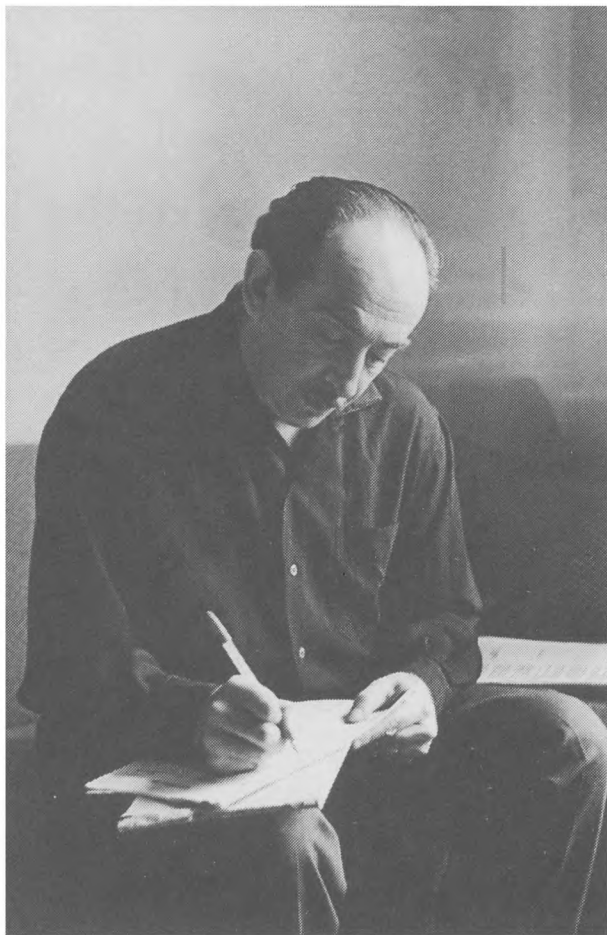
<1968?>





Смеешь выйти
на площадь?..





А. Галич. Москва, 5 декабря 1968 г. Фото М. Баранова.



«...21 августа в номер гостиницы, в котором мы жили тогда в Дубне, где работали с режиссёром Донским над фильмом (сценарий о Фёдоре Ивановиче Шаляпине), постучали мои друзья [Л. Копелев и его жена Р. Орлова], и у них были ужасные лица, испуганные, трагические, несчастные. Они сказали, что они слышали по радио о том, что началось вторжение советских войск, войск Варшавского Договора в Чехословакию... И на следующий день я написал эту песню. Я подарил её своим друзьям, они её увезли в Москву, и в Москве в тот же вечер, на кухне одного из московских домов... хозяин дома [Л. Копелев] прочёл эти стихи; и присутствующий Павел Литвинов усмехнулся и сказал: «Актуальные стихи, актуальная песня». Это было за день до того, как он с друзьями вышел на Красную площадь протестовать против вторжения...» (Из передачи на радио «Свобода», 23 ноября 1974 года)

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОМАНС

Н. Рязанцевой

Жалеть о нём не должно:
Он сам виновник всех своих
злосчастных бед,
Терпя, чего терпеть
без подлости — не можно.

Н. М. Карамзин

...Быть бы мне поспокойней,
Не казаться, а быть!
...Здесь мосты, словно кони, —
По ночам на дыбы!

Здесь всегда по квадрату
На рассвете полки —
От Синода к Сенату,
Как четыре строки!

Здесь над винною стойкой,
Над пожаром зари
Наколдовано столько,
Набормотано столько,
Наколдовано столько,
Набормотано столько,
Что пойдя — повтори!

Все земные печали
Были в этом краю...
Вот и платим молчаньем
За причастность свою!

Мальчишки были безусы —
Прапоры и корнеты,
Мальчишки были безумны,
К чему им мои советы?!

Лечиться бы им, лечиться,
На кислые ездить воды —
Они ж по ночам:

«Отчизна!

Тираны! Заря свободы!»

Полковник я, а не прапор,
Я в битвах сражался стойко,
И весь их щенячий табор
Мне мнился игрой, и только.

И я восклицал: «Тираны!»,
И я прославлял свободу,

Под пламенные тирады
Мы пили вино, как воду.

И в то роковое утро —
Отнюдь не угрозой чести! —
Казалось куда как мудро
Себя объявить в отъезде.

Зачем же потом случилось,
Что меркнет копеейкой ржавой
Всей славы моей лучинность
Пред солнечной ихней славой?!

...Болят к непогоде раны,
Уныло проходят годы...
Но я же кричал: «Тираны!»
И славил зарю свободы!

Повторяется шёпот,
Повторяем следы.
Никого ещё опыт
Не спасал от беды!

О доколе, доколе —
И не здесь, а везде —
Будут Клодтовы кони
Подчиняться узде?!

И всё так же, не проще,
Век наш пробует нас:
Можешь выйти на площадь?
Смеешь выйти на площадь?
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!

Где стоят по квадрату
В ожиданье полки —
От Синода к Сенату,
Как четыре строки!

23 августа 1968

«...Жалостная песня, посвящённая самому себе, к одному из своих юбилеев». (Фонограмма)

«...Мне хотелось написать песню свободным рифмованным стихом. Свободным и рифмованным. Верлибром, но рифмованным и не раёшником. Так что, в общем, такая вот была залповая совершенно ходка». (Фонограмма)

ПЕСНЯ ПРО ВЕЛОСИПЕД

О, как мне хотелось, мальчишке,
Проехаться на велосипеде.
Не детском, не трехколёсном, —
Взрослом велосипеде!
И мчатся навстречу солнцу,
Туда, где сосны и ели,
И чтоб из окна глядели,
Завидуя мне, соседи:
— Смотрите, смотрите, смотрите!
Смотрите, мальчишка едет
На взрослом велосипеде!..

...Ехал мальчишка по улице
На взрослом велосипеде.
— Наркомовский Петька, умница, —
Шептались в окне соседи.
Я крикнул: — Дай прокатиться! —
А он ничего не ответил,
Он ехал медленно-медленно,
А я бы летел, как ветер!

А я бы звоночком цокал,
А я бы крутил педали,
Промчался бы мимо окон —
И только б меня видали!..

...Теперь у меня в передней
Пылится велосипед,
Пылится уже, наверно,
С добрый десяток лет.
Но только того мальчишки
Больше на свете нет,
А взрослому мне не нужен
Взрослый велосипед!

О, как мне хочется, взрослому,
Потрогать пальцами книжку
И прочесть на обложке фамилию
Не чью-нибудь, а мою!..
Нельзя воскресить мальчишку,
Считайте — погиб в бою...
Но если нельзя — мальчишку,
И в прошлое ни на шаг,
То книжку-то можно?! Книжку!
Её почему — никак?!

Величественный, как росчерк,
Он книжки держал под мышкой.
— Привет тебе, друг-доносчик,
Привет тебе, с новой книжкой!
Партийная Илиада!
Подарочный холуяж!
Не надо мне так, не надо.
Пусть тысяча — весь тираж!
Дорого с суперобложкой? —
К чёрту суперобложку!
Но нету суперобложки,
И переплёта нет...

Немного пройдёт, немного,
Каких-нибудь тридцать лет.
И вот она, эта книжка, —
Не в будущем, в этом веке!
Снимает её мальчишка
С полки в библиотеке!
А вы говорили — бредни!
А вот — через тридцать лет!..

...Пылится в моей передней
Взрослый велосипед.

<1968?>

«У неё два эпиграфа. Я вообще большой любитель эпиграфов. В итоге будут сочинения, в которых будет по три и даже по четыре эпиграфа. А в «Балладе о чистых руках» два эпиграфа. Первый: «Омочу багрян рукав в Каялереке...» из плача Ярославны, «Слово о полку Игореве». Первый эпиграф. Второй эпиграф: «Взвейтесь кострами, синие ночи...» — пионерская песня». (Фонограмма)

БАЛЛАДА О ЧИСТЫХ РУКАХ

Развеян по ветру подмоченный порох,
И мы привыкаем, как деда, точь-в-точь,
Гонять вечера в незатейливых спорах,
Побасенки слушать и воду толочь.
Когда-то шумели, теперь поутихли,
Под старость любезней покой и почёт...
А то, что опять Ярославна в Путивле
Горюет и плачет, — так это не в счёт.
Уж мы-то рукав не омочим в Каяле,
Не сунем в ладонь арестантскую хлеб.

БЕССМЕРТНЫЙ КУЗЬМИН

...Отечество нам Царское Село!

А. Пушкин

Эх, яблочко, куды котишься?..

Песня

...Покатились всячины и разности,
Поднялось неладное со дна!
— Граждане, Отечество в опасности!
Граждане, Отечество в опасности!
Граждане, гражданская война!

Был май без края и конца,
Жестокая весна!
И младший брат, сбежав с крыльца,
Сказал: «Моя вина!»

У Царскосельского дворца
Стояла тишина.
И старший брат, сбежав с крыльца,
Сказал: «Моя вина!».

И камнем в омут ледяной
Упали те слова...
На брата брат идёт войной.
На брата брат идёт войной!..
Но шелестит над их виной
Забвенья трын-трава!

...А Кузьмин Кузьма Кузьмич выпил
рюмку хлебного,
А потом Кузьма Кузьмич закусил
севрюжкой,
А потом Кузьма Кузьмич,
взяв перо с бумагою,

Написал Кузьма Кузьмич буквами
печатными,
Что, как истый патриот,
верный сын Отечества,
Он обязан известить власти предержажшие...

А где вы шли, там дождь свинца,
И смерть, и дело дрянь!
...Летела с тополей пыльца
На бронзовую длань —

Там, в Царскосельской тишине,
У берега сонных вод...
И нет как нет конца войне,
И скоро мой черёд!

...Было небо в голубиной ясности,
Но сердца от холода свело:
— Граждане, Отечество в опасности!
Граждане, Отечество в опасности!
Танки входят в Царское Село!

А чья вина? Ничья вина!
Не верь ничьей вине,
Когда по всей земле война,
И вся земля в огне!

Пришла война — моя вина!
И вот за ту вину
Меня песочит старшина,
Чтоб понимал войну.

Меня готовит старшина
В грядущие бои.
И сто смертей сулит война,
Моя война, моя вина, —

За каждый шаг и каждый сбой
Тебе держать ответ!
А если нет, так чёрт с тобой,
На нет и спроса нет!

Тогда опейся допьяна
Похлёбкою вранья!
И пусть опять — моя вина,
Моя вина, моя война, —
Моя вина, моя война! —
И смерть — опять моя!

...А Кузьмин Кузьма Кузьмич хлопнул
сто молдавского,
А потом Кузьма Кузьмич закусил
селёдочкой,
А потом Кузьма Кузьмич,
взяв перо с бумагою,
Написал Кузьма Кузьмич буквами
печатными,
Что, как истый патриот,
верный сын Отечества,
Он обязан известить всех, кому положено...

И не поймёшь, кого казним,
Кому поём хвалу?!
Идёт Кузьма Кузьмич Кузьмин
По Царскому Селу!

Прозрачный вечер. У дворца —
Покой и тишина.
И с тополей летит пыльца
На шляпу Кузьмина...

<1968>

Наталья Рязанцева:

«...Мы едем в Дубну встречать Новый год. Галичи нас пригласили, там у них друзья. Но друзья встречают нас сконфуженно: билеты в Дом учёных, оказывается, именные; как узнали, что билеты для Галича, так и отобрали билеты или не дали — не помню. Это был удар. Чёрт с ним, с Домом учёных, можно встретить Новый год в однокомнатной квартире, и не петь Галич приехал, даже без гитары, но — как же, значит, его боится! Или откуда сверху приказ? Что — идти выяснять, кто кому приказал и почему? Нет, не выясняли, какой убогий чиновник распорядился. Решил, что физикам вредно присутствие Галича. Впрочем, нас пустили в гостиницу. Помню, как Александр Аркадьевич расхаживал по коридору, уже принарядившись к празднику. Настроение было совсем не новогоднее, но он сохранял спокойствие. Ньюша сказала: «Да он сочиняет поздравительные стихи, не будем ему мешать». Он всегда так расхаживал, когда сочинял. У меня хранится эта пустячная, но переписанная набело его рукой строфа. Её никто не поймет, «на грани чепухи», как иногда выражался Галич. «Так пожмите же плечами, Натали» — что-то в этом роде. Надо знать день и час, когда это было сочинено назло тревоге и страху и аккуратно переписано набело. И я навсегда благодарна Галичам за тот праздник, последний и самый печальный. После этой Дубны стало «всё ясно», двери перед ним захлопывались, его судьбу кто-то решил. А потом, через много лет, стало ясно, что то был всё-таки праздник, а после уж их и не было, потому что мы стали не жить, а выживать поодиночке».

«Рассказывают, что в лагере в Освенциме на аппельплаце, когда происходил отбор заключённых для отправки в газовые камеры, оркестр, состоявший тоже из заключённых, играл старую еврейскую песенку «Тум-бала»

лайка». А однажды этот оркестр, в тот день, когда было восстание в Аушлице, в Освенциме, сыграл песню «Червоны маки на Монте-Кассино», которая уже в то время стала песней польского Сопротивления. Многие, вероятно, слышали эту песню в удивительном фильме Вайды «Пепел и алмаз». (Фонограмма 1973 года)

БАЛЛАДА О ВЕЧНОМ ОГНЕ

Льву Копелеву

...«Неизвестный», увенчанный славою
бранной!

Удалец-молодец или горе-провидец?!
И склоняют колени под гром барабанный
Перед этой загадкой главы правительств!
Над немymi могилами — воплем! —
надгробья...

Но порою надгробья — не суть, а подобье,
Но порой вы не боль, а тщеславье храните —
Золочёные буквы на чёрном граните!..

Всё ли про то спето?
Всё ли — навек — с болью?
Слышишь — труба в гетто
Мёртвых зовёт к бою!
Пой же, труба, пой же,
Пой о моей Польше,
Пой о моей маме —
Там, в выгребной яме!..

Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,
Тум-балалайка, шпилт балалайка,
Рвётся и плачет сердце моё!

А купцы приезжают в Познань,
Покупают меха и мыло...
Подождите, пока не поздно,
Не забудьте, как это было!

Как нас чёрным огнём косило
В той последней слепой атаке!
«Маки, маки на Монте-Кассино...»
Как мы падали в эти маки!..

А на ярмарке — всё красиво,
И шуршат то рубли, то марки...
«Маки, маки на Монте-Кассино»,
Ах, как вы почернели, маки!

Но зовёт труба в рукопашный,
И приказывает — воюйте!
Пой же, пой нам о самой страшной,
Самой твёрдой в мире валюте!..

Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,
Тум-балалайка, шпилт балалайка,
Рвётся и плачет сердце мое!
Помнишь, как шёл ошалелый паяц
Перед шеренгой на апельплац?
Тум-балалайка, шпилт балалайка,
В газовой камере — мёртвые в пляс...

А вот ещё:
В мазурочке
То шагом, то ползком
Отправились два урочки
В поход за «языком»!
В мазурочке, в мазурочке,

Нафабрены усы,
Затикали в подсумочке
Трофейные часы!
Мы пьём-гуляем в Познани
Три ночи и три дня...
Ушёл он неопознанный,
Засёк патруль меня!
Ой, зори бирюзовые,
Закаты — анилин!
Пошли мои кирзовые
На город на Берлин!
Грома гремят басовые
На линии огня,
Идут мои кирзовые,
Да только без меня!..
Там, у речной излучины,
Зелёная кровать,
Где спит солдат обученный,
Обстрелянный, обученный
Стрелять и убивать!
Среди пути прохожего —
Последний мой постой,
Лишь нету, как положено,
Дощечки со звездой.

Ты не печалься, мама рódная,
Ты спи спокойно, почивай!
Прости-прощай, разведка ротная,
Товарищ Сталин, прощевай!
Ты не кручинься, мама рódная,
Как говорят, судьба слепа,
И может статься, что народная
Не зарастёт ко мне тропа...

А ещё:
Где бродили по зоне каэры¹,
Где под снегом искали гнилые корни,
Перед этой землёй — никакие премьеры,
Подтянувши штаны, не преклонят колени!
Над сибирской Окою, над Камой, над Обью
Ни знамён, ни венков не положат
к надгробью!

Лишь, как Вечный огонь,
как нетленная слава —
Штабеля! Штабеля! Штабеля лесосплава!

Позже, друзья, позже,
Кончим навек с болью.
Пой же, труба, пой же!

Пой и зови к бою!
Медною всей плотью
Пой про мою Потьму!
Пой о моем брате —
Там, в ледяной пади!..

Ах, как зовёт эта горькая медь
Встать, чтобы драться, встать, чтобы сметь!
Тум-балалайка, шпилт балалайка, —
Песня, с которой шли мы на смерть!
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,
Тум-балалайка, шпилт балалайка,
Рвётся и плачет сердце моё!

Дубна, 31 декабря 1968

¹ КР — контрреволюционеры; так называли осуждённых по «антисоветской» 58-й статье УК РСФСР. (*Прим. сост.*)

* * *

Странно мы живём в двадцатом веке:
Суетимся, рвёмся в высоту...
И, Христа проклявшие калеки, —
Молча поклоняемся кресту!..

13 января 1969

* * *

...По ночному ледку озноба
Возвращаюсь на время — к детству!
Как тесна челноку — основа,
Как мешает опара — тесту...

17 января 1969

ЗАПОЙ ПОД НОВЫЙ ГОД

Странная ночь. Не то снег, не
то дождь, всё развезло. Человек
идёт пьяненький, бормочет ка-
кие-то странные слова, воспомина-
ет стихи, строчки из писем. А ча-
ще других вспоминает такую
строчку из письма Пушкина бра-
ту Льву: «Пишут мне, что Батю-
шков помешался. Быть нельзя!»

По-осеннему деревья налегке,
Керосиновые пятна на реке,
Фиолетовые пятна на воде,
Ты сказала мне тихонько: «Быть беде».

Я позабыл твоё лицо,
Я пьян был к полдню,
Я подарил твоё кольцо,
Кому — не помню...

Я подымал тебя на смех,
И врал про что-то,
И сам смеялся больше всех,
И пил без счёта.

Из шутовства, из хвастовства
В то — балаганье
Я предал все твои слова
На поруганье.

Качалась пьяная мотня
Вокруг прибойно,
И ты спросила у меня:
«Тебе не больно?»

Не поймёшь — не то январь, не то апрель,
Не поймёшь — не то метель, не то капель.
На реке не ледостав, не ледоход —
Старый год, а ты сказала — Новый год.

Их век выносит на-гора,
И — марш по свету,
Одно отличие — номера,
Другого нету!

О, этот серый частокол —
Двадцатый опус,
Где каждый день как протокол,
А ночь — как обыск,

Где всё зазря, и всё не то,
И всё непрочно,
Который час — и то никто
Не знает точно!

Лишь неизменен календарь
В приметах века —

Ночная улица. Фонарь.
Канал. Аптека...

В этот вечер, не сумевший стать зимой,
Мы дороги не нашли к себе домой.
Я спросил тебя: «А может, всё не зря?»
Ты ответила старинным: «Быть нельзя».

<1969>

«Слова «нит гедайге», как известно из Маяковского, означают по-еврейски «не отчаивайся». Просто лирическая песенка». (Фонограмма)

ЗАСЫПАЯ И ПРОСЫПАЯСЬ

Всё снежком январским припорошено,
Стали ночи долгие лютей...
Только потому, что так положено,
Я прошу прощенья у людей.

Воробьи попрятались в скворешники,
Улетели за море скворцы...
Грешного меня простите, грешники,
Подлого — простите, подлецы!

Вот горит звезда моя субботняя,
Равнодушна к лести и хуле...
Я надену чистое исподнее,
Семь свечей расставлю на столе.

Расшумятся к ночи дурни-лабухи —
Ветра и позёмки чертовня...
Я усну, и мне приснятся запахи
Мокрой шерсти, снега и огня.

А потом из прошлого бездонного
Выплывет озябший голосок —

Это мне Арина Родионовна
Скажет: «Нит гедайге¹, спи, сынок.

Сгнило в вошебойке платье узника,
Всем печалям подведён итог,
А над Бабьим Яром — смех и музыка...
Так что всё в порядке, спи, сынок.

Спи, но в кулаке зажми оружие —
Ветхую Давидову пращу!»
...Люди мне простят — от равнодушия.
Я им — равнодушным — не прощу!

<1969>

ЛЕТЯТ УТКИ

Л. Пинскому

С севера, с острова Жестева
Птицы летят,
Шестеро, шестеро, шестеро
Серых утят,
Шестеро, шестеро к югу летят...

Хватит хмуриться, хватит злобиться,
Ворошить вороха былого!..
Но когда по ночам бессонница —
Мне на память приходит снова:

Мутный за тайгу
Ползёт закат,
Строем на снегу
Пятьсот зэка.

¹ Не расстраивайся, не огорчайся, не унывай (*идиш*).
(Прим. сост.)

Ветер мокрый хлестал мочалкою,
То накатывал, то откатывал,
И стоял вертухай с овчаркою
И такую им речь откалывал:

«Ворон, растудыть, не выключнет
Глаз, растудыть, ворону,
Но ежели кто закосит, —
Тот мордой в снег.
И прошу, растудыть, запомнить,
Что каждый шаг в сторону
Будет, растудыть, рассматриваться
Как, растудыть, побег!»

Вьюга полярная спятила —
Бьёт наугад!
А пятеро, пятеро, пятеро
Дальше летят,
Пятеро, пятеро к югу летят...

Ну а может, и впрямь бессовестно
Повторяться из слова в слово?!
Но когда по ночам бессонница —
Мне на память приходит снова:

Не косят, не корчатся
В снегах ээка, —
Разговор про творчество
Идёт в ЦК.

Репортёры сверкали линзами,
Кремом бритвенным пахла харя,
Говорил вертухай прилизанный,
Не похожий на вертухая:

«Ворон, извиняюсь, не выключет
Глаз, извиняюсь, ворону,
Но все ли сердцем усвоили,
Чему учит нас Имярек?
И прошу, извиняюсь, запомнить,
Что каждый шаг в сторону
Будет, извиняюсь, рассматриваться
Как, извиняюсь, побег!»

Грянул прицельно с подветренной
В сердце заряд,
А четверо, четверо, четверо
Дальше летят!..

И если долетит хоть один,
Если даже никто не долетит,
Всё равно стоило,
Всё равно надо было лететь!..

<1969>

ПЛЯСОВАЯ

Чтоб не бредить палачам по ночам,
Ходят в гости палачи к палачам,
И радушно, не жалея харчей,
Угощают палачи палачей.

На столе у них икра, балычок,
Не какой-нибудь — «КВ» коньячок,
А впоследствии — чаёк, пастила,
Кекс «Гвардейский» и печенье «Салют».
И сидят заплечных дел мастера
И тихонько, но душевно поют:
«О Сталине мудром, родном и любимом...»

— Был порядок! — говорят палачи.
— Был достаток! — говорят палачи.
— Дело сделал, — говорят палачи, —
И пожалуйста — сполна получи!..

Белый хлеб икрой намазан густо,
Слёзы кипяточка горячей...
Палачам бывает тоже грустно.
Пожалейте, люди, палачей!

Очень плохо палачам по ночам,
Если снятся палачи палачам,
И как в жизни, но ещё половчей,
Бьют по рылу палачи палачей.

Как когда-то, как в годах молодых —
И с оттяжкой, и ногою в поддых.
И от криков и от слёз палачей
Так и ходят этажи ходуном,
Созывают «неотложных» врачей.
И с тоскою вспоминают о Нём,
«О Сталине мудром, родном и любимом...»

— Мы на страже! — говорят палачи.
— Но когда же?! — говорят палачи.
— Поскорей бы! — говорят палачи. —
Встань, Отец, и вразуми, поучи!

Дышит, дышит кислородом стража,
Крикнуть бы, но голос как ничей...
Палачам бывает тоже страшно.
Пожалейте, люди, палачей!

<1969?>

**ФАНТАЗИЯ НА РУССКИЕ ТЕМЫ
ДЛЯ БАЛАЛАЙКИ С ОРКЕСТРОМ
И ДВУХ СОЛИСТОВ —
ТЕНОРА И БАРИТОНА**

Тенор

Королевич, да и только!
В сумке пиво и «сучок».
Подрулила птица-тройка,
Сел стукач на облучок.
И — айда, и трали-вали,
Всё белым-бело вокруг,
В леспромхозе на канале
Ждёт меня любезный друг.

Он не цыган, не татарин и не жид,
Он надёжа мой — камаринский мужик!
Он утеха на обиду мою!
Перед ним бутылъ с рябиновою!
Он сидит, винцо покушивает,
Не идёт ли кто, послушивает.

То ли пеший, то ли конный,
То ли «Волги» воркотня...
И сидит мужик законный,
Смотрит в сумрак законный,
Пьёт вино и ждёт меня.

Ты жди, жди, жди, обожди,
Не расстраивайся!

Баритон

Значит, так... На Урале
В предрассветную темь
Нас ещё на вокзале
Оглушила метель.

И стояли пришельцы,
Барахлишко сгрузив,
Кулаки да лишенцы —
Самый первый призыв!

Значит, так... На Урале
Холода — не пустяк.
Города вымирали
Как один — под иссяк!
Нежно пальцы на горле
Им сводила зима...
А деревни не мёрли,
Но сходили с ума!

Значит, так... На Урале
Ни к чему лекаря:
Всех непóмерших брали —
И в тайгу, в лагеря!
Четвертак на морозе,
Под охраной, во вшах!..
А теперь в леспромхозе
Я и сам в сторожах.

Нету рая спасённым,
Хоть и мёртвый, а стой.
Вот и шнырю по сёлам
За хурдою-мурдой:
Как ворьё по закону, —
Самозванный купец —
Где добуду икону,
Где резной поставец!

А московская наедет сволота —
Отворяю я им, сявкам, воротá:
Заезжайте, гости милые, пожалуйте!..

Тенорок

Славно гукает машина,
Путь-дорожка — в два ряда,
Вьюга снегу накрошила,
Доберёмся — не беда!
Мы своротим на просёлок,
Просигналим: тра-та-та!
Принимай гостей весёлых,
Отворяй нам ворота!

Ты любезный мой, надёжа из надёж!
Всю вселенную проедешь — не найдёшь!
Самый подлинный-расподлинный,
Не носатый, не уродливый,
А что зубы подчистую — тю-тю,
Так, верно, спьяну обломал об кутью!

Не стесняйся, было — сплыло,
Кинь под лавку сапожки,
Прямо с жару, прямо с пылу
Ставь на стол «сучок» и пиво,
Печь лучиной разожги!
Ты жги, жги, жги, говори,
Поворачивайся!..

Баритон

Что ж... За этот, за бренный,
За покой на душе!
Гость с шофёром — по первой,
Я — вторую уже.
Сладок угорь балтийский,
Слаще закуси нет!
Николай Мирликийский
Запелёнут в пакет.

Что ж... Хихикайте, падлы,
Что нашли дурака!
Свесив сальные патлы,
Гость завёл «Ермака».
Пой, лягавый, не жалко,
Я и сам поддержу,
Я подвою, как шавка,
Подскулю, подвизжу.

Что ж — попили, попели,
Я постелю стелю.
Гость ворочает еле
Языком во хмелю,
И гогочет, как кочет,
Хоть святых выноси,
И беседовать хочет
О спасенье Руси.

Мне б с тобой не в беседу,
Мне б тебя на рога!
Мне бы зубы, да нету!
Знаешь слово «цинга»?
Вертухаево семя!
Не дразни — согрешу!
Ты заткнись про спасенье,
Спи, я лампу гашу!

...А наутро я гостей разбужу,
Их, похмельных, провожу к гаражу:
Заезжайте, гости милые, наведывайтесь...

<1969?>

«...Даниил Хармс, который на всех снимках, которые от него остались, был совсем мальчиком, в общем, как мне теперь кажется. Он снят в такой автомобильной

кепке, с трубкой в зубах. Он с ней не расставался. Причём он действительно исчез, потому что, в общем, всех, кто садились в те годы, всё кто-то где-то встречал. А вот его не видел никто. Вот он пропал. Были предположения, что он оставался в тюрьме в «Крестах» в ленинградских во время блокады. И его просто там забыли. Но, во всяком случае, он исчез». (Фонограмма)

ЛЕГЕНДА О ТАБАКЕ

Посвящается памяти замечательного человека, Даниила Ивановича Ювачева, придумавшего себе странный псевдоним — Даниил Хармс, — писавшего прекрасные стихи и прозу, ходившего в автомобильной кепке и с неизменной трубкой в руках, который действительно исчез, просто вышел на улицу и исчез. У него есть такая пророческая песенка:

«Из дома вышел человек
С верёвкой и мешком
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком.
Он шёл, и всё глядел вперед,
И всё вперёд глядел,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил, не ел,
И вот однажды, поутру,
Вошёл он в тёмный лес,
И с той поры, и с той поры,
И с той поры исчез...»

Лил жуткий дождь,
Шёл страшный снег,
Вовсю дурил двадцатый век,
Кричала кошка на трубе
И выли сто собак.
И, встав с постели, человек
Увидел кошку на трубе,
Зевнул и сам сказал себе:
— Кончается табак!
Табак кончается — беда,
Пойду куплю табак. —
И вот... Но это ерунда,
И было всё не так.

«Из дома вышел человек
С верёвкой и мешком
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком...»
И тут же, проглотив смешок,
Он сам себя спросил:
— А для чего он взял мешок?
Ответьте, Даниил!
Вопрос резонный, нечем крыть,
Летит к чертям строка,
И надо, видно, докурить
Остаток табака...

Итак: «... Однажды человек...
Та-та-та... с посошком...
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком.
Он шёл, и всё глядел вперёд,
И всё вперёд глядел,
Не спал, не пил,

Не спал, не пил,
Не спал, не пил, не ел...»

А может снова всё начать,
И бросить этот вздор?!
Уже на ордере печать
Оттиснул прокурор...

Начнём вот этак: «Пять зайчат
Решили ехать в Тверь...»
А в дверь стучат,
А в дверь стучат —
Пока не в эту дверь.

«Пришли зайчата на вокзал,
Прошли зайчата в зальце,
И сам кассир, смеясь, сказал:
— Впервые вижу зайца!..»

Но этот чёртов человек
С веревкой и мешком,
Он и без спроса в дальний путь
Отправился пешком.
Он шёл, и всё глядел вперёд,
И всё вперёд глядел,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил, не ел.

И вот однажды, поутру,
Вошёл он в тёмный лес,
И с той поры, и с той поры,
И с той поры исчез.

На воле — снег, на кухне — чад,
Вся комната в дыму,
А в дверь стучат,
А в дверь стучат,
На этот раз — к нему!

О чём он думает теперь,
Теперь, потом, всегда,
Когда стучит ногою в дверь
Чугунная беда?!

И тут ломается строка,
Строфа теряет стать,
И нет ни капли табака,
А там — уж не достать!
И надо дописать стишок,
Пока они стучат...
И значит, всё-таки — мешок,
И побоку зайчат!
(А в дверь стучат!)
В двадцатый век
(Стучат!),
Как в тёмный лес,
Ушёл однажды человек
И навсегда исчез!..

Но Парка нить его тайком
По-прежнему прядёт,
А он ушёл за табаком,
Он вскорости придёт.
За ним бежали сто собак,
И кот по крышам лез...
Но только в городе табак
В тот день как раз исчез,
И он пошёл в Петродворец,
Потом пешком в Торжок...
Он догадался наконец,
Зачем он взял мешок...

Он шёл сквозь свет
И шёл сквозь тьму,
Он был в Сибири и в Крыму,
А опер каждый день к нему

Стучится, как дурак...
И много, много лет подряд
Соседи хором говорят:
— Он вышел пять минут назад,
Пошел купить табак...

<1969?>

«Песня из цикла «Литераторские мостки», в который входит «Памяти Зощенко», «Памяти Пастернака» и так далее. Эта песня называется «Возвращение на Итаку». В воспоминаниях Надежды Яковлевны Мандельштам описан этот эпизод, когда пришли арестовывать Мандельштама...» (Фонограмма)

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ИТАКУ

*Памяти Осипа Эмильевича
Мандельштама*

...В квартире, где он жил, находились он, Надежда Яковлевна и Анна Андреевна Ахматова, которая приехала его навестить из Ленинграда. И вот они сидели все вместе, пока длился обыск, до утра, и пока шёл этот обыск, за стеною, тоже до утра, у соседа их, Кирсанова, ничего не знавшего об обыске, запускали пластинки с модной в ту пору гавайской гитарой...

И только и свету, что
в звёздной колючей неправде!..
А жизнь промелькнёт
театрального капора пеной...
И некому молвить: «Из табора
улицы темной...»

О. Мандельштам

Всю ночь за стеной ворковала гитара,
Сосед-прощельга крутил юбилей.

А два понятых, словно два санитара,
А два понятых, словно два санитара,
Зевая, томились у чёрных дверей.

И жирные пальцы с неспешной заботой
Кромешной своей занимались работой,
И две королевы глядели в молчанье,
Как пальцы копались в бумажном мочале,
Как жирно листали за книжкой книжку,
А сам-то король — всё бочком
да вприпрыжку,
Чтоб взглядом не выдать —
не та ли страница,
Чтоб рядом не видеть безглазые лица!

А пальцы искали крамолу, крамолу...
А там, за стеной, всё гоняли «Рамону»:
— Рамона, какой простор вокруг, взгляни,
Рамона, и в целом мире мы одни!

«...А жизнь промелькнёт
Театрального капора пеной...»

И, глядя, как пальцы шуруют в обивке,
Вольно ж тебе было, он думал, вольно!
Глотай своего якобинства опивки!
Глотай своего якобинства опивки —
Не уксус ещё, но уже не вино.

Щелкунчик-скворец, простофиля-Емеля,
Зачем ты ввязался в чужое похмелье?!
На что ты истратил свои золотые?!
И скушно следили за ним понятые...

А две королевы бездарно курили
И тоже казнили себя и корили —

За лень, за небрежный кивок на вокзале,
За всё, что ему второпях не сказали...

А пальцы копались, и рвалась бумага...
И пел за стеной тенорок-бедолага:
— Рамона, моя любовь, мои мечты,
Рамона, везде и всюду только ты!..

«...И только и свету,
Что в звёздной колючей неправде...»

По улице чёрной, за «вороном чёрным»,
За этой каретой, где окна крестом,
Я буду метаться в дозоре почётном,
Я буду метаться в дозоре почётном,
Пока, обессилев, не рухну пластом!

Но слово останется, слово осталось!
Не к слову, а к сердцу приходит усталость,
И — хочешь не хочешь — слезай с карусели,
И — хочешь не хочешь — конец одиссеи!

Но нас не помчат паруса на Итаку:
В наш век на Итаку везут по этапу.
Везут Одиссея в телячьем вагоне,
Где только и счастья, что нету погони!

Где, выпив ханжи, на потеху вагону,
Блатарь-одессит распевает «Рамону»:
— Рамона, ты слышишь ветра нежный зов,
Рамона, ведь это песнь любви без слов!..

«...И некому, некому,
Некому молвить:
«Из табора улицы тёмной»...»

1969

«Песня из цикла «Литераторские мостки». В Ленинграде, на Волковом кладбище, есть такой ряд, который называется «Литераторскими мостками». Вот у меня есть цикл песен, посвящённый памяти разных русских поэтов и писателей. Вот из этого цикла песня называется «На сопках Маньчжурии» и посвящается памяти Михаила Михайловича Зощенко». (Фонограмма)

«...Я как-то раньше этого не говорил, теперь я понял, что это надо говорить, насчёт «толстомордого подонка». Это имеется в виду Жданов. Чтоб было ясно». (Фонограмма)

НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ

Памяти М. М. Зощенко

В матершинном субботнем загуле
шалманчика
Обезьянка спала на плече у шарманщика,
А когда просыпалась, глаза её жуткие
Выражали почти человечью отчаянность,
А шарманка дудела про сопки
маньчжурские,
И Тамарка-буфетчица очень печалилась...

— Спит гаолян,
Сопки покрыты мглой...

Были и у Томки трали-вали,
И не Томкой — Томочкою звали.
Целовались с миленьким в осоке,
И не пивом пахло, а апрелем...
Может быть, и впрямь на той высоте
Сгинул он, порубан и пострелян?!

— Вот из-за туч блеснула луна,
Могилы хранят покой...

А последний шарманщик, обломок империи,
Всё пылил перед Томкой павлиньими
перьями,
Он выламывал, шкура, замашки буржуйские:
То, мол, тёплое пиво, то мясо прохладное!
А шарманка дудела про сопки маньчжурские,
И спала на плече обезьянка прокатная...

— Тихо вокруг,
Ветер туман унёс...

И делясь тоской, как барышами,
Подпевали шлюхи с алкашами.
А шарманщик ел, зараза, хаши,
Алкашам подмигивал прелестно:
Дескать, деньги ваши — будут наши,
Дескать, вам приятно — мне полезно!

— На сопках Маньчжурии воины спят,
И русских не слышно слёз...

А часов этак в десять, а может, и ранее,
Непонятный чудака появился в шалмании.
Был похож он на вдруг постаревшего
мальчика.

За рассказ, напечатанный
неким журнальчиком,
Толстомордый подонок с глазами обманщика
Объявил чудака — всенародно —
обманщиком!

— Пусть гаолян
Нам навевает сны...

Сел чудака за стол и вжался в угол,
И легонько пальцами постукал,
И сказал, что отдохнёт немного,

Помолчав, добавил напряжённо:
«Если есть боржом, то, ради Бога,
Дайте мне бутылочку боржома...»

— Спите, герои русской земли,
Отчизны родной сыны!..

Обезьянка проснулась, тихонько зацокала,
Загляделась на гостя, присевшего около,
А Тамарка-буфетчица, сука рублёвая,
Покачала смущённо причёскою пегою
И сказала: «Пардон, но у нас не столовая,
Только вы обождите, я на угол сбегая...»

— Спит гаолян,
Сопки покрыты мглой...

А чудака глядел на обезьянку,
Пальцами выстукивал морзянку,
Словно бы он звал её на помощь,
Удивляясь своему бездомью,
Словно бы он спрашивал: «Запомнишь?»
И она кивала: «Да, запомню».

— Вот из-за туч блеснула луна,
Могилы хранят покой...

Отодвинул шарманщик шарманку ботинкою,
Прибежала Тамарка с боржомной
бутылкою —

И сама налила чудаку полстаканчика...
Не знавали в шалмане подобные почести!
А Тамарка, в упор поглядев на шарманщика,
Приказала: «Играй, — человек
в одиночестве».

— Тихо вокруг,
Ветер туман унёс...

Замолчали шлюхи с алкашами,
Только мухи крыльями шуршали...
Стало почему-то очень тихо,
Наступила странная минута —
Непонятное, чужое лихо
Стало общим лихом почему-то!

— На сопках Маньчжурии воины спят,
И русских не слышно слёз...

Не взрывалось молчанье ни матом,
ни брёхами,
Обезьянка сипела спалёнными бронхами,
И шарманщик, забыв трепотню свою барскую,
Сам назначил себе — мол,
играй да помалкивай.
И почти что неслышно сказав:
«Благодарствую!» —
Наклонился чужак над рукою Тamarкиной...

— Пусть гаолян
Нам навевает сны...

И ушёл чужак, не взявши сдачи,
Всем в шалмане пожелал удачи...
Вот какая странная эпоха:
Не горим в огне — и тонем в луже!
Обезьянке было очень плохо —
Человеку было много хуже.

— Спите, герои русской земли,
Отчизны родной сыны...

<1969?>

«Сейчас август месяц, тот самый август, который, по словам людей, её [Ахматову] близко знавших, так не любила Анна Андреевна... В августе был расстрелян Николай Гумилёв, в августе был арестован сын Ахматовой и Гумилёва — Лев, в августе вышли известные постановления ЦК КПСС «О журналах «Звезда» и «Ленинград», в которых были ошельмованы, вывалены в грязи великие русские писатели Анна Ахматова и Михаил Зощенко... Судьба подсказала мне решение финальных строк... это было в августе 1968 года... когда советские танки прокатились по улицам Праги». (Из передачи на радио «Свобода», 24 августа 1974 года)

СНОВА АВГУСТ

Памяти А. А. Ахматовой

*...А так как мне бумаги не хватило,
Я на твоём пишу черновике...*

*Анна Ахматова.
«Поэма без героя»*

*В той злой тишине, в той неверной,
В тени разведённых мостов,
Ходила она по Шпалёрной,
Моталась она у «Крестов».*

*Ей в тягость? Да нет, ей не в тягость —
Привычно, как росчерк пера,
Вот если бы только не август,
Не чёртова эта пора!*

*Таким же неверно-нелепым
Был давний тот август, когда
Под чёрным бернгардтовским небом
Стрельнула, как птица, беда.*

И разве не в августе снова,
В ещё не отмеренный год,
Осудят мычанием слово
И совесть отправят в расход?!

Но это потом, а покуда
Которую ночь — над Невой,
Уже не надеясь на чудо,
А только бы знать, что живой!

И в сумерки вписана чётко,
Как вписана в нашу судьбу,
По-царски небрежная чёлка,
Прилипшая к мокрому лбу.

О, шелест финских сосен,
Награда за труды,
Но вновь приходит осень —
Пора твоей беды!

И август, и как будто
Всё то же, как тогда,
И врёт мордастый Будда,
Что горе — не беда!

Но вьётся, вьётся чёлка
Колечками на лбу,
Уходит в ночь девчонка
Пытать твою судьбу.

Следят из окон постно
За нею сотни глаз,
А ей плевать, что поздно,
Что комендантский час!

По улице бессветной,
Под окрик патрулей,

Идёт она бессмертной
Походкою твоей,
На праздник и на плаху
Идёт она, как ты!
По Пряжке, через Прагу —
Искать свои «Кресты»!

И пусть судачат глупые соседи,
Пусть кто-то обругает не со зла,
Она домой вернётся на рассвете
И никому ни слова — где была...

Но с мокрых пальцев облизнёт чернила,
И скажет, примостившись в уголке:
«Прости, но мне бумаги не хватило,
Я на твоём пишу черновике...»

<1967—1969>

21 АВГУСТА

Н. Рязанцевой

Благословенность одиночества!
И тайный хмель, и дождь, и сонность,
И нет — ни имени, ни отчества —
Одна сплошная невесомость!

Благословенность неприютности —
В — другими — заспанной постели —
Как в музыке, где мерой трудности
Лишь только пальцы овладели.

А то, что истинно, — в брожении,
И замирает у предела,

Где не имеет отношения
Душа — к преображенью тела!..

И в этот день всеобщей низости,
Вранья и жалких междометий,
Прекрасно мне, что Вы поблизости —
За пять шагов, за пять столетий!

Болшево, 1969

ФЕСТИВАЛЬ ПЕСНИ В СОПОТЕ В АВГУСТЕ 1969 ГОДА

Над чёрной пажитью разрухи,
Над миром, проклятым людьми,
Поют девчонки о разлуке,
Поют мальчишки о любви!

Они глядят на нас в тревоге
И не умеют скрыть испуг,
Но наши страхи, наши боги
Для них — пустой и жалкий звук.

И наши прошлые святыни —
Для них — пустые имена,
И правда, та, что посредине,
И им и нам ещё темна!

И слышит Прага, слышит Сопот
Истошный шёпот: «Тру-ля-ля!»
Но пробивается сквозь шёпот
Кирзовый топот патруля!

Нас отпустили на поруки,
На год, на час, на пять минут.

Поют девчонки о разлуке,
Мальчишки о любви поют!

Они лады перебирают,
Как будто лезут на рожон.
Они слова перевирают, —
То в соль мажор, то в ре мажор.

А я, крестом раскинув руки,
Как оступившийся минер —
Всё о беде да о разрухе,
Всё в ре минор да в ре минор...

<1969>

ПЕСНЯ О ТБИЛИСИ

На холмах Грузии лежит
ночная мгла...

А. Пушкин

Я не сумел понять Тебя в тот раз,
Когда, в туманы зимние оправлен,
Ты убежал от посторонних глаз,
Но всё же был прекрасен без прикрас,
И это я был злобою отравлен.

И Ты меня провёл на том пиру,
Где до рассвета продолжалось бденье,
А захмелел — и головой в Куру!
И где уж тут заметить поутру
В глазах хозяйки скучное презренье...

Вокруг меня сомкнулся, как кольцо,
Твой вечный шум в отливах и прибоях.
Потягивая кислое винцо,

Я узнавал усатое лицо
В любом пятне на выцветших обоях.

И вновь зурна вступала в разговор,
И вновь, с бокалом, истово и пылко
Болтает вздор подонок и позёр...
А мне почти был сладок Твой позор,
Твоя невиноватая ухмылка.

И в самолёте, по пути домой,
Я наблюдал злорадно, как грузины
В Москву, ещё объятую зимой,
Везут мешки с оранжевой хурмой
И с первою мимозою корзины.

И я не понял, я понять не мог,
Какую Ты торжествовал победу,
Какой Ты дал мне гордости урок,
Когда кружил меня, сбивая с ног,
По ложному, придуманному следу!

И это всё — и Сталин, и хурма,
И дым застоля, и рассветный кочет, —
Всё для того, чтоб не сойти с ума,
А суть Твоя является сама,
Но лишь когда сама того захочет!

Тогда тускнеют лживые следы,
И начинают раны врачеваться,
И озаряет склоны Мтацминды
Надменный голос счастья и беды —
Нетленный голос Нины Чавчавадзе!

Прекрасная и гордая страна!
Ты отвечаешь шуткой на злословье,

Но криком вдруг срывается зурна,
И в каждой капле кислого вина
Есть неизменно сладкий привкус крови!

Когда дымки плывут из-за реки
И день дурной синоптики пророчат,
Я вижу, как горят черновики,
Я слышу, как гремят грузовики
И сапоги охранников грохочут —

И топчут каблуками тишину,
И женщины не спят, и плачут дети...
Грохочут сапоги на всю страну!
А Ты приемлешь горе, как вину,
Как будто только Ты за всё в ответе!

Не остывает в кулаке зола,
Всё в мерзлый камень памятью одето,
Всё как удар ножом из-за угла...
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...»
И как ещё далёко до рассвета!

<1969?>

* * *

Прилетает по ночам ворон,
Он бессонницы моей кормчий.
Если даже я ору ором,
Не становится мой ор громче.

Он едва на пять шагов слышен,
Но и это, говорят, слишком.
Но и это, словно дар свыше, —
Быть на целых пять шагов слышным!

<1969>

«С вашего разрешения, вам сейчас придётся выдержать 22 минуты без перерыва. Будет, значит, такое сочинение, которое называется «Размышление о бегунах на длинные дистанции». Это вот, так сказать, из тех сочинений, которые я давно стал практиковать... Это было сочетание стихов, прозы и песни, и очень этим интересуюсь. И очень, в общем, пытаюсь как можно больше расширять. Я сегодня ещё покажу потом несколько сочинений подобного рода. Но это, пожалуй, одно из самых таких больших сочинений. Тут будут, возможно, не очень пристойные выражения по временам, ну, ничего не попишешь». (Фонограмма)

«Басан, басан, басана» в русский язык пришло из цыганского, в цыганский язык пришло из индийского, в индийский пришло, вероятно, из арабского. Означает это заклинание от нечистой силы». (Фонограмма)

**РАЗМЫШЛЕНИЯ
О БЕГУНАХ НА ДЛИННЫЕ
ДИСТАНЦИИ**
Поэма в пяти песнях с эпилогом

...Впереди — Иисус Христос.

А. Блок

РОЖДЕСТВО

Всё шло по плану, но немножко наспех.
Спускался вечер, спал Младенец в яслях,
Статисты робко заняли места,
И Матерь Божья наблюдала немо,
Как в каменное небо Вифлеема
Всходила Благовещенья звезда.
Но тут в вертеп ворвались два подпaska
И крикнули, что вышла неувязка,

Что праздник отменяется, увы,
Что римляне не понимают шуток, —
И загремели на пятнадцать суток
Поддавшие на радостях волхвы.

Стало тихо, тихо, тихо,
В крике замерли уста,
Зашипела, как шутиха,
И погасла та звезда.
Стало зябко, зябко, зябко,
И в предчувствии конца
Закудахтала козявка,
Вол заблеял, как овца.
Все завыли, захрипели!..
Но, не внемля той возне,
Спал младенец в колыбели
И причмокивал во сне.

Уже светало. Розовело небо.
Но тут раздались гулко у вертепа
Намеренно тяжёлые шаги,
И Матерь Божья замерла в тревоге,
Когда открылась дверь, и на пороге
Кавказские явились сапоги.

И разом потерявшие значенье
Столетия, лихолетья и мгновенья
Сомкнулись в безначальное кольцо.
А он вошёл и поклонился еле,
И обратил неспешно к колыбели
Забрызганное оспою лицо.

«Значит, вот он — этот самый
Жалкий пасынок земной,

Что и кровью, и осанной
Потягается со мной...
Неужели, неужели
Столько лет и столько дней
Ты, сопящий в колыбели,
Будешь мукою моей?!
И меня с тобою, пешка,
Время бросит на весы?» —
И недобрая усмешка
Чуть приподняла усы.

А три волхва томились в карантине.
Их в карантине быстро укротили:
Лупили и под вздох, и по челу,
И римский опер, жажда награды,
Им говорил: «Сперва колитесь, гады,
А после разберёмся, что к чему».
И, понимая, чем грозит опала,
Пошли волхвы молоть, что ни попало,
Припоминали даты, имена...
И полетели головы. И это
Была вполне весомая примета,
Что новые настали времена.

КЛЯТВА ВОЖДЯ

«Потные, мордастые евреи,
Шайка проходимцев и ворья,
Всякие Иоанны и Матфеи
Наплетут с три короба вранья!
Сколько их посыпет раны солью,
Лишь бы им взобраться на Синай!
Ладно, ладно, я не прекословлю:
Ты был первый — Ты и начинай.

Встань — и в путь по городам и весям,
Чудеса и мудрости твори!
Отчего ж Ты, Господи, невесел?
Где они, соратники Твои?
Бражничали, ели, гостевали,
А пришла беда — и след простыл!
Нет, не зря Ты ночью в Гефсимани
Струсил и пардону запросил.
Где Твоих приспешников орава
В смертный Твой, в последний час земной?
И смеётся над Тобой Варавва...
Он бы посмеялся н а д о м н о й!..
Был Ты просто-напросто предтечей,
Не творцом, а жертвою стихий!
Ты не Божий сын, а человеческий,
Если мог воскликнуть: «Не убий!»
Душ ловец, Ты вышел на рассвете
С бедной сетью из расхожих слов —
На исходе двух тысячелетий
Покажи, велик ли Твой улов?
Слаб душою и умом не шибок,
Верил Ты и Богу, и царю...
Я не повторю Твоих ошибок,
Ни одной из них не повторю!
В мире не найдётся святотатца,
Чтобы поднял на м е н я копьё...
Если ж я умру — что может случиться, —
Вечным будет царствие моё!»

ПОДМОСКОВНАЯ НОЧЬ

Он один! А ему неможется,
И уходит окно во мглу...
Он считает шаги, и множится
Счёт шагов — от угла к углу!

От угла до угла потерянно
Он шагает, как заводной!
Сто постелей ему постелено —
Не уснуть ему ни в одной.
По паркетному полу голому —
Шаг. И отдых. И снова шаг.
Ломит голову. Ломит голову
И противно гудит в ушах.
Будто кто-то струну басовую
Тронул пальцем — и канул прочь.
Что же делать ему в бессонную,
В одинокую эту ночь?

Вином упиться?
Позвать врача?
Но врач — убийца,
Вино — моча...

Вокруг потёмки,
И спят давно
Друзья — подонки,
Друзья — говно!

На целом свете
Лишь сон и снег,
А он — в ответе
Один за всех!

И, как будто стирая оспины,
Вытирает он пот со лба:
Почему, почему, о Господи,
Так жестока к нему судьба?
То предательством, то потерюю
Оглушают всю жизнь его!

«Что стоишь ты там, за портьерою?
Ты не бойся меня, Серго!
Эту комнату неказистую
Пусть твоё озарит лицо,
Ты напой мне, Серго, грузинскую,
Ту, любимую мной, кацо!
Ту, что деды певали исстари,
Отправляясь в последний путь...
Спой, Серго, и забудь о выстреле,
Хоть на десять минут забудь!

Но полно, полно,
Молчи, не пой!
Ты предал подло —
И пёс с тобой!

И пёс со всеми —
Повзводно в тлен!
И все их семьи
До ста колен!»

Повсюду злоба,
Везде — враги!
Ледком озноба —
Шаги, шаги!..

Над столицами поседевшими
Ночь и темень — хоть глаз коли.
Президенты спят с президентшами,
Спят министры и короли.
Мир, во славу гремевший маршами,
Спит в снегу с головы до пят,

Спят министры его и маршалы...
Он не знал, что они не спят,
Что, притихшие, сводки утренней
В страхе ждут — и с надеждой ждут.
А ему всё хуже, всё муторней,
Сапоги почему-то жмут...
Неприказанный, неположенный
За окном колокольный звон...
И, упав на колени: «Боже мой! —
Произносит бессвязно он.

— Молю, Всевышний,
Тебя, Творца,
На помощь вышли
Скорей гонца!

О, дай мне, дай же
Не кровь — вино!..
Забыл, как дальше...
Но всё равно!

Не ставь отточий
Конца пути,
Прости мне, Отче!
Спаси!..
Прости...»

НОЧНОЙ РАЗГОВОР В ВАГОНЕ-РЕСТОРАНЕ

Вечер, поезд, огоньки,
Дальняя дорога...
Дай-ка, братец, мне трески
И водочки немного.

Басан, басан, басана,
Басаната, басаната...
Что с вином, что без вина —
Мне на сердце косовато.

Я седой не по годам
И с ногою высохшей.
Ты слышал про Магадан?
Не слышал?! Так выслушай.

А случилось дело так:
Как-то ночью странною
Заявился к нам в барак
Кум со всей охраною.

Я подумал, что — конец.
Распрощался матерно...
Малосольный огурец
Кум жевал внимательно.

Скажет слово — и поест,
Морда вся в апатии.
«Был, — сказал он, — говны, съезд
Славной нашей партии.

Про Китай и про Лаос
Говорились прения,
Но особо встал вопрос
Про Отца и Гения».

Кум докушал огурец
И закончил с мукою:
«Оказался наш Отец
Не отцом, а сукою...»

Полный, братцы, ататуй!
Панихида с танцами!

И приказано стату́й
За ночь снять на станции.

Ты представь — метёт метель,
Темень, стужа адская,
А на Нём — одна шинель,
Грубая, солдатская.

И стоит Он напролом,
И летит, как конница!..
Я сапог Его — кайлом,
А сапог не колется...

Огляделся я вокруг —
Дай-ка, мол, помешкаю!
У статуя губы вдруг
Тронулись усмешкою...

Помню, глуп я был и мал,
Слышал от родителя,
Как родитель мой ломал
Храм Христа Спасителя.

Басан, басан, басана,
Чёрт гуляет с опером...
Храм и мне бы — ни хрена:
Опиум как опиум!

А это ж — Гений всех времён,
Лучший друг навеки!
Все стоим — ревмя ревём,
И вохровцы, и ээки.

Я кайлом по сапогу
Бью, как неприкаянный,
И внезапно сквозь пургу
Слышу голос каменный:

«Был я Вождь вам и Отец,
Сколько мук намелено!
Что ж ты делаешь, подлец?!
Брось кайло немедленно!»

Но тут шарахнули запал,
Применили санкции, —
Я упал, и Он упал, —
Завалил полстанции...

Ну, скостили нам срокá,
Приписали в органы.
Я живой ещё — пока,
Но, как видишь, дёрганый...

Басан, басан, басана,
Басаната, басаната!
Лезут в поезд из окна
Бесенята, бесенята...

Отвяжитесь, мертвяки,
К чёрту, ради Бога!..
Вечер, поезд, огоньки,
Дальняя дорога...

ГЛАВА, НАПИСАННАЯ
В СИЛЬНОМ ПОДПИТИИ
И ЯВЛЯЮЩАЯСЯ АВТОРСКИМ
ОТСТУПЛЕНИЕМ

То-то радости пустомелям!
Темноты своей не стыжусь:
Не могу я быть Птолемеем,
Даже в Энгельсы не гожусь.

Но, от вечного бегства в мыле,
Неустройством земным томим,

Вижу — что-то неладно в мире,
Хорошо бы заняться им.
Только век меня держит цепко,
С ходу гасит любой порыв,
И от горестей нет рецепта,
Все, что были, — сданы в архив.

И всё-таки я, рискуя прослыть
Шутом, дураком, паяцем,
И ночью, и днём твержу об одном:
Ну не надо, люди, бояться!
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
Кто скажет: «Идите, люди, за мной,
Я вас научу, как надо!»

И, рассыпавшись мелким бесом
И поклявшись вам всем в любви,
Он пройдёт по земле железом
И затопит её в крови.
И наврёт он такие враки,
И такой наплетёт рассказ,
Что не раз тот рассказ в бараке
Вы помянете в горький час.
Слёзы крови не солонее,
Даровой товар, даровой!
Прёт история — Саломея
С Иоанновой головой.

Земля — зола, и вода — смола,
И некуда вроде податься,
Неисповедимы дороги зла.
Но не надо, люди, бояться!

Не бойтесь золы, не бойтесь хулы,
Не бойтесь пекла и ада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
Кто скажет: «Всем, кто пойдёт за мной,
Рай на земле — награда!»

Потолкавшись в отделе винном,
Подойду к друзьям-алкашам,
При участии половинном
Побеседуем по душам.
Алкаши наблюдают строго,
Чтоб ни капли не пролилось.
«Не встречали, — смеются, — Бога?»
— «Ей-же-Богу, не привелось».

Пусть пивнуха не лучший случай
Толковать о добре и зле,
Но видали мы этот «лучший»
В белых тапочках на столе.

Кому «сучок», а кому коньячок,
К начальству — на кой паяться?!
А я всё твержу им, как дурачок:
Да не надо, братцы, бояться!
И это бред, что проезда нет
И нельзя входить без доклада,
А бояться-то надо только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
Не верьте ему!
Гоните его!
Он врёт!
Он не знает — как надо!

С. В.

Аве, Мария!

... Дело явно липовое - все, как ни лези!
но пацану целую долбаю допрос.
Следователь-хищник с утра на балконе,
как пророк подследственный бороде оброс!

... А мадонна шла по Цудсе!

В плаще, засыранном досице,
шла она, с кобачкой за пазухой!
С каждым шагом становилась краше,
С каждым вздохом делалась пачкой!
шла, платок на голову набросив,
всех земных страданий средобочем!
и уныло брел за ней Шосиф,
убежавший славы божий облом!

Аве, Мария!...

... Утекли пророка в республику Коми,
а он и перекинулся - башкою в лебеду!
а следователь-хищник пошел в лесушке
львибную / пугевку на шелье в тиберду!

... А мадонна шла по Цудсе!
оскользлась на размокшей глине,
обдирая плаще о дерковник,

ЭПИЛОГ

Аве Мария!..

Дело явно липовое — всё, как на ладони,
Но пятаю неделю долбят допрос.
Следователь-хмурик с утра на валидоле,
Как пророк, подследственный
бородой оброс.

...А Мадонна шла по Иудее!
В платице, застиранном до сини,
Шла Она с котомкой за плечами,
С каждым шагом становясь красивой,
С каждым вздохом делаясь печальней,
Шла, платок на голову набросив, —
Всех земных страданий средоточьем.
И уныло брёл за Ней Иосиф,
Убежавший славы Божий отчим...

Аве Мария...

Упекли пророка в республику Коми,
А он и перекинись башкою в лебеду.
А следователь-хмурик получил в месткоме
Льготную путевку на месяц в Теберду.

...А Мадонна шла по Иудее!
Оскользаясь на размокшей глине,
Обдирая платье о терновник,
Шла Она и думала о Сыне
И о смертных горестях Сыновних.
Ах, как ныли ноги у Мадонны,
Как хотелось всхлипнуть по-ребячьи!..
А вослед Ей ражие долдоны
Отпускали шутики жеребьячьи.

Аве Мария...

Грянули впоследствии всякие хренации,
Следователь-хмурик на пенсии в Москве,
А справочку с печатью о реабилитации
Выслали в Калинин пророковой вдове.

...А Мадонна шла по Иудее!
И всё легче, тоньше, всё худее
С каждым шагом становилось тело...
А вокруг шумела Иудея
И о мёртвых помнить не хотела.
Но ложились тени на суглинок,
И таились тени в каждой пяди, —
Тени всех бутырок и трблинок,
Всех измен, предательств и распятий...

Аве Мария!..

1966—1969

«Песня называется «Ещё раз о чёрте». И так же, как «Старательский вальсок», старая моя песня, песня эта является своего рода политическим манифестом». (Фонограмма концерта в Израиле, ноябрь 1975 года)

«Написана она в манере, так сказать, спиричуэлс». (Фонограмма)

ЕЩЁ РАЗ О ЧЁРТЕ

Я считал слонов и в нечет и в чёт,
И всё-таки я не уснул.
И тут явился ко мне мой чёрт
И уселся верхом на стул.

И сказал мой чёрт:
— Ну как, старина?
Ну как же мы порешим?

Подпишем союз — и айда в стремяна,
И ещё чуток погрешим!

И ты можешь лгать, и можешь блудить,
И друзей предавать гуртом!
А то, что придётся потом платить,
Так ведь это ж, пойми, — потом!

Аллилуйя, аллилуйя,
Аллилуйя, — потом!

Но зато ты узнаешь, как сладок грех
Этой горькой порой седин,
И что счастье не в том, что один за всех,
А в том, что все — как один!

И ты поймёшь, что нет над тобой суда,
Нет проклятия прошлых лет,
Когда вместе со всеми ты скажешь «да»
И вместе со всеми — «нет»!

И ты будешь волков на земле плодить
И учить их вилять хвостом!
А то, что придётся потом платить,
Так ведь это ж, пойми, — потом!

Аллилуйя, аллилуйя,
Аллилуйя, — потом!

И что душа? — Прошлогодний снег!
А глядишь — пронесёт и так!
В наш атомный век, в наш каменный век
На совесть цена пятак!

И кому оно нужно, это добро,
Если всем дорога — в золу?!

Так давай же, бери, старина, перо
И вот здесь распишись, в углу!

Тут чёрт потрогал мизинцем бровь
И придвинул ко мне флакон...

И я спросил его:

— Это кровь?

— Чернила! — ответил он.

Аллилуйя, аллилуйя!

— Чернила! — ответил он.

<1969>





Я выбираю свободу...





Домашний концерт. Москва, 5 ноября 1971 г. Фото В. Луниса.



Я ВЫБИРАЮ СВОБОДУ

Сердце моё заштопано,
В серой пыли виски,
Но я выбираю Свободу,
И — свистите во все свистки!

И лопается терпенье,
И тысячи три рубак
Вострят, словно финки, перья,
Спускают с цепи собак.

Брест и Унгены заперты,
Дозоры и там, и тут,
И все меня ждут на Западе,
Но только напрасно ждут!

Я выбираю Свободу —
Но не из боя, а в бой,
Я выбираю свободу
Быть просто самим собой.

И это моя Свобода,
Нужны ли слова ясней?!
И это моя забота —
Как мне поладить с ней!

Но слаще, чем ваши байки,
Мне гордость моей беды,
Свобода казённой пайки,
Свобода глотка воды.

Я выбираю Свободу,
Я пью с ней нынче на «ты».
Я выбираю свободу
Норильска и Воркуты,

Где вновь огородной тяпкой
Над всходами пляшет кнут,
Где пулею или тряпкой
Однажды мне рот заткнут,

Но славно звенит дорога
И каждый приют как храм.
А пуля весит немного —
Не больше, чем восемь грамм.

Я выбираю Свободу —
Пускай груба и ряба,
А вы — валяйте, по капле
Выдавливайте раба!

По капле и есть по капле —
Пользительно и хитро,
По капле — это на Капри,
А нам — подставляй ведро!

А нам — подавай корыто,
И встанем во всей красе!
Не тайно, не шито-крыто,
А чтоб любовались все!

Я выбираю Свободу,
И знайте, не я один!

...И мне говорит «свобода»:
— Ну что ж, — говорит, — одевайтесь,
И пройдёмте-ка, гражданин.

<1970>

«Старый Новый год я встречал тогда в Ленинграде. И встречал я его в компании людей, большинство из них подали заявление на отъезд. Большинство из них... Хотя, кажется, некоторые ещё до сих пор не получили разрешенные уехать, но большинство из них уже были как бы на сложенных чемоданах. Это был Новый год, встреча и прощание одновременно. И вот потом я написал песню, называется она «Новогодняя фантасмагория». И она была как бы впечатлением от этого странного, трагического фарса, трагического Нового года. Старого Нового года». (Из передачи на радио «Свобода», не датировано.)

НОВОГОДНЯЯ ФАНТАСМАГОРИЯ

В новогодний бедлам, как в обрыв
на крутом вираже,
Все ещё только входят, а свечи погасли уже,
И лежит в сельдерее, убитый злодейским ножом,
Поросёнок с бумажною розой, покойник-пижон.
А полковник-пижон, что того поросенка принёс,
Открывает боржом и целует хозяйку взасос.
Он совсем разнуздан, подлец, он отбился от рук!..
И следят за полковником три кандидата наук.
А хозяйка мила, а хозяйка чертовски мила!
И уже за столом, как положено, куча-мала —
Кто-то ест, кто-то пьёт, кто-то ждёт,
что ему подмигнут,
И полковник надрался, как маршал,
за десять минут.
Над его головой произносят заздравную речь
И суют мне гитару, чтоб общество
песней развлечь...
Ну помилуйте, братцы, какие тут песни, пока
Не допили ещё, не доели цыпляют табака!

Вот полковник желает исполнить
романс «Журавли»,
Но его кандидаты куда-то поспать увели.

И опять кто-то ест, кто-то пьёт,
кто-то плачет навзрыд...

— Что за праздник без песни?! —
мне мрачный сосед говорит.

— Я хотел бы, товарищ, от имени всех попросить:
Не могли б вы, товарищ,
нам что-нибудь изобразить?..

И тогда я улягусь на стол на торжественный тот
И бумажную розу засуну в оскаленный рот,
И под чей-то напутственный возглас,
в дыму и в жаре, —

Поплыву, потеку, потону в поросячем желе...

Это будет смешно, это вызовет хохот до слёз,
И хозяйка лизнёт меня в лоб,
как признательный пёс.

А полковник, проспавшись, возьмётся опять за
своё,

И, отрезав мне ногу, протянет хозяйке её...

...А за окнами снег, а за окнами белый мороз,
Там бредёт чья-то белая тень мимо белых берёз.

Мимо белых берёз, и по белой дороге, и прочь —
Прямо в белую ночь, в петроградскую Белую Ночь,
В ночь, когда по скрипучему снегу,
в трескучий мороз,

Не пришёл, а ушёл, — мы потом это поняли, —
Белый Христос.

И позёмка, следы заметая, мела и мела...

...А хозяйка мила, а хозяйка чертовски мила!

Зазвонил телефон, и хозяйка махнула рукой:
— Подождите, не ешьте, оставьте
кусочек-другой! —

И уже в телефон, отгоняя ладошкой дым:
— Приезжайте скорей, а не то мы его доедим!

И опять все смеются, смеются, смеются до слёз...
...А за окнами снег, а за окнами белый мороз,
Там бредёт моя белая тень мимо белых берёз...

<1970?>

«Следующая песня называется «После вечеринки». Опыт такой печальной футурологии. Есть такая песня, которая называется «Облака», в ней строчки «Облака плывут в Абакан...» (Фонограмма)

ПОСЛЕ ВЕЧЕРИНКИ

Под утро, когда устанут
Влюблённость, и грусть, и зависть,
И гости опохмелятся
И выпьют воды со льдом,
Скажет хозяйка: — Хотите
Послушать старую запись? —
И мой глуховатый голос
Войдёт в незнакомый дом.

И кубики льда в стакане
Звякнут легко и ломко,
И странный узор на скатерти
Начнёт рисовать рука,
И будет бренчать гитара,
И будет крутиться плёнка,
И в дальний путь к Абакану
Отправятся облака...

И гость какой-нибудь скажет:
— От шуточек этих зябко,

И автор напрасно думает,
Что сам ему чёрт не брат!
— Ну, что вы, Иван Петрович, —
Ответит ему хозяйка, —
Бояться автору нечего,
Он умер лет сто назад...

<1970?>

«Ну, вероятно, все из вас знают о горестной судьбе замечательного человека, человека мужественного, прекрасного. Кстати, <...> знающего почти наизусть Бориса Леонидовича [Пастернака], — Петра Григорьевича Григоренко... Вы знаете, он находится в психушке уже который год, и никак нельзя, невозможно добиться его освобождения, когда он человек совершенно нормальный, удивительный, прекрасный, благородный». (Фонограмма)

ГОРЕСТНАЯ ОДА СЧАСТЛИВОМУ ЧЕЛОВЕКУ

П. Г. Григоренко

Когда хлестали молнии ковчег,
Воскликнул Ной, предупреждая страхи:
«Не бойтесь, я счастливый человек,
Я человек, родившийся в рубахе!»

Родившийся в рубахе человек!
Мудрейшие, почтеннейшие лица
С тех самых пор, уже который век,
Напрасно ищут этого счастливца.

Который век всё нет его и нет,
Лишь горемыки прут без перебоя,
И горячат умы, и застыт свет,
А Ной наврал, как видно, с перепоя!

И стал он утешеньем для калек,
И стал героем сказочных забавок, —
Родившийся в рубашке человек,
Мечта горластых повивальных бабок!

А я гляжу в окно на грязный снег,
На очередь к табачному киоску
И вижу, как счастливый человек
Стоит и разминает папироску.

Он брал Берлин! Он, правда, брал Берлин,
И врал про это скучно и нелепо,
И вышибал со злости клином клин,
И шифер с базы угонял налево.

Вот он выходит в стужу из кино,
И, сам не зная про свою особость,
Мальчонке покупает эскимо
И лезет в переполненный автобус.

Он водку пил и пил одеколон,
Он песни пел и женщин брал нахрапом!
А сколько он повкалывал кайлом!
А сколько он протопал по этапам!

И сух был хлеб его, и прост ночлег!
Но все народы перед ним — во прахе.
Вот он стоит — счастливый человек,
Родившийся в с м и р и т е л ь н о й рубахе!

<1970>

* * *

...Хоть иногда — подумай о других!
Для всех — равно — должно явиться слово.
Пристало ль — одному — среди всеблагих
Не в хоре петь, а заливаться соло?!

И не спеши.
Ещё так долгод путь.
Не в силах стать оружем — стань орудьем.
Но докричись хоть до чего-нибудь,
Хоть что-нибудь оставь на память людям!

<1970>

«С некоторых пор мне показалось интересным, — поскольку вы могли сами убедиться — мои песни — не совсем песни, больше, так сказать, мимикрируют под песни, — с некоторых пор меня заинтересовало сочинение таких композиций, в которых сочетается попевка с чистыми стихами. Вот одну из них, самую большую и самую, пожалуй, как мне лично кажется, так сказать, — во всяком случае, сделанную так, как мне представляются возможности этого жанра, я вам сейчас и покажу. Это довольно давно уже написанное сочинение, в 70-м году оно написано... Называется оно «Кадии». Кадии — это еврейская поминальная молитва, которую произносит сын в память о покойном отце». (Фонограмма)

КАДИШ (Поэма)

*Памяти великого польского
писателя, врача и педагога
Януша Корчака, погибшего
вместе со своими
воспитанниками из варшавской
школы-интерната «Дом сирот»
в лагере уничтожения
Треблинка.*

Как я устал повторять бесконечно
всё то же и то же,
Падать и вновь на своя возвращаться круги...
Я не умею молиться, прости меня, Господи Боже,
Я не умею молиться, прости меня и помоги!..

А по вечерам всё так же, как ни в чём не бывало,
играет музыка:

— Сэн-Луи блюз,
Ты во мне как боль, как ожог,
Сэн-Луи блюз —
Захлёбывается рожок!
А вы сидите и слушаете,
И с меня не сводите глаз,
Вы платите деньги и слушаете,
И с меня не сводите глаз,
Вы жрёте, пьёте и слушаете,
И с меня не сводите глаз,
И поёт мой рожок про дерево,
На котором я вздёрну вас!
Да-с, да-с...

*«Я никому не желаю зла. Не умею. Просто не
знаю, как это делается».*

Януш Корчак. Дневник.

...Уходят из Варшавы поезда,
И всё пустее гетто, всё темней.
Глядит в окно чердачная звезда,
Гудят всю ночь, прощаясь, поезда,
И я прощаюсь с памятью моей...

— Цыган был вор, цыган был врун,
Но тем милей вдвойне!
Он трогал семь певучих струн
И улыбался мне,

И говорил: «Учи, сынок,
Учи цыганский счёт —
Семь дней недели создал Бог,
Семь струн гитары — чёрт.

И он ведётся неспроста,
Тот хитрый счёт, пойми, —
Ведь даже радуга, и та
Из тех же из семи
Цветов!..»

...Осенней медью город опалён,
А я — хранитель всех его чудес:
Я неразменным одарён рублём,
Мне ровно дважды семь, и я влюблён
Во всех дурнушек и во всех принцесс!

— Осени меня своим крылом,
Город Детства — с тайнами неназванными!
Счастлив я, что и в беде, и в праздновании
Был слугой твоим и королём!..
Я старался сделать всё, что мог,
Не просил судьбу ни разу: высвободи!
И скажу на самой смертной исповеди,
Если есть на свете детский Бог:
Всё я, Боже, получил сполна, —
Где, в которой расписаться ведомости?
Об одном прошу: спаси от ненависти,
Мне не причитается она.

...И вот я врач, и вот военный год.
Мне семью пять, а веку — семью два.
В обозе госпитальном кровь и пот,
И кто-то, помню, бредит и поёт
Печальные и странные слова:
«Гори, гори, моя звезда,
Звезда любви приветная,
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет...»

— Ах, какая в тот день приключилась беда!
По дороге затопленной, по лесу,
Чтоб проститься со мною, с чужим навсегда,
Ты прошла пограничную полосу.

И могли ль мы понять в том году роковом,
Что беда эта станет пощадою?!
Полинявшее знамя пустым рукавом
Над платформой качалось дощатою.

Наступила внезапно чужая зима,
И чужая, и всё-таки близкая.
Шла французская фильма в дрянном синема,
Барахло торговали австрийское.

Понукали извозчики дохлых коняг,
И в кафе, закованном наглухо,
Мы с тобою сидели и пили коньяк,
И жевали засохшее яблоко.

И в молчанье мы знали про нашу беду
И надеждой не тешились гиблою...
И в молчанье мы пили за эту звезду,
Что печально горит над могилою!..
«Умру ли я, ты над могилою
Гори, сияй, моя звезда...»

...Уходят из Варшавы поезда,
И скоро наш черёд, как ни крути.
Ну что ж, — гори, гори, моя звезда,
Моя шестиконечная звезда,
Гори на рукаве и на груди!

— Окликнет эхо давним прозвищем,
И ляжет снег покровом пряничным,

Когда я снова стану маленьким,
А мир опять большим и праздничным,

Когда я снова стану облаком,
Когда я снова стану зябликом,
Когда я снова стану маленьким
И снег опять запахнет яблоком,

Меня снесут с крылечка, сонного,
И я проснусь от скрипа санного,
Когда я снова стану маленьким
И мир чудес открою заново.

...Звезда в окне и на груди звезда,
И не поймёшь, которая ясней.
А я устал, и, верно, неспроста
Гудят всю ночь, прощаясь, поезда,
И я прощаюсь с памятью моей...

А ещё жила в «Доме сирот» девочка Натя. После тяжёлой болезни она не могла ходить, но зато хорошо рисовала и сочиняла песенки — вот одна из них:

ПЕСЕНКА ДЕВОЧКИ НАТИ ПРО КОРАБЛИК

Я кораблик клеила
Из цветной бумаги,
Из коры и клевера,
С клевером на флаге.
Он зелёный, розовый,
Он в смолистых каплях,
Клеверный, берёзовый,
Славный мой кораблик,
Славный мой кораблик!..

А когда забулькают
Ручейки весенние,
Дальнею дорогою,
Синевой морской

Поплывёт кораблик мой
К острову Спасения,
Где ни войн, ни выстрелов, —
Солнце и покой.

Я кораблик ладила,
Пела, словно зяблик...
Зря я время тратила —
Сгинул мой кораблик.
Не в грозовом отблеске,
В буре-урагане —
Попросту при обыске
Смяли сапогами,
Смяли сапогами...

Но когда забулькают
Ручейки весенние,
В облаках приветственно
Протрубит журавль,
К солнечному берегу,
К острову Спасения
Чей-то обязательно
Доплывёт корабль!

...Когда-нибудь, когда вы будете вспоминать имена героев, не забудьте, пожалуйста, я очень прошу вас, не забудьте Петра Залевского, бывшего гренадёра, инвалида войны, служившего сторожем у нас в «Доме сирот» и убитого польскими полицаями во дворе осенью 1942 года.

Он убирал наш бедный двор,
Когда они пришли,
И странен был их разговор,
Как на краю земли,
Как разговор у той черты,
Где только «нет» и «да».
Они ему сказали: «Ты,
А ну, иди сюда!»
Они спросили: «Ты поляк?»
И он сказал: «Поляк».
Они спросили: «Как же так?»
И он сказал: «Вот так».
«Но ты ж, культяпый, хочешь жить,
Зачем же, чёрт возьми,
Ты в гетто нянчишься, как жид,
С жидовскими детьми?!
К чему, — сказали, — трам-там-там,
К чему такая спесь?!
Пойми, — сказали, — Польша там!»
А он ответил: «Здесь!
И здесь она, и там она,
Она везде одна —
Моя несчастная страна,
Прекрасная страна!»
И вновь спросили: «Ты поляк?»
И он сказал: «Поляк».
«Ну что ж, — сказали, — значит, так?»
И он ответил: «Так».
«Ну что ж, — сказали, — кончен бал!»
Скомандовали: «Пли!»
И прежде, чем он сам упал,
Упали костыли.
И прежде, чем пришли покой,
И сон, и тишина,

Он помахать успел рукой
Глядевшим из окна...

О, дай мне Бог конец такой, —
Всю боль испив до дна,
В свой смертный миг махнуть рукой
Глядящим из окна!

А потом наступил такой день, когда «Дому сирот», детям и воспитателям было приказано явиться с вещами на Умшлягплац (так называлась при немцах площадь у Гданьского вокзала).

Эшелон уходит ровно в полночь,
Паровоз-балбес пыхтит: — Шалом!
Вдоль перрона строем стала сволочь,
Сволочь провожает эшелон.
Эшелон уходит ровно в полночь,
Эшелон уходит прямо в рай...
Как мечтает поскорее сволочь
Донести, что Польша — «юденфрай»!
«Юденфрай» Варшава, Познань, Краков,
Весь протекторат, из края в край,
В чёрной чертовне паучьих знаков
Ныне и вовеки — «юденфрай»!

А на Умшлягплаце, у вокзала,
Гетто ждёт устало — чей черёд?
И гремит последняя осанна
Лаем полиция:

— «Дом сирот!»

Шевелит губами переводчик,
Глотка пересохла, грудь в тисках,
Но уже поднялся старый Корчак
С девочкою Натей на руках.

Знаменосец — козырёк с заломом,
Чубчик вьётся, словно завитой,
И горит на знамени зелёном
Клевер, клевер, клевер золотой!

Два горниста поднимают трубы,
Знаменосец выпрямил древко.
Детские обветренные губы
Запевают грозно и легко:

— Наш славный поход начинается просто —
От Старого Мяста до Гданьского моста,
И дальше, и с песней, построясь по росту —
К варшавским предместьям
по Гданьскому мосту!

По Гданьскому мосту!

По улицам Гданьска, по улицам Гданьска
Шагают девчонки Марыся и Даська,
А маленький Боля, а рыженький Боля
Застыл, потрясённый, у края прибоя,
У края прибоя!..

...Пахнет морем, тёплым и солёным,
Вечным морем и людской тщетою,
И горит на знамени зелёном
Клевер, клевер, клевер золотой!

Мы идём по четверо, рядами,
Сквозь кордон ээсовских ворон...
Дальше начинается преданье —
Дальше мы выходим на перрон.

И бежит за мною переводчик,
Робко прикасается к плечу:
«Вам разрешено остаться, Корчак!»
Если верить сказке — я молчу.

К поезду, к чугунному парому,
Я веду детей, как на урок.
Надо вдоль вагонов по перрону,
Вдоль, а мы шагаем поперёк!

Рваными ботинками бряцая,
Мы идём не вдоль, а поперёк!..
И берут, смешавшись, полицаи
Кожаной рукой под козырёк.

И стихает плач в аду вагонном,
И над всей прощальной маятой —
Пламенем на знамени зелёном
Клевер, клевер, клевер золотой!..

Может, в жизни было по-другому,
Только эта сказка вам не врёт:
К своему последнему вагону,
К своему чистилищу-вагону,
К пахнущему хлоркою вагону
С песнею подходит «Дом сирот»:

— По улицам Лодзи, по улицам Лодзи
Шагают ужасно почтенные гости,
Шагают мальчишки, шагают девчонки
И дуют в дуделки, и крутят трещотки!
И крутят трещотки!
Ведут нас дороги, и шляхи, и тракты
В снега Закопане, где синие Татры,
На белой вершине — зелёное знамя,
И вся наша медная Польша под нами!
Вся Польша...

И тут кто-то, не выдержав, дал сигнал к отправлению, и эшелон Варшава — Треблинка задолго до назначенного часа — случай совершенно невероятный, — тронулся в путь...

Вот и кончена песня.
Вот и смолкли трещётки.
Вот и скорчено небо
В переплёте решётки.
И державе своей
Под вагонную тряску
Сочиняет король
Угмонную сказку...

— Итак, начнём, благословясь!
Лет сто тому назад
В своём дворце неряха-князь
Развёл везде такую грязь,
Что был и сам не рад.
И как-то, очень рассердясь,
Призвал он маляра:
«А не пора ли, — молвил князь, —
Закрасить краской эту грязь?»
Маляр сказал: «Пора,
Давно пора, вельможный князь,
Давным-давно пора!»
И стала грязно-белой грязь,
И стала грязно-синей грязь,
И стала грязно-жёлтой грязь
Под кистью маляра.
А потому что грязь есть грязь,
В какой ты цвет её ни крась!..

...Нет, некстати была эта сказка, некстати, —
И молчит моя милая чудо-держава...
А потом, неожиданно, голосом Нати
Невпопад говорит: «До свиданья, Варшава!»
И тогда, как стучат колотушкой о шпалу,
Застучали сердца — колотушкой о шпалу,
Загудели сердца: «Мы вернёмся в Варшаву!

Мы вернёмся, вернёмся, вернёмся в Варшаву!»
По вагонам, подобно лесному пожару,
Из вагона в вагон, от состава к составу,
Как присяга, гремит: «Мы вернемся в Варшаву!
Мы вернёмся, вернёмся, вернёмся в Варшаву!
Пусть мы дымом растаем над адовым пеклом,
Пусть тела превратятся в горючую лаву, —
Но дождём, но травой, но ветром, но пеплом
Мы вернёмся, вернёмся, вернёмся в Варшаву!..»

.....

А мне-то, а мне что делать?
И так моё сердце — в клочьях!
Я в том же трясусь вагоне
И в том же горю пожаре,
Но из года семидесятого
Я вам кричу: — Пан Корчак!
Не возвращайтесь!
Вам страшно будет в э т о й Варшаве!

Землю отмыли дóбела,
Нету ни рвов, ни кочек,
Гранитные обелиски
Твердят о бессмертной славе,
Но слёзы и кровь забыты.
Поймите это, пан Корчак!
И не возвращайтесь!
Вам стыдно будет в э т о й Варшаве!

Дали зрелищ и хлеба —
Взяли Вислу и Татры,
Землю, море и небо:
Всё, мол, наше!

А так ли?!

Дня осеннего пряжа
С вещим зовом кукушки —

Ваша? Врёте, не ваша!
Это осень Костюшки!

Небо в пепле и саже
От фабричного дыма —
Ваше? Врёте, не ваше!
Это небо Тувима!

Сосны — гордые стражи
Там, над Балтикой пенной, —
Ваши? Врёте, не ваши!
Это сосны Шопена!

Беды плодятся весело,
Радость в слезах и в корчах,
И много ль мы видели радости
На маленьком нашем шаре?
Не возвращайтесь в Варшаву,
Я очень прошу вас, пан Корчак!
Не возвращайтесь!
Вам нечего делать в э т о й Варшаве!

Паясничают гомункулусы,
Геройские рожи корчат,
Рвется к нечистой власти
Орава речистой швали...
Не возвращайтесь в Варшаву,
Я очень прошу вас, пан Корчак!
Вы будете чужеземцем
В вашей родной Варшаве!..

А по вечерам всё так же играет музыка. Музыка,
музыка, как ни в чём не бывало!..

— Сэн-Луи блюз,
Ты во мне как боль, как ожог,

Сэн-Луи блюз —
Захлёбывается рожок!
На пластинках моно и стерео,
Горячей признанья в любви,
Поёт мой рожок про дерево
Там, на родине, в Сэн-Луи.
Над землёй моей отчей — выстрелы,
Пыльной ночью всё бах да бах!
Но гоните монету, мистеры,
И за выпивку, и за баб!
А ещё — ну прямо комедия, —
А ещё за вами должок:
Выкладывайте последнее
За то, что поёт рожок!
А вы сидите и слушаете,
И с меня не сводите глаз.
Вы платите деньги и слушаете,
И с меня не сводите глаз.
Вы жрёте, пьёте и слушаете,
И с меня не сводите глаз, —
И поёт мой рожок про дерево,
На котором я вздёрну вас!
Да-с! Да-с! Да-с!

«Я никому не желаю зла. Не умею. Просто не знаю, как это делается».

Как я устал повторять бесконечно

всё то же и то же,

Падать, и вновь на своя возвращаться круги...

Я не умею молиться, прости меня, Господи Боже,
Я не умею молиться, прости меня и помоги!..

<1970>

Елена Боннэр, правозащитник:

«Я не видела Сашу очень много лет. И пришло другое время. День рождения Комитета прав человека 4 ноября 1970 года. И наше второе знакомство, и очень большая близость. С Сашей и Ньюшей. Не знаю, как люди из того благополучного и, в общем, богатого по сравнению со средней советской нормой мира приходят к тому, к чему пришёл Галич. Но, наверное, в какой-то момент надоедает полуправда. Или полная неправда. И в какой-то момент талант становится сильнее инстинкта самосохранения. Я думаю, что именно так было с Сашей».

Андрей Сахаров, академик:

«Чалидзе ввел в устав Комитета почётное звание члена-корреспондента. Оно должно было присуждаться людям, имеющим большие заслуги в деле защиты прав человека. Конечно, тут всё было плохо продумано, начиная от названия, заимствованного из Устава Академии наук, где оно означает нечто совсем другое. Ещё хуже, что были выбраны Александр Галич и Александр Солженицын. Каждый из них был очень плохо информирован о намечавшемся избрании (Галич — по телефону, к Солженицыну ездил с какой-то беседой я). В результате они были поставлены в очень неловкое и ложное (а Галич — даже опасное) положение».

О ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ

Я запер дверь (ищи-свищи!),
Сижу, молю неистово:
— Поговори, поклевещи,
Родной ты мой, транзисторный!

По глобусу, как школьник,
Ищу в эфире путь:

— Товарищ мистер Гольдберг,
Скажи хоть что-нибудь!..

Поклеветчи! Поговори! —
Молю, ладони потные.
Но от зари и до зари
Одни глушилки подлые!
Молчит товарищ Гольдберг,
Не слышно Би-би-си,
И только песня Сольвейг
Гремит по всей Руси!

Я отпер дверь, открыл окно,
Я проклял небо с сушею —
И до рассвета всё равно
Сижу — глушилки слушаю!

<декабрь 1970?>

КОЛОМИЙЦЕВ В ПОЛНЫЙ РОСТ

**Истории из жизни Клима Петровича
Коломийцева — мастера цеха, кавалера
многих орденов, члена бюро парткома
и депутата горсовета**

О ТОМ, КАК КЛИМ ПЕТРОВИЧ ВЫСТУПАЛ НА МИТИНГЕ В ЗАЩИТУ МИРА

У жене моей спросите, у Даши,
У сестре её спросите, у Клавки:
Ну, ни капельки я не был поддавши,
Разве только что — маленько — с поправки!

Я культурно проводил воскресенье,
Я помылся и попарился в баньке,
А к обеду, как сошлась моя семья,
Начались у нас подначки да байки!

Только принял я грамм сто, для почина
(Ну, не более чем сто, чтоб я помер!),
Вижу — к дому подъезжает машина,
И гляжу — на ней обкомовский номер!

Ну, я на крылечко — мол, что за гость,
Кого привезли, не чеха ли?!
А там — порученец, чернильный гвоздь:
«Сидай, — говорит, — поехали!»

Ну, ежели зовут меня,
То — майна-вира!
В ДК идёт заутреня
В защиту мира!
И Первый там, и прочие — из области.

Ну, сажусь я порученцу на ноги,
Он — листок мне, я и тут не перечу.
«Ознакомься, — говорит, — по дороге
Со своею выдающейся речью!»

Ладно, — мыслю, — набивай себе цену,
Я ж в зачтениях мастак, слава Богу!
Приезжаем, прохожу я на сцену
И сажусь со всей культурностью сбоку.

Вот моргает мне, гляжу, председатель:
Мол, скажи своё рабочее слово!
Выхожу я
И не дробно, как дятел,
А неспешно говорю и сурово:

«Израильская, — говорю, — военщина
Известна всему свету!
Как мать, — говорю, — и как женщина
Требую их к ответу!

Который год я вдовая,
Всё счастье — мимо,
Но я стоять готовая
За дело мира!
Как мать вам заявляю и как женщина!..»

Тут отвисла у меня прямо челюсть,
Ведь бывают же такие промашки! —
Это сучий сын пижон-порученец
Перепутал в суматохе бумажки!

И не знаю — продолжать или кончить,
В зале вроде ни смешочков, ни вою...
Первый тоже, вижу, рожи не корчит,
А кивает мне своей головою!

Ну, и дал я тут галопом — по фразам
(Слава Богу, завсегда всё и то же!).
А как кончил —
Все захлопали разом,
Первый тоже — лично — сдвинул ладоши.

Опосля зазвал в свою вотчину
И сказал при всём окружении:
«Хорошо, брат, ты им дал, по-рабочему!
Очень верно осветил положение!»...

Вот такая история!

<1968>

«Интермедия первая: «О том, как Клим Петрович, укачивая своего племянника Семёна, Клавкиного сына, неожиданно для самого себя сочинил научно-фантастическую историю». (Фонограмма)»

**О ТОМ, КАК КЛИМ ПЕТРОВИЧ
СОЧИНИЛ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКУЮ
КОЛЫБЕЛЬНУЮ, УКАЧИВАЯ
СВОЕГО ПЛЕМЯННИКА —
СЕМЁНА, КЛАВКИНОГО СЫНА**

Спи, Семён, спи,
Спи, понимаешь, спи!
Спи, а то придёт Кашей,
Растудыть его в качель!
Мент приедет на «козе»,
Зафуячит в КПЗ!
Вот такие, брат, дела —
Мышка кошку родила.
Спи, Семён, спи,
Спи, понимаешь, спи!

В две тысячи семьдесят третьем году
Я вечером, Сеня, в пивную зайду,
И пива спрошу, и услышу в ответ,
Что рижского нет, и московского нет,
Но есть жигулёвское пиво —
И я просияю счастливо!

И робот-гоптун, молчалив и мордаст,
Мне пиво с горошком мочёным подаст.
И выскажусь я, так сказать, говоря:
— Не зря ж мы страдали,
И гибли не зря!
Не зря мы, глаза завидующие,
Мечтали увидеть грядущее!

Спи, Семён, спи,
Спи, понимаешь, спи!
Спи, а то придёт Кащей,
Растудыть его в качель!
Мент приедет на «козе»,
Зафуячит в КПЗ!
Вот такие, брат, дела —
Мышка кошку родила.
Спи, Семен, спи,
Спи, понимаешь, спи! Спи!..

<1971>

**О ТОМ, КАК КЛИМ ПЕТРОВИЧ
ДОБИВАЛСЯ, ЧТОБ ЕГО ЦЕХУ
ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ «ЦЕХА
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА»,
И, НЕ ДОБИВШИСЬ ЭТОГО, —
ЗАПИЛ**

...Все смеются на бюро:
— Ты ж, как витязь —
И жилплощадь, и получка по-царски!
Ну, а я им:
— Извините, подвиньтесь!
Я ж за правду хлопочу, не за цацки!
Как хотите — на доске ль, на бумаге ль,
Цельным цехом отмечайте, не лично.
Мы ж работаем на весь наш соцлагерь,
Мы ж продукцию даём на «отлично»!
И совсем мне, — говорю, — не до смеху,
Это чьё ж, — говорю, — указанье,
Чтоб такому выдающему цеху
Не присваивать почётное званье?!

А мне говорят,
(Все друзья говорят —
И Фрол, и Пахомов с Тонькою):
— Никак, — говорят, — нельзя, — говорят, —
Уж больно тут дело тонкое!

А я говорю (матком говорю!):
— Пойду, — говорю, — в обком! — говорю.

А в обкоме мне всё то же:

— Не суйся!

Не долдонь, как пономарь поминанье.

Ты ж партийный человек, а не зюзя,

Должен, всё ж таки, иметь пониманье!

Мало, что ли, пресса ихняя треплет

Всё, что делается в нашенском доме?

Скажешь — дремлет Пентагон?

Нет, не дремлет!

Он не дремлет, мать его, он на стрёме!

Как завёлся я тут с пол-оборота:

— Так и будем сачковать?!

Так и будем?!

Мы же в счёт восьмидесятого года

Выдаём свою продукцию людям!

А мне говорят:

— Ты чего, — говорят, —

Орёшь, как пастух на выпасе?!

Давай, — говорят, — молчи, — говорят, —

Сиди, — говорят, — и не рыпайся!

А я говорю, в тоске говорю:

— Продолжим наш спор в Москве! — говорю.

...Проживаюсь я в Москве, как собака.

Отсылает референт к референту:

— Ты и прав, — мне говорят, — но, однако,

Не подходит это дело к моменту.
Ну, а вздумается вашему цеху,
Скажем, — встать на юбилейную вахту?
Представляешь сам, какую оценку
Би-би-си дадут подобному факту?!

Ну, потом — про ордена, про жилплощадь,
А прощаясь, говорят на прощанье:
— Было б в мире положенье попроще,
Мы б охотно вам присвоили званье.
А так, — говорят, — ну, ты прав, — говорят, —
И продукция ваша лучшая!
Но всё ж, — говорят, — не драп, — говорят, —
А проволока колючая!..

— Ну, что ж, — говорю,
— Отбой! — говорю.
— Пойду, — говорю, —
В запой! — говорю.

Взял — и запил.

<1969?>

«Интермедия вторая, которая называется «Плач Дарьи Коломийцевой по поводу запоя Клим Петровича. А также попутно сообщение о том, какой у Клим Петровича оказался изысканный вкус». (Фонограмма)

ПЛАЧ ДАРЬИ КОЛОМИЙЦЕВОЙ ПО ПОВОДУ ЗАПОЯ ЕЁ СУПРУГА — КЛИМА ПЕТРОВИЧА

...Ой, доля моя жалкая,
Родиться бы слепой!
Такая лета жаркая —
А он пошёл в запой.

Вернусь я из магазина,
А он уже, блажной,
Поёт про Стеньку Разина
С персидскою княжной.

А жар — ну, прямо, доменный,
Ну, прямо, градом пот.
А он, дурак недоеный,
Сидит и водку пьёт.

Ну, думаю я, думаю,
Болит от мыслей грудь:
— Не будь ты, Дарья, дурую —
Придумай что-нибудь!

То охаю, то ахаю —
Спокоя нет как нет!
И вот —
Пошла я к знахарю,
И знахарь дал совет.

И в день воскресный, в утречко,
Я тот совет творю:
Вплываю, словно уточка,
И Климу говорю:

— Вставай, любезный-суженый,
Уважь свой родный дом,
Вставай давай, поужинай,
Поправься перед сном!

А что ему до времени?
Ему б нутро мочить!
Он белый свет от темени
Не может отличить!

А я его, как милочка,
Под ручки — под уздцы,
А на столе —
Бутылочка,
Грибочки, огурцы.

Ой, яблочки мочёные
С обкомовской икрой,
Стаканчики гранёные
С хрустальной игрой,

И ножички, и вилочки —
Гуляйте, караси!
Но только в той бутылочке
Не водка:
Ка-ра-син!

Ну, вынула я пробочку —
Поправься, атаман!
Себе — для вида — стопочку,
Ему — большой стакан.

— Давай, поправься, солнышко,
Давай, залей костёр!..
Он выпил всё, до доньшка,
И только нос утёр.

Грибочек — пальцем — выловил,
Завёл туманно взгляд,
Сжевал грибок
И вымолвил:
— Нет, не люблю маслят!

<1970?>

О ТОМ, КАК КЛИМ ПЕТРОВИЧ ВОССТАЛ ПРОТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЛАБОРАЗВИТЫМ СТРАНАМ

История эта очень печальная, Клим Петрович рассказывает её в состоянии крайнего раздражения и позволяет себе поэтому некоторые не вполне парламентские выражения.

...Прямо, думал я одно — быть бы живу,
Прямо, думал — до нутря просолюся!
А мотались мы тогда по Алжиру
С делегацией ЦК профсоюза.

Речи-встречи, то да сё, кроем НАТО,
Но вконец оголодал я, катаясь.
Мне ж лягушек ихних на дух не надо,
Я им, сукиным детям, не китаец!

Тут и Мао, сам-рассам, окосел бы!
Быть бы живу, говорю, не до жира!
И одно моё спасенье —
Консервы,
Что мне Дарья в чемодан положила.

Но случилось, что она, с переляку,
Положила мне одну лишь салаку.
Я в отеле их засратом, в «Паласе»,
Запираюсь, как вернёмся, в палате,
Помолюсь, как говорится, Аллаху
И рубаю в маринаде салаку.

А наутро я от жажды мычу,
И хоть воду мне давай, хоть мочу!

Ну, извёлся я!
И как-то, под вечер,
Не стерпел и очутился в продмаге...
Я ж не лысы й, мать их так!
Я ж не вечен!
Я ж могу и помереть с той салаки!

Вот стою я, прямо злой, как Малюта,
То мне зябко в пинжаке, то мне жарко.
Хоть дерьмовая, а всё же — валюта,
Всё же тратить исключительно жалко!

И беру я что-то вроде закуски,
Захудаленькую баночку, с краю.
Но написано на ней не по-русски,
А по-ихнему я плохо читаю.

Подхожу я тут к одной синьорите:
— Извините, мол, комбьен,
Битте-дритте,
Подскажите, мол, не с мясом лч Банка? .
А она в ответ кивает, засранка!

И пошел я, как в беспамятстве, к кассе,
И очнулся лишь в палате, в «Паласе» —
Вот на койке я сажу нагишом
И орудую консервным ножом!

И до самого рассветного часа
Матерился я в ту ночь, как собака.
Оказалось в этой банке не мясо,
Оказалась в этой банке салака!

И не где-нибудь в Бразилии «маде»,
А написано ж внизу, на наклейке,
Что, мол, «маде» в ЭсЭсЭр,
В маринаде,
В Ленинграде,
Рупь четыре копейки!

...Нет уж, братцы, надо ездить поближе,
Не на край, расперемать его, света!
Мы ж им — гадам — помогаем,
И мы же
Пропадаем, как клопы, через это!

Я-то думал — как-никак заграница,
Думал, память, как-никак, сохранится,
Оказалось, что они, голодранцы,
Понимают так, что мы — иностранцы!

И вся жизнь их заграничная — лажа!
Даже хуже — извините — чем наша!

<1970?>

**ИЗБРАННЫЕ ОТРЫВКИ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ
КЛИМА ПЕТРОВИЧА**

**1. ИЗ РЕЧИ НА ВСТРЕЧЕ
С ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ**

...Попробуйте в цехе найти чувака,
Который бы мыслил не то!
Мы мыслим, как наше родное ЦК,
И лично...
Вы знаете — кто!

...И пусть кой-чего не хватает пока,
Мы с Лениным в сердце зато!
И мыслим, как наше родное ЦК,
И лично...
Вы знаете — кто!

...Чтоб нашей победы приблизить срока,
Давайте ж трудиться на то!
Давайте же мыслить, как наше ЦК,
И лично
Вы знаете — кто!..

<1970?>

2. ИЗ БЕСЕДЫ С ТУРИСТАМИ ИЗ ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

...А уж пыль-то вы пускать мастера!
Мастера вы!
Да не те времена!
Мы на проценты сравним, мистера,
Так и нет у вас, пардон, ни хрена!..
Потому что всё у вас —
Напоказ.
А народ для вас — ничто и никто.
А у нас — природный газ,
Это раз.
И ещё — природный газ...
И опять — природный газ...
И по процентам, как раз,
Отстаёте вы от нас
Лет на сто!

<1970?>

Опять меня терзают страхи
И ломит голову, хоть плачь!
Опять мне снится, что на плахе
Меня с петлёю ждёт палач.

Палач в нейлоновой рубаше,
С багровой заячьей губой...
Опять меня терзают страхи —
И я опять бросаюсь в бой.

<1970>

«Первая песня — она, значит, в цикле, который называется «Слушая Баха». Он состоит из песни и стихотворения. Значит, первая песня, которая называется «По образу и подобию». (Фонограмма)

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ,
или, как было написано на воротах Бухенвальда:
«Jedem das Seine» — «Каждому — своё».

Начинается день и дневные дела,
Но треклятая месса уснуть не дала.
Ломит поясницу и ноет бок,
Бесконечной стиркою дом пропах...
— С добрым утром, Бах, — говорит Бог.
— С добрым утром, Бог, — говорит Бах.
С добрым утром!..

...А над нами с утра, а над нами с утра,
Как кричит вороньё на пожарище,
Голосят рупора, голосят рупора:
«С добрым утром! Вставайте, товарищи!»

А потом, досыпая, мы едем в метро,
В электричке, в трамвае, в автобусе,

И орут, выворачивая нутро,
Рупора о победах и доблести.

И спросонья бывает такая пора,
Что готов я в припадке отчаянья
Посшибать рупора, посбивать рупора —
И услышать прекрасность молчания...

Под попреки жены исхитрись-ка изволь
Сочинить переход из це-дура в ха-моль!..
От семейных ссор, от долгов и склок
Никуда не деться, и дело — швах...
— Но не печалься, Бах, — говорит Бог.
— Да уж ладно, Бог, — говорит Бах.
Да уж ладно!..

...А у бабки инсульт, и хворает жена,
И того не хватает, и этого,
И лекарства нужны, и больница нужна,
Только место не светит покедова.

И меня в перерыв вызывают в местком,
Ходит пред по месткому присядкою:
«Раз уж дело такое, то мы подмогнём,
Безвозвратную ссудим десяткою».

И кассир мне деньгу отслюнит по рублю,
Ухмыльнётся ухмылкой грабительской.
Я пол-литра куплю, валидолу куплю,
Двести сыра и двести «Любительской»...

А пронзительный ветер, предвестник зимы,
Дует в двери капеллы Святого Фомы,
И поёт орган, что всему итог —
Это вечный сон, это тлен и прах!

— Но не кощунствуй, Бах! — говорит Бог.
— А ты дослушай, Бог! — говорит Бах.
Ты дослушай!..

...А у суки-соседки гулянка в соку,
Девки воют, хихикают хахали.
Я пол-литра открою, нарежу сырку,
Дам жене валидолу на сахаре,

И по первой налью, и налью по второй,
И сырку, и колбаски покушаю,
И о том, что я самый геройский герой,
Передачу охотно послушаю.

И трофейную трубку свою запалю,
Посмеюсь над мычащею бабкою,
И ещё раз налью, и ещё раз налью,
И к соседке схожу за добавкою...

Он снимает камзол, он сдирает парик.
Дети шепчутся в детской: «Вернулся старик...»
Что ж, ему за сорок — немалый срок,
Синева, как пыль, на его губах...
— Доброй ночи, Бах, — говорит Бог.
— Доброй ночи, Бог, — говорит Бах.
Доброй ночи!..

<Декабрь 1970>

«Песня называется «Сто первый псалом». Посвящается одному прекрасному поэту — Борису Чичибабину, который сейчас работает бухгалтером в трамвайно-троллейбусном парке в городе Харькове». (Фонограмма)

ПСАЛОМ

Б. Чичибабину

Я вышел на поиски Бога.
В предгорьи уже рассвело.
А нужно мне было немного —
Две пригоршни глины всего.

И с гор я спустился в долину,
Развёл над рекою костёр,
И красную вязкую глину
В ладонях размял и растёр.

Что знал я в ту пору о Боге,
На тихой заре бытия?
Я вылепил руки и ноги,
И голову вылепил я.

И, полон предчувствием смутным,
Мечтал я, при свете огня,
Что будет Он добрым и мудрым,
Что Он пожалеет меня!

Когда ж он померк, этот длинный
День страхов, надежд и скорбей —
Мой Бог, сотворённый из глины,
Сказал мне:
— Иди и убей!..

И канули годы.
И снова —
Всё так же, но только грубей,
Мой Бог, сотворённый из слова,
Твердил мне:
— Иди и убей!

И шёл я дорогою праха,
Мне в платье впивался репей,
И Бог, сотворённый из страха,
Шептал мне:
— Иди и убей!

Но вновь я печально и строго
С утра выхожу за порог —
На поиски доброго Бога.
И — ах, да поможет мне Бог!

15 января 1971

«Это второй псалом... из книги псалмов, которые, значит, пытаюсь сочинять. Ну, вот, он называется «Слушая Баха». (Фонограмма)

СЛУШАЯ БАХА

М. Ростроповичу

На стене прозвенела гитара,
Зацвели на обоях цветы.
Одиночество Божьего дара —
Как прекрасно
И горестно ты!

Есть ли в мире волшебней,
Чем это
(Всей докуке земной вопреки), —
Одиночество звука и цвета
И паденья последней строки?

Отправляется небыль в дорогу
И становится былью потом.
Кто же смеет указывать Богу
И заведовать Божьим путём?!

Но к словам, огранённым строкою,
Но к холсту, превращённому в дым, —
Так легко прикоснуться рукою,
И соблазн этот так нестерпим!

И не знают вельможные каты,
Что не всякая близость близка,
И что в храм ре-минорной токкаты
Недействительны их пропуска!

<1971?>

«...История этой песни — особенная история. Она была написана в бреду. Это серьёзно, потому что мне действительно очень было худо — я помирал в городе Ленинграде, мне занесли тяжелейшую инфекцию... меня просто спасли. Это были замечательные люди, великолепные просто, гениальные. И я им вечно буду благодарен, вечно буду кланяться в ноги. Я не мог читать, я не мог ничего. Я единственно что, значит, — сочинял вот эту балладу. Причём я давно хотел её сочинить, потому что мне всегда нравился жанр такой готической баллады, страшной баллады, которую писал в русской поэзии только Василий Андреевич Жуковский — «Громобой», «Ундина» и так далее. А потом её больше не повторяли, а мне хотелось написать такую страшную балладу. Вот, значит, я написал такую лагерную балладу...» (Фонограмма)

КОРОЛЕВА МАТЕРИКА

Лагерная баллада, написанная в бреду

Когда затихает к утру пурга
И тайга сопит, как сурок,
И ещё до подъёма часа полтора,
А это немалый срок,
И спят зэка, как в последний раз —
Натянул бушлат — и пока! —
И вохровцы спят, как в последний раз —
Научились спать у зэка.
И начальнички спят, брови спят,
И лысины, и усы,
И спят сапоги, и собаки спят,
Уткнувши в лапы носы.
И тачки спят, и лопаты спят,
И сосны пятятся в тень,
И ещё не пора, не пора, не пора
Начинать им доблестный день.

И один лишь «попка»¹ на вышке торчит,
Но ему не до спящих масс,
Он занят любовью — по младости лет
Свистит и дробит на Марс.
И вот в этот-то час, как глухая дрожь,
Проплывает во мгле тоска,
И тогда просыпается Белая Вошь,
Повелительница зэка,
А мы её называли все —
Королева Материка!
Откуда всевластье её взялось,
Пойди, расспроси иных,
Но пришла она первой в эти края
И последней оставит их...
Когда сложат из тачек и нар костёр
И, волчий забыв раздор,
Станут рядом вохровцы и зэка
И напишут в тот костёр.
Сперва за себя, а потом за тех,
Кто пьёт теперь Божий морс,
Кого шлёпнули влёт, кто ушёл под лёд,
Кто в дохлую землю вмёрз,
Кого Колыма от аза до аза
Вгоняла в горючий пот,
О, как они ссали б, закрыв глаза,
Как горлица воду пьёт!
А потом пропоёт неслышно труба
И расступится рвань и голь,
И Её Величество Белая Вошь
Подойдёт и войдёт в огонь,

¹ «Попка» — вертухай, часовой. (Прим. автора.)

И взметнутся в небо тысячи искр,
Но не просто, не как-нибудь —
Навсегда крестом над Млечным Путём
Протянется Вшивый Путь!

Говорят, что когда-то, в тридцать седьмом,
В том самом лихом году,
Когда покойников в штабеля
Укладывали на льду,
Когда покрывала тайга
От доблестного труда, —
В тот год к Королеве пришла любовь,
Однажды и навсегда.
Он сам напросился служить в конвой,
Он сам пожелал в Дальлаг,
И ему с Королевой крутить любовь
Ну просто нельзя никак.
Он в нагрудном мешочке носил чеснок,
И деньги, и партбилет,
А Она — Королева, и ей плевать —
Хочет он или нет!
И когда его ночью столкнули в клеть
(Зачлись подлецу дела),
Она до утра на рыжем снегу
Слёзы над ним лила.
А утром пришли, чтоб его зарыть,
Смотрят, а тела нет,
И куда он исчез — не узнал никто,
И это — Её секрет!
А ещё говорят, что какой-то чмырь,
Начальничек из Москвы,
Решил объявить Королеве войну,
Пошёл, так сказать, «на вы».
Он гонял на прожарку и в зоне и за,
Он вопил и орал: «Даёшь!»

А был бы начальничек чуть поумней,
Он пошёл бы с ней на делёж, —
Чтобы пайку им пополам рубить
И в трубу пополам трубить.
Но начальник умным не может быть,
Потому что — не может быть.
Он надменно верит, что он — не он,
А ещё миллион и он,
И каждое слово его — миллион,
И каждый шаг — миллион.
Но когда ты один, и ночь за окном
От чёрной пурги хмельна,
Тогда ты один и тогда беги,
Ибо дело твоё — хана!
Тогда тебя не спасёт миллион,
Не отобьёт конвой!
И всю ночь, говорят, над зоною плыл
Тоскливый и страшный вой...
Его нашли в одном сапоге,
И от страха — рот до ушей,
И на вздувшейся шее тугой петлёй
Удавка из белых вшей...
И никто с тех пор не вопит: «Даёшь!»
И смеётся исподтишка
Её Величество Белая Вошь,
Повелительница зэка.
Вот тогда Её и прозвали все —
Королева Материка.

Когда-нибудь все, кто придёт назад,
И кто не придёт назад,
Мы в честь Её устроим парад,
И это будет парад!
По всей Вселенной (валяй, круши!),

Свой доблестный славя труд,
Её Величества Белой Вши
Подданные пройдут.
Её Величества Белой Вши
Данники всех времён...
А это сумеет любой дурак —
По заду втянуть ремнём,
А это сумеет любой дурак —
Палить в безоружных всласть,
Но мы-то знаем, какая власть
Была и взаправду власть!
И пускай нам другие дают срока,
Ты нам вечный покой даёшь,
Ты, Повелительница зэка,
Ваше Величество Белая Вошь!
Наше Величество Белая Вошь!
Королева Материка!

<1971>

«...Вот. И там [в книге «Поколение обречённых»]... её назвали вот прямо так, как я её не собирался называть. Я по-прежнему её не буду называть, поскольку я по-прежнему, значит, не считаю, что это так уж напрямую адресовано одному поэту. Она по-прежнему называется «Так жили поэты». (Фонограмма)

«...Там только одно, значит, первое слово изменено, в смысле блоковской строчки... «Там жили поэты...» — у Блока, а у меня песня называется «Так жили поэты». (Фонограмма)

ТАК ЖИЛИ ПОЭТЫ

В майский вечер, пронзительно дымный,
Всех побегов герой, всех погонь,
Как он мчал, бесноватый и дивный,
С золотыми копытами конь!

И металась могучая грива
На ветру языками огня,
И звенела цыганская гривна,
Заплетённая в гриву коня.

Воплощенье весёлого гнева,
Не крещённый позорным кнутом,
Как он мчал — всё налево, налево,
И скрывался из виду потом.

Он, бывало, нам снился ночами,
Как живой — от копыт до седла...
Впрочем, всё это было в начале,
А начало прекрасно всегда.

Но приходит с годами прозреньё,
И томит наши души оно,
Словно горькое, трезвое зелье
Подливает в хмельное вино.

Постарели мы и полысели,
И погашен волшебный огонь.
Лишь кружит на своей карусели
Сам себе опостылевший конь!

Ни печали не зная, ни гнева,
По-собачьи виляя хвостом,
Он кружит — всё налево, налево
И направо, направо потом.

И унылый сморчок-бедолага,
Медяками в кармане звеня,
Карусельщик — майор из ГУЛАГа —
Знай гоняет по кругу коня!

В круглый мир, намалёванный кругло,
Круглый вход охраняет конвой...
И топочет дурацкая кукла,
И кружит деревянная кукла,
Притворяясь живой.

<1971>

Алёна Архангельская:

«До сентября 1971 года гонений со стороны официальных властей не было — запускался фильм «Шаляпин» по сценарию Галича, в издательстве «Искусство» готовилась к изданию книга отца. Но когда член Политбюро Полянский на свадьбе дочери прослушал песни Галича, началось повальное запрещение его выступлений, был положен на полку фильм «Шаляпин». Тогда отец отнёсся ко всему этому с большим удивлением. Он был эмоциональным человеком и говорил, что его спасало собственное легкомыслие. Странно, что его многие изображают мизантропом».

**ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ,
ИЛИ КАК ЭТО ВСЁ БЫЛО
НА САМОМ ДЕЛЕ**

Рассказ закройщика

Ну, была она жуткою шельмою,
Надевалась в джерси и в мохер,
И звалась эта дамочка Шейлою,
На гнилой иностранный манер.

Отличалась упрямством отчаянным —
Что захочем, мол, то и возьмём...
Её маму за связь с англичанином
Залопатили в сорок восьмом.

Было всё — и уютная кочка,
Фотоснимочки в профиль и в фас,
А по ней и не скажешь нисколько,
Прямо дамочка — маде ин Франс!

Не стирала по знакомым пелёнки,
А служила в ателье на приёмке,
Оформляла исключительно шибко
И очки ещё носила для шика.

И оправка на очках роговая —
Словом, дамочка вполне роковая,
Роковая, говорю, роковая,
Роковая, прямо как таковая!

Только сердце ей вроде как заперли.
На признанья смеялась — враньё!
Два закройщика с брючником запили
Исключительно через неё.

Не смеяться бы надо — молиться ей,
Жизнь её и прижала за то:
Вот однажды сержант из милиции
Сдал в пошив ей букле на пальто.

И она, хоть прикинулась чинною,
Но бросала украдкой взгляд.
Был и впрямь он заметным мужчиною —
Рост четвёртый, размер пятьдесят.

И начались тут у них трали-вали,
Совершенно, то есть, стыд потеряли,
Позабыли, что для нашей эпохи
Не годятся эти ахи да охи.

Он трезвонит ей, от дел отвлекает:
Сообщите, мол, как жизнь протекает?
Протекает, говорит, протекает...
Мы-то знаем — на чего намекает!

Вот однажды сержант из милиции
У «Динамо» стоял на посту,
Натурально, при всём амуниции,
Со свистком мелодичным во рту.

Вот он видит — идёт его Шейлочка
И, заметьте, идёт не одна!
Он встряхнул головой хорошенечко, —
Видит — это и вправду она.

И тогда, как алкаш на посудинку,
Невзирая на свист и гудки,
Он бросается к Шейлину спутнику
И хватает его за грудки!

Ой, сержант, вы пальцем в небо попали!
То ж не хахаль был, а Шейлин папаня!
Он приехал повидаться с дочуркой
И не ждал такой проделки нечуткой!

Он приехал из родимого Глазго,
А ему суют по рылу, как нáзло,
Прямо нáзло, говорю, прямо нáзло,
Прямо ихней пропаганде как масло!

Ну, начáлись тут трения с Лондоном,
Взяли наших посольских в клещи!
Раз, мол, вы оскорбляете лорда нам,
Мы вам тоже написаем в щи!

А как приняли лорды решение
Выслать этих, и третьих, и др., —
Наш сержант получил повышение,
Как борец за прогресс и за мир!

И никто и не вспомнил о Шейлочке,
Только брючник надрался — балда!
Ну, а Шейлочку в «раковой шеечке»
Увезли неизвестно куда!

Приходили два хмыря из Минздрава —
Чуть не сутки проторчали у зава,
Он нам после доложил на летучке,
Что у ней, мол, со здоровьем лучше.

Это ж с психа, говорит, ваша дружба
Не встречала в ней ответа, как нужно!
Так, как нужно, говорит, так, как нужно...
Ох, до чего ж всё, братцы, тошно и скушно!

<1971>

«У меня есть несколько стихотворений, посвящённых памяти Бориса Леонидовича... Так или иначе я к нему бережно и любовно прикасаюсь в разных своих произведениях. Но вот это просто даже стихотворение, посвящённое не столько ему, сколько его литературному герою. Называется «Памяти доктора Живаго». (Фонограмма)

«Осип Эмилевич Мандельштам когда-то сказал горестные и гордые слова о том, что нигде в мире так серьёзно не относятся к стихам, как в России. В России за стихи даже убивают. И горестная история многих десятков русских писателей и поэтов вполне подтверждает эти слова. Я несколько... У меня есть целый цикл, который так вот и называется «Литераторские мостки», и

посвящён он памяти ряда поэтов, погибших, затравленных. Но начну я опять-таки со стихотворения, которое тоже входит в цикл «Литераторские мостки», но является стихотворением памяти литературного героя, а не писателя». (Фонограмма)

ПАМЯТИ ЖИВАГО

О. Ивинской

Два вола, впряжённые в арбу, медленно подымались на крутой холм. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. — «Из Тегерана». — «Что вы везёте?» — «Грибоеда».

А. Пушкин.

«Путешествие в Арзрум»

Опять над Москвою пожары,
И грязная наледь в крови.
И это уже не татары,
Похуже Мамая — свои!

В предчувствии гибели низкой
Октябрь разыгрался с утра.
Цепочкой по Малой Никитской
Прорваться хотят юнкера.

Не надо, оставьте, оставить!
Мы загодя знаем итог!
...А снегу придётся растаять
И с кровью уплыть в водосток...

Но катится снова и снова
— Ура! — сквозь глухую пальбу,

И чёлка московского сноба
Под выстрелы пляшет на лбу!

Из окон, ворот, подворотен
Глядит, притаясь, дребедень...
А суть мы потом наворотим
И тень наведём на плетень!

И станет далёкое близким,
И кровь притворится водой,
Когда по Ямским и Грузинским
Покой обернётся бедой!

И станет преступное дерзким,
И будет обидно, хоть плачь,
Когда протрусит Камергерским
В испарине страха лихач!

Свернёт на Тверскую, к Страстному,
Трясаясь, матерясь и дрожа...
И это положат в основу
Рассказа о днях мятежа.

А ты, до беспамятства рада,
У Иверской купишь цветы,
Сидельцев Охотного ряда
Поздравишь с победою ты.

Ты скажешь: «Пахнуло озоном,
Трудящимся дали права!»
И город малиновым звоном
Ответит на эти слова.

О, Боже мой, Боже мой, Боже!
Кто выдумал эту игру?!
И снова погода, похоже,
Испортиться хочет к утру.

Предвестьем Всевышнего гнева
Посыплется с неба крупа,
У церкви Бориса и Глеба
Сойдётся в молчанье толпа.

И тут ты заплачешь. И даже
Пригнёшься от боли тупой.
А кто-то, нахальный и ражий,
Взмахнёт картузом над толпой!

Нахальный, воинственный, ражий
Пойдёт баламутить народ!
...Повозки с кровавой поклажей
Скрипят у Никитских ворот...

Так вот она, ваша победа!
«Заря долгожданного дня!»
Кого там везут? —

Грибоеда.

Кого отпевают? —

Меня!

<Ноябрь 1971>

* * *

Кошачьими лапами вербы
Украшен фанерный лоток,
Шампанского марки «Ихь штэрбе»¹
Ещё остаётся глоток.

¹ «Я умираю» (нем.). Последние слова А.П.Чехова: «Ich sterbe... давно я не пил шампанского...» (Прим. сост.)

А я и пригубить не смею
Смертельное это вино.
Подобно лукавому змею,
Меня искушает оно!

«Подумаешь, пахнет весною,
И вербой торгуют враздрыг!
Во первых строках — привозною,
И дело не в том, во-вторых.

Ни в медленном тлении вёсен,
Ни в тихом бряцанье строки,
Ни в медленном таянье вёсел
Над жёлтой купелью реки —

Ни лада, ни смысла, ни склада,
Как в громе, гремящем вдали,
А только и есть, что ограда
Да мёрзлые комья земли.

А только и есть, что ограда
Да склепа сырое жильё...
Ты смертен, и это награда
Тебе — за бессмертье твоё...»

<Ноябрь 1971>

«У меня есть такое просто заданное себе правило — обязательно в конце месяца декабря, в последних числах, писать какую-нибудь песню. Вот эта песня называется «Песня исхода». (Фонограмма 1972 года)

«Начинается это [цикл песен и стихов «На реках вавилонских»] со стихотворения, которое написано уже почти что два с половиной года назад, в конце декабря 1971 года, незадолго до моего исключения из

*Союза. И оно отражает настроение автора в ту пору.
Потом мрачная атмосфера будет сгущаться». (Фоно-
грамма 1974 года)*

ПЕСНЯ ИСХОДА

Галиньке и Виктору

...Но Идущий за мной
сильнее меня...

От Матфея 3, 11

Уезжаете?! Уезжайте —
За таможни и облака!
От прощальных рукопожатий
Похудела моя рука.

Я не плакальщик и не стража
И в литавры не стану бить.
Уезжаете? Воля ваша!
Значит, так по сему и быть!

И плевать, что на сердце кисло,
Что прощанье как в горле ком...
Больше нету ни сил, ни смысла
Ставить ставку на этот кон.

Разыграешься только-только,
А уже из колоды — прыг! —
Не семёрка, не туз, не тройка —
Окаянная дама пик!

И от этих усатых шатий,
От анкет и ночных тревог —
Уезжаете? Уезжайте!
Улетайте — и дай вам Бог!

Улетайте к неверной правде
От взаправдашних мёрзлых зон...
Только мёртвых своих оставьте —
Не тревожьте их мёртвый сон:

Там, в Понарах и в Бабьем Яре,
Где поныне и следа нет, —
Лишь пронзительный запах гари
Будет жить ещё сотни лет,

В Казахстане и в Магадане,
Среди снега и ковыля, —
Разве есть земля богоданней,
Чем безбожная та земля? —

И под мраморным обелиском
На распутице площадей,
Где, крещённых единым списком,
Превратила их смерть в людей!..

А над ними шумят берёзы —
У деревьев своё родство, —
А над ними звенят морозы
На Крещение и Рождество.

...Я стою на пороге года —
Ваш сородич и ваш изгой,
Ваш последний певец исхода...
Но за мною придёт Другой!

На глаза нахлобучив шляпу,
Дерзкой рыбой, пробившей лёд,
Он пройдёт не спеша по трапу
В отлетающий самолёт!

Я стою... Велика ли странность?!
Я привычно машу рукой.

Уезжайте! А я останусь.
Я на этой земле останусь.
Кто-то ж должен, презрев усталость,
Наших мёртвых стеречь покой!

17 декабря 1971

Елена Боннэр:

«А вскоре пришло 29 декабря, день, когда в комнате № 8 — Дубовый зал, по-моему, называется — вершили писатели Сашину судьбу. Потому что я думаю, что именно решение, принятое в этой комнате, лишило его Москвы, которую он любил, — очень любил, он был москвич до кончиков ногтей, — лишило Родины. И может быть, привело к его смерти».

«В здании Центрального Дома литераторов <...> наверху, на втором этаже, в комнате номер восемь, которую ещё называют Дубовым залом, шло заседание секретариата Московского отделения Союза советских писателей, и вопрос на повестке дня стоял единственный: об исключении писателя Галича Александра Аркадьевича из членов Союза советских писателей за несоответствие его — Галича — высокому званию члена данного Союза.

...Я сидел в удобном кресле, курил и с интересом слушал, что говорил обо мне Аркадий Васильев — тот самый, что выступал общественным обвинителем на процессе Синявского и Даниэля; что кричал обо мне Лесючевский, которого в конце пятидесятых годов чуть было тоже, под горячую руку, не исключили из Союза, когда была доказана его плодотворная деятельность в сталинские годы в качестве стукача и доносчика, но потом его, конечно, простили — такие люди всегда пригодятся — и даже назначили директором издатель-

ства «Советский писатель» и ввели в члены секретариата Московского отделения.

Мне было крайне интересно узнать, что думает обо мне неистовый человеконенавистник Николай Грибачёв. А он думал обо мне, бедном, очень плохо. Он просто ужасно обо мне думал!» («Генеральная репетиция»)

«...Было четыре человека, которые проголосовали против моего исключения. Это были: Валентин Петрович Катаев, Агния Барто — поэтесса, такой писатель-прозаик Рекемчук Александр и драматург Алексей Арбузов, — они проголосовали против моего исключения, за строгий выговор. Хотя Арбузов вёл себя необыкновенно подло (а нас с ним связывают долгие годы совместной работы), он говорил о том, что меня, конечно, нужно исключить, но вот эти долгие годы, они не дают ему права и возможности поднять руку за моё исключение». (Из передачи на радио «Свобода» от 28 декабря 1974 года)

«...Арбузов возьмёт реванш и назовёт меня «мародером».

В доказательство он процитирует строчки из песни «Облака»:

Я подковой вмёрз в санный след,
В лёд, что я кайлом ковырял...
Ведь недаром я двадцать лет
Протрубил по тем лагерям!..

— Но я же знаю Галича с сорокового года! — патетически воскликнет Арбузов. — Я же прекрасно знаю, что он не сидел!..

Правильно, Алексей Николаевич, не сидел! Вот если бы сидел и мстил — это вашему пониманию было бы ещё доступно! А вот так, просто взваливать на себя чужую боль, класть «живот за други своя» — что за чушь!

Потом голосом, исполненным боли и горечи, Арбузов

скажет ещё несколько прочувствованных слов о том, как потрясён он глубиной моего падения, как не спал всю ночь, готовясь к этому сегодняшнему судилищу.

Он будет так убедительно скорбеть, что все выступающие после него, словно позабыв, на какой предмет они здесь собрались, станут говорить не столько обо мне и моих прегрешениях, сколько о том, как потрясла и взволновала их речь Арбузова, будут сочувствовать ему и стараться помочь». («Генеральная репетиция»)

«Вот. Они проголосовали против. Тогда им сказали, что нет, подождите, останьтесь. Мы будем переголосовывать. Мы вам сейчас кое-что расскажем, чего вы не знаете. Ну, они насторожились, они ясно уже решили — сейчас им расскажут детективный рассказ, как я где-нибудь туда, в какое-нибудь дупло, прятал секретные документы, получал за это валюту и меха, но... Но им сказали одно-единственное, так сказать, им открыли. Им сказали:

— Видите, вы, очевидно, не в курсе, — сказали им, — там просили, чтоб решение было единогласным.

Вот всё, что им открыли, дополнительные сведения, которые они получили. Ну, раз там просили, то, как говорят в Советском Союзе, просьбу начальства надо уважить. Просьбу уважили, проголосовали, и уже все были за моё исключение...» (Из передачи на радио «Свобода» от 28 декабря 1974 года)

Елена Боннэр:

«В вестибюле стояли я и Сара Бабёньшева. И я выкурила столько пачек, сколько можно за это время выкурить... Загнанные в этом пространстве вестибюля — от гардероба до гардероба. Тогда гардероб был с двух сторон. Сейчас, когда я слышу или читаю некоторые блаженно-радостные воспоминания о Саше, мне очень

хочется крикнуть: «Вас там не стояло!» Многих. И даже многих членов комиссии по его литературному наследству. Это правда, их там «не стояло»... И когда Саша вышел, он шёл как слепой, не видя людей, которые чуть-чуть от него шарахались. Все ведь знали, что там происходит, и никто в вестибюле, кроме меня с Сарой, к нему не бросился. И вот он положил руки нам на плечи (Сара невысокая, ниже меня) и сказал: «Девочки, пойдёмте». Он весь трясся и ничего не говорил. В машине он всё курил. И только дома начался рассказ. А фраза «девочки, пойдёмте» — это отряхнуть, больше никогда не войти в эту дверь».

**ПЕСЕНКА-МОЛИТВА,
КОТОРУЮ НАДО ПРОЧЕСТЬ
ПЕРЕД САМЫМ ОТЛЁТОМ**

Галиньке

Когда — под крылом — добежит земля
К взлётному рубежу,
Зажмурь глаза и представь, что я
Рядом с тобой сижу.

Пилот на табло зажжёт огоньки —
Искусственную зарю,
А я касаюсь твоей руки
И шёпотом говорю:

— Помолимся вместе, чтоб этот путь
Стал Божьей твоей судьбой.
Помолимся тихо, чтоб где-нибудь
Нам свидеться вновь с тобой!
Я твёрдо верю, что будет так, —
Всей силой моей любви!
Твой каждый вздох и твой каждый шаг,
Господи, благослови!

И слухам о смерти моей не верь —
Её не допустит Бог!
Ещё ты, я знаю, откроешь дверь
Однажды — на мой звонок!
Ещё очистительная гроза
Подарит нам правды свет!
Да будет так!
И открой глаза:
Моя — на ладони твоей — слеза,
Но нет меня рядом, нет!

Москва, 9 января 1972

* * *

Когда-нибудь дошлый историк
Возьмёт и напишет про нас,
И будет насмешливо-горек
Его неспешный рассказ.

Напишет он с чувством и толком,
Ошибки учтёт наперёд,
И всё он расставит по полкам,
И всех по костям разберёт.

И вылезет сразу в серёдку
Та главная, наглая кость,
Как будто окурок в селёдку
Засунет упившийся гость.

Чего уж, казалось бы, проще —
Отбросить её и забыть?
Но в горле застрявшие мощи
Забвенья вином не запить.

А далее — кости поплоче
Пойдут по сравнению с той, —
Поплоше, но странно похожи
Бесстыдной своей наготой.

Обмылки, огрызки, обноски,
Ошмётки чужого огня...
А в сноске — вот именно в сноске —
Помянет историк меня.

Так значит — за эту вот строчку,
За жалкую каплю чернил,
Воздвиг я себе одиночку
И крест свой на плечи взвалил.

Так значит — за строчку вот эту,
Что бросит мне время на чай,
Весёлому, щедрому свету
Сказал я однажды: «Прощай!»

И милых до срока состарил,
И с песней шагнул за предел,
И любящих плакать заставил,
И слышать их плач не хотел.

Но будут мои подголоски
Звенеть и до Судного дня...
И даже неважно, что в сноске
Историк не вспомнит меня!

15 января 1972

«...Написал я её когда-то, года тому два назад, ещё живя в Москве, на улице Черняховского. Написал её почти как упражнение, потому что даже в словаре поэтических терминов сказано, что эта поэтическая стопа — пэон четвёртый — встречается в русской поэзии чрезвычайно

*редко, она была сочинена специально, ею пользовался поэт
Иннокентий Анненский...» (Из передачи на радио «Свобо-
да» от 21 октября 1975 года)*

НОМЕРА

И. Б.

Вьюга листья на крыльцо намела,
Глупый ворон прилетел под окно
И выкаркивает мне номера
Телефонов, что умолкли давно.

Словно сдвинулись во мгле полюса,
Словно сшиблись над огнём топоры —
Оживают в тишине голоса
Телефонов довоенной поры.

И, внезапно обретая черты,
Шепелявит озорной шепоток:
— Пять-тринадцать-сорок три, это ты?
Ровно в восемь приходи на каток!

Пляшут галочки следы на снегу,
Ветер ставнею стучит на бегу.
Ровно в восемь я прийти не могу...
Да и в девять я прийти не могу!

Ты напрасно в телефон не дыши:
На заброшенном катке ни души,
И давно уже свои «бегаши»
Я старьевщику отдал за гроши.

И совсем я говорю не с тобой,
А с надменной телефонной судьбой.
Я приказываю:
— Дайте отбой!

Умоляю:
— Поскорее, отбой!

Но печально из ночной темноты
Как надежда,
И упрёк,
И итог:
— Пять-тринадцать-сорок три, это ты?
Ровно в восемь приходи на каток!

<1972?>

*«Второе стихотворение, посвящённое памяти Бориса Леонидовича [Пастернака], называется «Старый принц».
(Фонограмма)*

СТАРЫЙ ПРИНЦ

Карусель городов и гостиниц,
Запах грима и пыль париков...
Я кружу, как подбитый эсминец,
Далеко от родных берегов.

Чья-то мина сработала чисто,
И, должно быть, впервые всерьёз
В дервенеющих пальцах радиста
Дребезжит безнадёжное SOS.

Видно, старость — жестокий гостинец,
Не повесишь на гвоздь, как пальто.
Я тону, поражённый эсминец,
Но об этом не знает никто!

Где-то слушают чьи-то приказы,
И на стендах анонсов мазня,
И стоят терпеливо у кассы
Те, кто всё ещё верят в меня.

Сколько было дорог, и отелей,
И постелей, и мерзких простынь,
Скольких я разномастных Офелий
Навсегда отослал в монастырь!

Вот придворные пятаются задом,
Сыплют пудру с фальшивых седин,
Вот уходят статисты, — и с залом
Остаюсь я один на один.

Я один! И пустые подмости.
Мне судьбу этой драмы решать...
И уже на галёрке подростки
Забывают на время дышать.

Цепenea от старческой астмы,
Я стою в перекрестье огня.
Захудалые, вялые астры
Ждут в актёрской уборной меня.

Много было их, нежных и сирых,
Знавших славу мою и позор.
Я стою — и собраться не в силах,
И не слышу, что шепчет суфлёр.

Но в насмешку над немощным телом
Вдруг — по коже — волненья озноб!
Снова слово становится делом
И грозит потрясеньем основ!

И уже не по тексту Шекспира
(Я и помнить его не хочу), —
Гражданин полоумного мира,
Я одними губами кричу:

— Распалась связь времён!..

И морозец, морозец по коже,
И дрожит занесённый кулак,

И шипят возмущённые ложи:
— Он наврал, у Шекспира не так!

Но галёрка простит оговорки,
Сопричастна греху моему...
А в эсминце трещат переборки,
И волна накрывает корму.

26 января 1972

* * *

Ты прокашляйся, февраль, прометелься,
Грянь морозом на ходу, с поворотца!
Промотали мы своё прометейство,
Проворонили своё первородство!

Что ж, утешимся больничной палатой,
Тем, что можно ни на что не решаться...
Как объелись чечевичной баландой —
Так не в силах до сих пор отдышаться!

<1972>

«Я был болен, лежал. Это было через несколько месяцев... Мне позвонили из Союза кинематографистов и сказали, что меня вызывают на секретариат. Я сказал, что не могу прийти. Говорят:

— Ну как же ты не можешь? Такой важный вопрос обсуждается. Мы не можем без тебя.

Я говорю:

— Нет, ничего не могу сделать.

— Значит, тогда нам придётся отложить.

Я говорю:

— Откладывайте, если можете откладывать.

Но через два дня они позвонили и сказали, что не могли ждать больше, к сожалению, и вот просят передать, что я исключён из Союза кинематографистов тоже... И мне

*очень странно, оглядываясь назад, вспоминать эти дни.
Я написал о них песню...» (Из передачи на радио «Свобода»
от 28 декабря 1974 года)*

* * *

Моей матери

От беды моей пустяковой
(Хоть не прошен и не в чести),
Мальчик с дудочкой тростниковой,
Постарайся меня спасти!

Сатаня от мелких каверз,
Пересудов и глупых ссор,
О тебе я не помнил, каюсь,
И не звал тебя до сих пор.

И, как все горожане грешен,
Не искал я твой детский след,
Не умел замечать скворешен
И не помнил, как пахнет свет.

...Свет ложился на подоконник,
Затевал на полу возню,
Он — охальник и беззаконник —
Забирался под простыню.

Разливался, пропахший светом,
Голос дудочки в тишине...
Только я позабыл об этом
Навсегда, как казалось мне.

В жизни глупой и бестолковой,
Постоянно сбиваясь с ног,
Пенье дудочки тростниковой
Я сквозь шум различить не смог.

Но однажды в дубовой ложе
Был поставлен я на правёж

И увидел такие рожи —
Пострашней балаганьих рож!

Не медведи, не львы, не лисы,
Не кикимора и сова, —
Были лица — почти как лица,
И почти как слова — слова.

За квадратным столом, по кругу,
В ореоле моей вины,
Всё твердили они друг другу,
Что они друг другу верны!

И тогда, как свеча в потёмки,
Вдруг из дальних приплыл годов
Звук пленительный и негромкий
Тростниковых твоих ладов.

И, отвесив, я думал, — дерзкий,
А на деле смешной поклон,
Я под наигрыш этот детский
Улыбнулся и вышел вон.

В жизни прежней и в жизни новой
Навсегда, до конца пути,
Мальчик с дудочкой тростниковой,
Постарайся меня спасти!

<1972>

Андрей Сахаров:

«В декабре 1971 года был исключён из Союза писателей Александр Галич, и вскоре мы с Люсей пришли к нему домой; для меня это было началом большой и глубокой дружбы, а для Люси — восстановление старой, ведь она знала его ещё во время участия Севы Багрицкого в работе над пьесой «Город на заре»; правда, Саша был тогда сильно «старшим». В домашней обстановке в Галиче открывались какие-то «дополни-

тельные», скрытые от постороннего взгляда черты его личности, — он становился гораздо мягче, проще, в какие-то моменты казался даже растерянным, несчастным. Но всё время его не покидала свойственная ему благородная эlegantность. Галич жил вдвоём с женой, Анжелиной Николаевной. В доме довольно много антикварных вещей; недавно, когда он был преуспевающим киносценаристом («На семи ветрах», «Верные друзья» и др.), он умел со вкусом распорядиться своими гонорарами; сейчас же ему было (пока) что продать, чтобы купить жизненно необходимое. На стене висел прекрасный карандашный портрет Анжелины Николаевны (я не знаю, кто был художник, — в эту женщину можно было влюбиться), и рядом стоял бюст Павла I. Я несколько подивился такому выбору, но Галич сказал:

— Вы знаете, история несправедлива к Павлу I, у него были некоторые очень хорошие планы.

(Недавно мы с Люсей читали интересную книгу Эйдельмана об эпохе Павла I, в чём-то подкрепившую для нас мысль Галича о некоторой несправедливости традиционных оценок этого человека.)

Ещё один эпизод из этой встречи запомнился — может, и не очень значительный, но хочется рассказать. Я стал говорить о «Моцарте» Окуджавы, я очень люблю эту песню. Но Галич вдруг сказал:

— Конечно, это замечательная песня, но вы знаете, я считаю необходимой абсолютную точность в деталях, в жесте. Нельзя прижимать ладони ко лбу, играя на скрипке.

Я мог бы сказать в защиту Окуджавы, что старенькая скрипка — это метафора и что все воспринимают Моцарта не как скрипача, а как композитора. Но в чём-то, с точки зрения профессиональной строгости, Галич был прав, и мне это было интересно для понимания его собственного творчества — скрупулезно-точно во всём, филигранного. А «Моцарта» и другие песни Окуджавы я люблю от этого не меньше.

Елена Боннэр:

«После того 29 декабря вскоре Саша и Ньюша начали продавать вещи — потому что как ни богато по нашим нормам они жили, но сбережений не было. Диссиденты устраивали «платные», по трёшке, концерты Галича в своих тесных квартирах, но этого не хватало. Денег всегда не хватает. Помощь двум мамам — своей и Ньюшиной, — сыну, который рос с бабушкой, свои немалые расходы. В это время я написала письмо Генриху Бёллю с просьбой о помощи Галичу. Вначале мы думали, что оно будет с двумя подписями — Андрея Дмитриевича и моей. Потом решили оставить только мою — больно уж эмоционально получилось. Ну, и Бёлль, конечно, помог как-то, ещё пока Саша был здесь, выступил где-то, не помню.

И скоро Саша попал в больницу. Надо вспомнить, что его отлучили не только от Союза, но и от Литфонда, и от медпомощи. Сердечника, больного человека. И это в обществе, которое называет себя гуманным. Теперь уже, кажется, реже.

Это была какая-то очень старая больница, большущая палата. Там стояли какие-то колонны, может быть — бывший зал. Между двух колонн как-то боком стояла его койка, я не могу сказать — кровать. Он был весь жёлто-серый. Апельсины, которые я притащила, казались как вишни на тумбочке в этой палате. И у Саши был какой-то страх, мне кажется, он всегда боялся болезни».

В редакцию газеты «Литературная Россия». Открытое письмо московским писателям и кинематографистам

Уважаемые товарищи!

29 декабря 71 года Московский секретариат СП, действуя от вашего имени, исключил меня из членов

Союза писателей. Через месяц секретариат СП РСФСР единогласно подтвердил это исключение.

Ещё некоторое время спустя я был исключён из Литфонда и (заглазно) из Союза работников кинематографии.

Сразу же после первого исключения были оставлены все начатые мои работы в кино и на телевидении, расторгнуты договора.

Из фильмов, снятых при моём участии, — вычеркнута моя фамилия. Таким образом, вполне ещё, как принято говорить в юридических документах, «дееспособный» литератор, я осуждён на литературную смерть, на молчание.

Разумеется, у меня есть выход. Года этак через два-три, написав без договора (ещё бы!) некое «выдающееся» произведение, добиться того, чтобы его кто-то прочёл и где-то одобрили, приняли к постановке или печати, и тогда я снова войду в Дубовый зал (комнату № 8) Союза писателей, и меня встретят с улыбками товарищи Васильев, Алексеев, Грибачев, Лесючевский, и сам товарищ Медников (может быть?) протянет мне руку, а потом меня восстановят в моих литературных правах.

Но беда в том, что вышеупомянутые товарищи и я по-разному смотрим на литературное творчество и на понятие «выдающееся» произведение, и, таким образом, боюсь, сцена в Дубовом зале относится к области чистой научной фантастики.

Меня исключили втихомолку, исподтишка. Ни писатели, ни кинематографисты официально не были поставлены (и не поставлены до сих пор) об этом в известность. Потому-то я и пишу это письмо. Пишу его, чтобы прекратить слухи, сплетни, туманные советы и соболезнования.

Меня исключили за мои песни, которые я не скры-

вал, которые пел открыто, пока в 1968 году тот же секретариат СП не попросил меня перестать выступать публично.

Многие из вас слышали эти песни.

За что же меня лишили возможности работать?

Предлоги: выход книжки моих песен в некоем эмигрантском издании, без моего ведома и согласия, с искажёнными текстами и перевранной биографией (факт, который почему-то особенно ставил мне в вину драматург Арбузов), упоминание моего имени заграничными радиостанциями; какой-то мифический протокол о задержании милицией в некоем городе некоего молодого человека, который обменивал или продавал некие мои плёнки, которые он якобы сам, с моего голоса, записывал в некоем доме, — всё это, разумеется, и есть только предлоги.

Предлогом является и моё номинальное избрание в члены-корреспонденты советского Комитета защиты прав человека.

Ни в уставе Союза советских писателей (старом и новом), ни в уставе СРК — нигде не сказано, что советский литератор не имеет права принимать участия в работе организации, ставящей себе задачей легальную помощь советским органам правосудия и закона.

Я писал свои песни не из злопыхательства, не из желания выдать белое за чёрное, не из стремления угодить кому-то на Западе.

Я говорил о том, что болит у всех и у каждого, здесь, в нашей стране, говорил открыто и резко.

Что же мне теперь делать?

В романе «Иметь и не иметь» умирающий Гарри Морган говорит: «Человек один ни черта не может».

И всё-таки я думаю, что человек, даже один, кое-что может, пока он жив. Хотя бы продолжать делать своё дело.

Я жив. У меня отняты мои литературные права,
но остались обязанности — сочинять свои песни и
петь их.

С уважением
Александр Галич

* * *

Как могу я не верить в дурные пророчества:
Не ушёл от кнута, хоть и сбросил поводья.
И средь белого дня немота одиночества
Обступила меня, как вода в половодье.

И средь белого дня вдруг затеялись сумерки,
Пыльный ветер ворвался в разбитые окна,
И закатное небо — то в охре, то в сурике,
Ни луны и ни звёзд — только сурик и охра.

Ах, забыть бы и вправду дурные пророчества,
Истребить бы в себе восхищенье холопые
Перед хитрой наукой чиновного зодчества:
Написал,
Подписал —
И готово надгробье!

<1972?>

* * *

Телефон, нишкни, замолкни!
Говорить — охоты нет.
Мы готовимся к зимовке,
Нам прожить на той зимовке
Предстоит немало лет.

Может, десять, может, девять.
Кто подскажет наперёд?!
Что-то вроде надо делать...

А вот то и надо делать,
Что готовиться в поход.

Будем в списке ставить птички,
Проверять по многу раз:
Не забыть бы соль и спички,
Не забыть бы соль и спички,
Взять бы сахар про запас.

Мы и карту нарисуем!
Скоро в путь!
Ничего, перезимуем!
Как-нибудь перезимуем.
Как-нибудь!

Погромыхивает еле
Отгулявшая гроза...
Мы заткнём в палатке щели,
Чтобы люди в эти щели
Не таращили глаза.

Никакого нету толка
Разбираться — чья вина?!
На зимовке очень долго,
На зимовке страшно долго
Длятся ночь и тишина.

Мы потуже стянем пояс —
Порастай, беда, былём!
Наша льдина не на полюс,
Мы подальше, чем на полюс, —
В одиночество плывём!

Мы плывём и в ус не дуем,
В путь — так в путь!
Ничего, перезимуем!
Как-нибудь! Перезимуем
Как-нибудь!

Годы, месяцы, недели
Держим путь на свой причал,
Но, признаться, в самом деле
Я добравшихся до цели
Почему-то не встречал.

Зажелтит заката охра,
Небо в саже и в золе.
Сквозь зашторенные окна
Строго смотрят окна в окна
Все зимовки на земле.

И не надо переклички,
Понимаем всё и так.
Будем в списке ставить птички:
Не забыть бы соль и спички,
Сахар, мыло и табак.

Мы, ей-Богу, не горюем.
Время — в путь.
Ничего, перезимуем.
Как-нибудь перезимуем,
Как-нибудь.

<1972>

* * *

Я в путь собирался всегда налегке,
Без долгих прощальных торжеств,
И маршальский жезл не таскал в рюкзаке, —
На кой он мне, маршальский жезл!

Я был рядовым и умру рядовым —
Всей щедрой земли рядовой,
Что светом дарила меня даровым,
Поила водой даровой.

До старости лет молоко на губах,
До тьмы гробовой — рядовой.

А маршалы пусть обсуждают в штабах
Военный бюджет годовой!

Пуускай заседают за круглым столом
Вселенской охоты псари!
А мудрость их вся заключается в том,
Что два — это меньше, чем три.

Я сам не люблю старичков-ворчунов,
И всё-таки — истово рад,
Что я не изведаль бесчестья чинов
И низости барских наград.

Земля под ногами и посох в руке
Торжественней всяких божеств,
А маршальский жезл у меня в рюкзаке —
Свирель, а не маршальский жезл!

9 марта 1972

«...Я не буду петь первую песню про Егора, она уж довольно старая [«Баллада о сознательности»]. Значит, вот он в своё время проявил редкое мужество и излечился сам от диабета. А тут он проштрафился и попал в жуткую историю. Вот эту самую жуткую историю он рассказал в привокзальном шалмане, а я, значит, её услышал». (Фонограмма 1972 года)

«...А друзья стали уезжать. И всё больше народу толкалось у ОВИРа. И уже пошли разговоры, анекдоты, рассказы. Вот один из таких рассказов, который я подслушал в привокзальном шалмане, записал и положил на такую нехитрую частушечную мелодию». (Фонограмма концерта в Израиле, ноябрь 1975 года)

РАССКАЗ, КОТОРЫЙ Я УСЛЫШАЛ В ПРИВОКЗАЛЬНОМ ШАЛМАНЕ

Нам сосиски и горчицу —
Остальное при себе.

В жизни может всё случиться —
Может «А», а может «Б».

Можно жизнь прожить в покое,
Можно быть всегда в пути...
Но такое, но такое!
Это ж — Господи, прости!

Дядя Лёша, бог рыбачий,
Выпей, скушай бутерброд,
Помяни мои удачи
В тот апрель о прошлый год.

В том апреле, как в купели,
Голубели невода,
А потом — отголубели,
Задубели в холода!

Но когда из той купели
Мы тянули невода,
Так в апреле преуспели,
Как порою за года!

Что нам Репина палитра,
Что нам Пушкина стихи:
Мы на брата — по два литра,
По три порции ухи!

И айда за той, фартовой,
Закусивши удила,
За той самой, за которой
Три деревни, два села!

Что ни вечер — «Кукарача»!
Что ни утро, то аврал!
Но случилась незадача —
Я документ потерял!

И пошёл я к Львовой Клавке:
— Будем, Клавка, выручать,

Оформляй мне, Клавка, справки,
Шлёпай круглую печать!

Значит, имя, год рожденья,
Званье, член КПСС... —
Ну, а дальше — наважденье,
Вроде вдруг попутал бес.

В состоянии помятом
Говорю для шутки ей:
— Ты давай, мол, в пункте пятом
Напиши, что я — еврей!

Посмеялись и забыли,
Крутим дальше колесо,
Нам всё это — вроде пыли...
Но совсем не вроде пыли,
Но совсем не вроде пыли
Дело это для ОСО!

Вот прошёл законный отпуск,
Начинается мотня:
Первым делом сразу допуск
Отбирают у меня.

И зовёт меня Особый,
Начинает разговор:
— Значит, вот какой особый,
Прямо скажем, хитрожопый,
Прямо скажем, хитрожопый
Оказался ты, Егор!

Значит, все мы, кровь на рыле,
Топай к светлому концу, —
Ты же будешь в Израйле
Жрать, подлец, свою мацу!

Мы стоим за дело мира,
Мы готовимся к войне!

Ты же хочешь, как Шапиро,
Прохлаждаться в стороне!

Вот зачем ты, вроде вора,
Что желает — вон из пут,
Званье русского майора
Променял на «пятый пункт»!

Я ему, с тоской в желудке,
Отвечаю, еле жив:
— Это ж я за-ради шутки,
На хрена мне Тель-Авив!

Он как гаркнет: — Я не лапоть!
Поищи-ка дурачков!
Ты же явно хочешь драпать!
Это ж видно без очков!

Если ж кто того не видит,
Растолкуем в час-другой!..
Нет, любезный, так не выйдет,
Так не будет, дорогой!

Мы тебя — не то что взгреем,
Мы тебя сотрём в утиль!
Нет, не зря ты стал евреем!
А затем ты стал евреем,
Чтобы смыться в Израиль!

И пошло тут, братцы-друзи,
Хоть ложись и в голос вой!..
Я теперь живу в Калуге,
Беспартийный, рядовой.

Мне теперь одна дорога,
Мне другого нет пути:
Где тут, братцы, синагога?!
Подскажите, как пройти!

<1972?>

**ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ТЕКСТ
МОЕЙ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ РЕЧИ
НА ПРЕДПОЛАГАЕМОМ СЪЕЗДЕ ИСТОРИКОВ
СТРАН СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ,
ЕСЛИ БЫ ТАКОВОЙ СЪЕЗД СОСТОЯЛСЯ
И ЕСЛИ Б МНЕ БЫЛА ОКАЗАНА ВЫСОКАЯ
ЧЕСТЬ СКАЗАТЬ НА ЭТОМ СЪЕЗДЕ
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО**

Полмира в крови и в развалинах век,
И сказано было недаром:
«Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам...»

И эти звенящие медью слова
Мы все повторяли не раз и не два.

Но как-то с трибуны большой человек
Воскликнул с волнением и жаром:
«Однажды задумал предатель Олег
Отмстить нашим братьям хазарам!..»

Приходят слова и уходят слова,
За правдою правда вступает в права.
Сменяются правды, как в оттепель снег,
И скажем, чтоб кончилась смута:
Каким-то хазарам какой-то Олег
За что-то отмстил почему-то!

И этот марксистский подход к старине
Давно применяется в нашей стране,
Он нашей стране пригодился вполне,
И вашей стране пригодится вполне,
Поскольку вы тоже в таком же... лагере,
Он вам пригодится вполне!

<1972>

ЗАНЯЛИСЬ ПОЖАРЫ

Пахнет гарью. Четыре недели
Торф сухой по болотам горит.
Даже птицы сегодня не пели
И осина уже не дрожит.

Анна Ахматова. «Июль 1914»

Отравленный ветер гудит и дурит
Которые сутки подряд.
А мы утешаем своих Маргарит,
Что рукописи не горят!
А мы утешаем своих Маргарит,
Что — просто — земля под ногами горит,
Горят и дымятся болота —
И это не наша забота!

Такое уж время — весна не красна,
И право же, просто смешно,
Как опер в саду забивает «козла»
И смотрит на наше окно,
Где даже и утром темно.
А опер усердно играет в «козла»,
Он вовсе не держит за пазухой зла,
Ему нам вредить неохота,
А просто — такая работа.

А наше окно на втором этаже,
А наша судьба на виду...
И всё это было когда-то уже,
В таком же кромешном году!
Вот так же за чаем сидела семья,
Вот так же дымилась и тлела земля,
И гость, опьянённый пожаром,
Пророчил, что это недаром!

Пророчу и я, что земля неспроста
Кряхтит, словно взорванный лёд,
И в небе серебряной тенью креста
Недвижно висит самолёт.

А наше окно на втором этаже,
А наша судьба на крутом рубеже,
И даже для этой эпохи —
Дела наши здорово плохи!
А что до пожаров — гаси не гаси,
Кляни окаянное лето —
Уж если пошло полыхать на Руси,
То даром не кончится это!

Усни, Маргарита, за прялкой своей,
А я — отдохнуть бы и рад,
Но стелется дым, и дурит суховей,
И рукописи горят.
И опер, смешав на столе домино,
Глядит на часы и на наше окно.
Он, брови нахмутив густые,
Партнёров зовет в понятия.

И чёрные кости лежат на столе,
И кошка крадётся по чёрной земле
На вежливых сумрачных лапах.
И мне уже дверь не успеть запереть,
Чтоб книги попрятать, и воду согреть,
И смыть керосиновый запах!

<1972>

* * *

И благодарного народа
Он слышит голос: «Мы пришли
Сказать: где Сталин, там свобода,
Мир и величие земли!»

А. Ахматова. «Слава миру», 1950

Ей страшно и душно, и хочется лечь.
Ей с каждой секундой ясней,
Что это не совесть, а русская речь
Сегодня глумится над Ней!

И всё-таки надо писать эпилог,
Хоть ломит от боли висок,
Хоть каждая строчка, и слово, и слог
Скрипят на зубах, как песок.

...Скрипели слова, как песок на зубах,
И вдруг — расплывались в пятно.
Белели слова, как предсмертных рубаш
Белеет во мгле полотно.

По белому снегу вели на расстрел
Над берегом белой реки,
И сын Её вслед уходившим смотрел
И ждал — этой самой строки!

Торчала строка, как сухое жнивье,
Шуршала опавшей листвою...
Но Ангел стоял за плечом у Неё
И скорбно кивал головой.

<1972?>

«Сейчас я прочту одно из самых последних стихов, которое не знает никто, за которое меня могут презирать, догадавшись об их содержании. Но, может, не догадуются...» (Фонограмма)

ПРИТЧА

По замоскворецкой Галилее
Шёл он, как по выжженной земле —
Мимо светлых окон «Бакалеи»,
Мимо тёмных окон ателье,

Мимо, мимо — булочных, молочных,
Потерявших веру в чудеса.
И гудели в трубах водосточных
Всех ночных печалей голоса,

Всех тревог, сомнений, всех печалей —
Старческие вздохи, детский плач.
И осенний ветер за плечами
Поднимал, как крылья, лёгкий плащ.

Мелкий дождик падал с небосвода,
Светом фар внезапных озарён...

Но уже он видел, как с Восхода,
Через Юго-Западный район,
Мимо показательной аптеки,
Мимо «Гастронома» на углу —
Потекут к нему людские реки,
Понесут признание и хвалу!
И не ветошь века, не обноски,
Он им даст — Начало всех Начал!..

И стоял слепой на перекрёстке,
Осторожно палочкой стучал.
И не зная, что Пророку мнилось,
Что кипело у него в груди,
Он сказал негромко:
— Сделай милость,
Удружи, браток, переведи!..

Пролетали фары — снова, снова,
А в груди Пророка всё ясней
Билось то нескáзанное слово
В нескáзанной прелести своей!
Много ль их на свете, этих истин,
Что способны потрясти сердца?!

И прошёл Пророк по мёртвым листьям,
Не услышав гблоса слепца.

И сбылось — отныне и вовеки! —
Свет зари прорезал ночи мглу,

Потекли к нему людские реки,
Понесли признание и хвалу!
Над вселенской суетной мышью
Засияли истины лучи!..

А слепого, сбитого машиной,
Не сумели выходить врачи.

<1972, лето ?>

«Песня называется «Объяснение в любви». Иногда прекрасные люди в очень сложных обстоятельствах своей жизни произносят и пишут мудрые по тем обстоятельствам слова. Но ужасно, когда они становятся общеупотребительной формулой. Это меня давно и всегда, честно говоря, сильно огорчало и раздражало. Вот по этому поводу, собственно, и написана песня «Объяснение в любви». (Фонограмма)

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Люди, я любил вас — будьте
бдительны!

*Юлиус Фучик
(Любимая цитата советских
пропагандистов)*

Я люблю вас — глаза ваши, губы и волосы,
Вас, усталых, что стали до времени старыми,
Вас, убогих, которых газетные полосы
Что ни день, то бесстыдными славят фанфарами!
Сколько раз вас морочили, мяли, ворочали,
Сколько раз соблазняли соблазнами тщетными...
И как черти вы злы, и как ветер отходчивы,
И — скупец! — до чего ж вы бываете щедрыми!

Она стоит — печальница
Всех существ на земле,

Стоит, висит, качается
В автобусной петле.

А может, это поручни...
Да, впрочем, всё равно!
И спать ложилась — к полночи,
И поднялась — темно.

Всю жизнь жила — не охала,
Не крыла белый свет.
Два сына было — сокола,
Обоих нет как нет!

Один убит под Вислою,
Другого хворь взяла!
Она лишь зубы стиснула —
И снова за дела.

А мужа в Потьме льдиною
Распутица смела.
Она лишь брови сдвинула —
И снова за дела.

А дочь в больнице с язвою,
А сдуру запил зять...
И, думая про разное,
Билет забыла взять.

И тут один — с авоською
И в шляпе, паразит! —
С ухмылкой со свойскою
Геройски ей грозит!

Он палец указательный
Ей чуть не в нос суёт:
— Какой, мол, несознательный
Ещё, мол, есть народ!

Она хотела высказать:
— Задумалась, прости!
А он как глянул искоса,
Как сумку сжал в горсти

И — на одном дыхании
Сто тысяч слов подряд!
(«Чем в шляпе — тем нахальнее!» —
Недаром говорят!)

Он с рожею канальскою
Гремит на весь вагон,
Что с кликой, мол, китайскою
Стакнулся Пентагон!

Мы во главе истории,
Нам лупят в лоб шторма,
А есть ещё, которые
Всё хотят задарма!

Без нас — конец истории,
Без нас бы мир ослаб!
А есть ещё, которые
Всё хотят цап-царап!

Ты, мать, пойми: неважно нам,
Что дурость — твой обман.
Но — фигурально — каждому
Залезла ты в карман!

Пятак — монетка малая,
Ей вся цена — пятак,
Но с неба каша манная
Не падает за так!

Она любому лакома,
На кашу каждый лих!..

И тут она заплакала,
И весь вагон затих.

Стоит она — печальница
Всех сущих на земле,
Стоит, висит, качается
В автобусной петле.

Бегут слезинки скорые,
Стирает их кулак...

И вот вам — вся история,
И ей цена — пятак!

Я люблю вас — глаза ваши, губы и волосы,
Вас, усталых, что стали до времени старыми,
Вас, убогих, которых газетные полосы
Что ни день — то бесстыдными славят
фанфарами.

И пускай это время в нас ввинчено штопором,
Пусть мы сами почти до предела заверчены,
Но оставьте, пожалуйста, бдительность —
«операм»!

Я люблю вас, люди!
Будьте доверчивы!

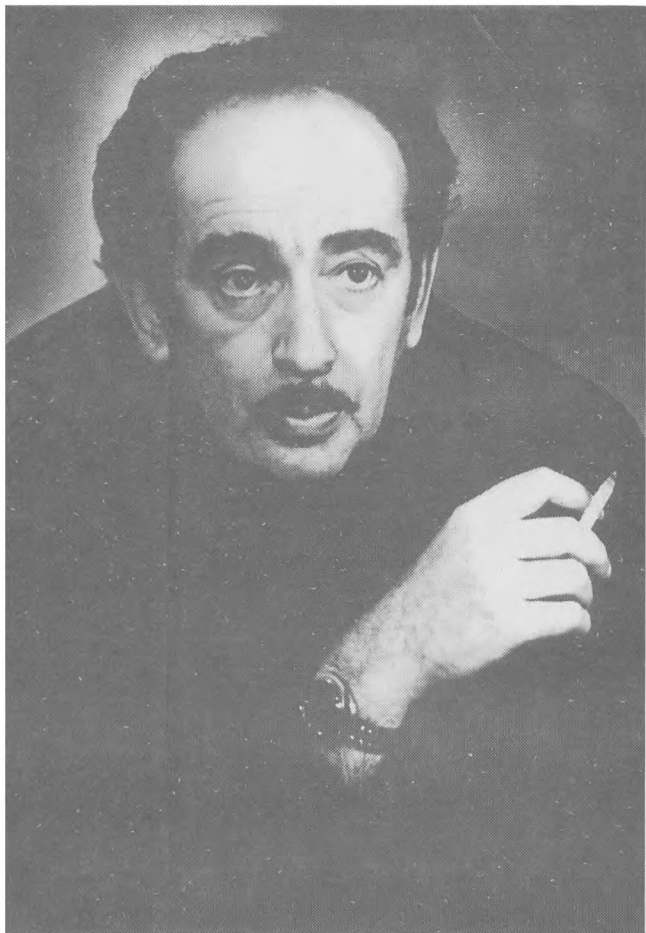
<1972>



◇

Ужель тебе этого
жалко?..

◇



А. Галич. Январь 1974 г.



«Я доехал до Покровского скверика и спустился по Колпачному вниз к зданию ОВИРа... Человек со стёртым лицом сказал мне:

— Вот вы хотите выехать за границу с советским паспортом. Ну как же мы можем позволить выехать за границу с советским паспортом, когда вы здесь у нас в стране занимаетесь враждебной пропагандой, а вы хотите, чтобы мы вас отправили за границу как представителя Советского Союза... Но у вас есть ещё другой выход... Вы можете подать заявление на выезд в Израиль, и я думаю, что мы вам дадим разрешение.

Я сказал:

— Собственно говоря, вы мне предлагаете выход из гражданства?

Он сказал:

— Я вам ничего не предлагаю, я просто говорю о том, что есть такая возможность.

Я не помню лица этого человека, но разговор этот я запомнил, пожалуй, навсегда, до конца своих дней. И после этого свидания я написал песню...» (Из передачи на радио «Свобода» от 23 августа 1975 года)

«Вы знаете, исполняя эти песни уже несколько раз подряд, я понял, что они все ужасно несправедливые. Но потом мне показалось, что это, так сказать, не моя обязанность. Справедливые песни и стихи может писать

Софронов или Ошанин. Я имею полное право сочинять несправедливые песни. Вот несправедливая песня — «Песня об Отчем Доме». (Фонограмма)

ПЕСНЯ ОБ ОТЧЕМ ДОМЕ

Ты не часто мне снишься, мой Отчий Дом,
Золотой мой, недолгий век.
Но всё то, что случится со мной потом, —
Всё отсюда берёт разбег!

Здесь однажды очнулся я, сын земной,
И в глазах моих свет возник.
Здесь мой первый гром говорил со мной,
И я понял его язык.

Как же странно мне было, мой Отчий Дом,
Когда Некто с пустым лицом
Мне сказал, усмехнувшись, что в доме том
Я не сыном был, а жильцом.

Угловым жильцом, что копит деньгу —
Расплатиться за хлеб и кров.
Он копит деньгу, и всегда в долгу,
И не вырвется из долгов!

— А в сыновней верности в мире сём
Клялись многие — и не раз! —
Так сказал мне Некто с пустым лицом
И прищурил свинцовый глаз.

И добавил:

— А впрочем, слукавь, солги —
Может, вымолишь тишь да гладь!..

Но уж если я должен платить долги,
То зачем же при этом лгать?!

И пускай я гроши наскребу с трудом,
И пускай велика цена —
Кредитор мой суровый, мой Отчий Дом,
Я с тобой расплачусь сполна!

Но когда под грохот чужих подков
Грянет свет роковой зари —
Я уйду, свободный от всех долгов,
И назад меня не зови.

Не зови вызволять тебя из огня,
Не зови разделить беду.
Не зови меня!
Не зови меня...
Не зови —
Я и так приду!

<Декабрь 1972?>

ОПЫТ ОТЧАЯНЬЯ

Мы ждём и ждём гостей неожиданных,
И в ожиданье
Ни гугу!
И всё сидим на чемоданах,
Как на последнем берегу.

И что нам малые утраты
На этом горьком рубеже,
Когда обрублены канаты
И сходни убраны уже?

И нас чужие дни рожденья
Кропят солёною росой,
У этой —
Зоны отчужденья,

Над этой —
Взлётной полосой!

Прими нас, Господи, незваных,
И силой духа укрепи!

Но мы сидим на чемоданах,
Как пёс дворовый на цепи!

И нет ни мрака, ни прозренья,
И ты не жив и не убит.
И только рад, что есть — презренье,
Надёжный лекарь всех обид.

<Декабрь 1972>

* * *

Весь год — ни валко и ни шатко,
И всё как прежде, в январе.
Но каждый день горела шапка,
Горела шапка на ворё.
А вор бельё тащил с забора,
Снимал с прохожего пальто
И так вопил «держите вора!»,
Что даже верил кое-кто!

<1973>

«...На даче Большого театра... туда приезжают очень усталые балетные актёры, значит, время от времени отдохнуть. Приезжают на один — на два дня, я там жил довольно долго, сочинял там книжку большую и множество стихов, которые сегодня не спел и спою вам в следующий раз, заманивая аудиторию... Но там у ворот стоит безумно странное сооружение, такое, значит, похожее на землемерный столб, врытое в землю. Там... деления напи-

саны от одного до семи, так грубо кисточкой написаны: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И покачивается гиря на проволоке. Понять, что это такое, невозможно. Я, значит, долго ходил там, спрашивал, даже у Галины Сергеевны Улановой, я говорю: «Что это такое?» Она говорит: «Ей-Богу, не знаю». «Ну как, Галина Сергеевна? Ну вы столько лет живёте в этом самом доме». Она говорит: «Ну не знаю». Потом я ещё у других людей спрашивал. Потом я пошёл к официантке, я говорю: «Что это такое у вас?» Она говорит: «Как, Александр Аркадьевич? Это говномер!» Я говорю: «Как говномер?» Она говорит: «Ну это подведено сзади, значит, к ассенизационной яме. Значит, там уровень подымается, значит — гиря опускается... Как гиря опустится до уровня «семь» — значит, надо срочно вызывать золотариков... выгребать это дело». Это прекрасное просто сооружение — русский умелец, Левша, понимаете, взял, соорудил, действительно. Пропали бы иначе. Мне это жутко понравилось. Я в то время обдумывал как раз, значит, цикл таких стихотворений под названием «Философские этюды». Вот первый философский этюд, значит, был как раз сочинён на эту тему». (Фонограмма)

ПЕЙЗАЖ

Всё было пасмурно и серо,
И лес стоял, как неживой,
И только гиря говномера
Слегка качала головой.

Не всё напрасно в этом мире,
(Хотя и грош ему цена!),
Не всё напрасно в этом мире,
Покуда существуют гири
И виден уровень говна!

<1973?>

О ВРЕДЕ ЧТЕНИЯ

Я шёл и сбился с верного следа...

Дайте

Я долго шёл по дьявольской жаре,
Я шёл и сбился с верного следа.
И вышел к дому с надписью «ЖМ»,
Что по-французски значит «никогда».

Веди меня, Вергилий, в этот ад!
Он неказист, он сумрачен и нем...
Но вдруг, увидев чей-то голый зад,
Я понял, что такое «Ж» и «М».

<1973>

ОБ УДАРЕНИЯХ

Ударение, ударение,
Будь для слова как удобрение,
Будь рудою, из слова добытой,
Чтоб Свобода не стала Свободой.

<1973>

«...Я живу в таком жутком посёлке у метро «Аэропорт», на улице Черняховского, где все друг про друга всё знают, как в андерсеновской сказке: какой суп у кого варится. Поэтому ко мне очень, в последние дни особенно, подходит ужасное количество народу, и все спрашивают: «Правда ли, что вы крестились?» Я им говорю: «Собственно говоря, почему вас это так занимает?» Они говорят: «Ну как же? Это так интересно...» Я говорю: «Ну вот, вы знаете, я два года как поручик Кижсе, не имею лица и фигуры... Вас никогда не интересовало, а на что я существую? Почему вас так заинтересовал вопрос — крестился ли я?» Они говорят: «Ну вы знаете, это такое

всё-таки экстраординарное событие». Тогда я отвечаю, что я действительно крестился, что истинно. Когда они спрашивают, почему я это сделал, то я сначала пытался объяснить, потом решил, что объяснять слишком долго, и на вопрос решил отвечать: «Так мне было нужно». Так проще всего». (Фонограмма)

СВЯЩЕННАЯ ВЕСНА

Собирались вечерами зимними,
Говорили то же, что вчера...
И порой почти невыносимыми
Мне казались эти вечера.

Обсуждали все приметы искуса,
Превращали — в сложность — простоту,
И моя Беда смотрела искоса
На меня — и мимо, в пустоту.

Этим странным взглядом озадаченный,
Тёмным взглядом, как хмельной водой,
Столько раз обманутый удачами,
Обручился я с моей Бедой!

А зима всё длилась, всё не таяла,
И, пытаясь одолеть тоску, —
Я домой, в Москву, спешил из Таллинна,
Из Москвы — куда-то под Москву.

Было небо вымазано суриком,
Белую позёмку гнал апрель...
Только вдруг, — прислушиваясь к сумеркам,
Услыхал я первую капель.

И весна, священного священнее,
Вырвалась внезапно из оков!

И простую тайну причащения
Угадал я в таянье снегов.

А когда в тумане, будто в мантии,
Поднялась над берегом вода, —
Образок Казанской Божьей Матери
Подарила мне моя Беда!

...Было тихо в доме. Пахло солодом.
Чуть скрипела за окном сосна.
И почти осенним звонким золотом
Та была пронизана весна!

Та весна — Прощенья и Прощания,
Та, моя осенняя весна,
Что дразнила мукой обещания
И томила. И лишала сна.

Словно перед дальнею дорогою,
Словно — в темень — угадав зарю,
Дар священный твой ладонью трогаю
И почти неслышно говорю:

— В лихолетье нового рассеянья,
Ныне и вовеки, навсегда,
Принимаю с гордостью Спасение
Я — из рук Твоих — моя Беда!

<1973?>

«Я простоял службу, прослушал проповедь, а потом вместе со всеми молящимися я пошёл целовать крест. И вот тут случилось маленькое чудо. Может быть, я немножко преувеличиваю, может быть, чуда и не было никакого, но мне в глубине души хочется думать, что всё-таки это было чудом. Я подошёл, наклонился, поцеловал крест. Отец Александр положил руку мне на плечо и сказал: «Здравствуйте, Александр Аркадьевич. Я ведь вас так давно жду. Как хорошо, что вы приеха-

ли». Я повторяю, что, может быть, чуда и не было. Я знаю, что он интересовался моими стихами. Но где-то в глубине души до сегодняшнего дня мне по-прежнему хочется верить в то, что это было немножко чудом...» (Из передачи на радио «Свобода», июнь 1976 года)

Отец Александр Мень:

«Я увидел его сразу, когда он, такой заметный, высокий, появился на пороге церкви. Он пришёл с нашим общим знакомым, композитором Николаем Каретниковым... Я узнал его сразу, хотя фотографий не видел. Узнал не без удивления. Знаете, читатель часто отождествляет писателя с его героями. Так вот, для меня Александр Аркадьевич жил в его персонажах, покалеченных, униженных, протестующих, с их залихватской бравадой и болью. А передо мной был человек почти величественный, красивый, барственный. Оказалось, что записи искажали его густой баритон. Мне он сразу показался близким, напомнил мою родню — высоченных дядек, которые шутя кололи грецкие орехи ладонью. Это был артист — в высоком смысле этого слова. Потом я убедился, что его песни неотделимы от блестящей игры. Как жаль, что осталось мало кинокадров... Текст, магнитозаписи не могут всего передать. И в первом же разговоре я ощутил, что его «изгойство» стало для поэта не маской, не позой, а огромной школой души. Быть может, без этого мы не имели бы Галича — такого, каким он был.

Мы говорили о вере, о смысле жизни, о современной ситуации, о будущем. Меня поражали его меткие иронические суждения, то, как глубоко он понимал многие вещи... Его вера не была жестом отчаяния, попыткой куда-то спрятаться, к чему-то примкнуть, лишь бы найти тихую пристань. Он много думал. Думал серьёзно. Многое пережил. Христианство влекло его. Но была какая-то внутренняя преграда. Его мучил во-

прос: не является ли оно для него недоступным, чужим. Однако в какой-то момент преграда исчезла. Он говорил мне, что это произошло, когда он прочёл мою книгу о библейских пророках. Она связала в его сознании нечто разделённое. Я был очень рад и думал, что уже одно это оправдывает существование книги.

После совершения таинства мы сидели у меня, и он читал нам с Н. К. свои стихи...»

ПИСЬМО В СЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК

...По вечерам, написав свои обязательные десять страниц (я писал в Серебряном боре «Генеральную репетицию»), я отправлялся гулять. Со мною неизменно увязывался дворовый беспородный пёс по кличке Герцог. С берега Москвы-реки мы сворачивали в лесную аллею, доходили до троллейбусной остановки, огибали круглую площадь и тем же путём возвращались к реке. Я садился на скамейку, закуривал, Герцог устраивался у моих ног. Мы смотрели на бегущую воду, на противоположный берег. Справа стояла церковь — Лыковская Троица, — превращённая в дровяной склад, а слева расстились уголья государственной дачи номер пять. Там жил ещё член Политбюро в ту пору, Д. Полянский. Именно его вельможному гневу я был обязан, как выразились бы старинные канцеляристы, «лишением всех прав состояния». Вертеть головой то направо, то налево было чрезвычайно интересно.

Уж так ли безумно намеренье —
Увидеться в жизни земной?!
Читает красотка Вермеера
Письмо, что написано мной.

Она — словно сыграна скрипкою —
Прелестна, нежна и тонка,
Следит, с удивлённой улыбкою,
Как в рифму впадает строка.

А впрочем, мучение адово
Читать эти строчки вразброд!
Как долго из века двадцатого
В семнадцатый — почта идёт!

Я к ней написал погалантнее,
Чем в наши пишу времена...
Смеркается рано в Голландии,
Но падает свет из окна.

Госпожа моя! Триста лет,
Триста лет вас всё нет как нет.
На чепце расплелась тесьма,
Почтальон не несёт письма,
Триста долгих-предолгих лет
Вы всё пишете мне ответ.
Госпожа моя, госпожа,
Просто — режете без ножа!

До кого-то доходят вести,
До меня — только сизый дым.
Мы с дворовой собакой вместе
Над бегучей водой сидим.
Пёс не чистой породы, помесь,
Но премудрый и славный пес...
Как он тащится, этот поезд,
Триста лет на один откос!
И такой он ужасно гордый,
Что ему и гудеть-то лень...

Пёс мне ткнулся в колени мордой,
По воде пробежала тень.

Мы задремлем, но нас разбудит
За рекой гроыхнувший джаз...

Скоро, скоро в Москву прибудет
Из Голландии дилижанс!

Вы устали, моя судьба,
От столба пылить до столба?
А у нас теперь на Руси
И троллейбусы, и такси.
Я с надеждой смотрю — а вдруг
Дилижанс ваш придёт на круг?
Дилижанс стоит на кругу...

Дилижанс стоит на кругу —
Я найти его не могу!

Он скоро, скоро, скоро тронется!
Я над водой сижу опять.
Направо — Лыковская Троица,
Налево — дача номер пять.

На этой даче государственной
Живёт светило из светил,
Кому молебен благодарственный
Я б так охотно посвятил!
За всё его вниманье крайнее,
За тот отеческий звонок,
За то, что муками раскаянья
Его потешить я не мог!
Что славен кличкой подзаборною,
Что наглых не отвёл очей,
Когда он шествовал в уборную
В сопровожденьи стукачей!

А поезд всё никак не тронется!
Какой-то вздор, какой-то бред...

В вечерний дым уходит Троица,
На даче кушают обед.

Меню государственного обеда:

Бламанже.

Суп гороховый с грудинкой и гренками.

Бламанже!

Котлеты свиные отбивные

с зелёным горошком.

Бламанже!!

Мусс клубничный со взбитыми сливками.

Бламанже!!!

— Вы хотите
Бля-ман-же?

— Извините,
Я уже!

У них бламанже сторожат сторожа,
Ключами звеня.

Простите меня, о моя госпожа,

Простите меня!

Я снова стучусь в ваш семнадцатый век

Из этого дня.

Простите меня, дорогой человек,

Простите меня!

Я славлю упавшее в землю зерно

И мудрость огня.

За всё, что мне скрыть от людей не дано —

Простите меня!

Ах, только бы шаг — за черту рубежа
По зыбкому льду...
Но вы подождите меня, госпожа,
Теперь я решился, моя госпожа,
Теперь уже скоро, моя госпожа,
Теперь я приду!..

Я к Вам написал погалантнее,
Чем в наши пишу времена.

Смеркается рано в Голландии,
Но падает свет из окна.

<1973>

«Ну, это такое большое стихотворение и песня, в котором мне вдруг захотелось попытаться соединить два начала — живопись и поэзию, Мандельштама и Шагала».
(Фонограмма)

«Я — севастиополец, крымчак, поэтому, в общем, могу вам сказать и вы можете мне поверить на слово, что в наши детские годы никто никогда не называл море морем. А бывало в Крыму греческое слово «таласса». И ходили, значит, на пляж, называлось «пойдем поталассим». (Фонограмма)

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОДЕССЕ

...Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

О. Мандельштам

Научили пилить на скрипочке,
Что ж — пилить!
Опер Сёма кричит:
— Спасибочки! —
Словно:
— Пли!

Опер Сёма гуляет с дамою,
Весел, пьян.
Что мы скажем про даму данную? —
Не фонтан!

Синий бантик на рыжем хвостике —
Высший шик!
Впрочем, я при Давиде Ойстрахе
Тоже — пшик.

Но под Ойстраха непростительно
Пить портвейн.
Так что в мире всё относительно,
Прав Эйнштейн!

Всё накручено в нашей участи —
Радость, боль.
Ля-диез — это ж тоже, в сущности,
Си-бемоль!

Сколько выдано-перевыдано,
Через край!
Сколько видано-перевидано —
Ад и рай!..

Так давайте ж, Любовь Давыдовна,
Начинайте, Любовь Давыдовна,
Ваше соло, Любовь Давыдовна,
Раз — цвай — драй!..

Над шалманом тоска и запахи,
Сгинь, душа!
Хорошо, хоть не как на Западе:
В полночь — ша!

В полночь можно хватить по маленькой,
Боже ж мой!
Снять штиблеты, напялить валенки
И — домой!..

...Я иду домой. Я очень устал и хочу спать. Говорят, когда людям по ночам снится, что они летают — это значит, что они растут. Мне много лет, но едва ли не каждую ночь мне снится, что я летаю.

...Мои стрекозиные крылья
Под ветром трепещут едва,
И сосен зелёные клинья
Шумят подо мной, как трава.

А дальше —
Таласса, Таласса! —
Вселенной волшебная статья!
Я мальчик из третьего класса,
Но как я умею летать!

Смотрите —
Лечу, словно в сказке,
Лечу сквозь предутренний дым
Над лодками в пёстрой оснастке,
Над городом вечно-седым,
Над пылью автобусных станций —
И в край приснопамятный тот,
Где снова ахейские старцы
Ладьи снаряжают в поход.

Чужое и глупое горе
Велит им на Трою грести.
А мне —
За Эгейское море,
А мне ещё дальше расти!

Я вырасту смелым и сильным,
И мир, как подарок, приму,
И девочка
С бантиком синим
Прижмётся к плечу моему.

И снова в разрушенной Трое
— Елена! —
Труба возвестит.
И снова...

...На углу Садовой какие-то трое остановили
меня. Они сбили с меня шапку, засмеялись и спро-
сили:

— Ты еще не в Израйле, старый хрен?!

— Ну что вы, что вы! Я дома. Я — пока — дома.
Я ещё летаю во сне. Я ещё расту!..

<1973>

*«Такое вот будет в четырёх частях сочиненьице. Зна-
чит, называется оно странно. Будет называться оно
«Песня о песочном человеке»...» (Фонограмма)*

ВЕЧЕРНИЕ ПРОГУЛКИ

Маленькая поэма

Владимиру Максимова

1

Бывали ль вы у Спаса-на-крови?
Там рядом сад с дорожками.
И кущи.
Не прогуляться ль нам, на сон грядущий,
И поболтать о странностях любви?

Смеркается.
Раздолье для котов.
Плывут косые тени по гардине,
И я вам каюсь, шёпотом, в гордыне,
Я чёрт-те в чём покаяться готов!

Пора сменить — уставших — на кресте,
Пора надеть на свитер эполеты
И хоть под старость выбиться в поэты,
Чтоб ни словечка больше в простоте!

Допустим, этак:
Медленней, чем снег,
Плывёт усталость — каменная птица.
Как сладко всем в такую полночь спится!
Не спит — в часах — песочный человек.

О, этот вечно-тающий песок,
Немолчный шелест времени и страха!
О Парка, Парка, сумрачная пряжа,
Повремени, помедли хоть часок!..

А ловко получается, шарман!
О, как же эти «О!» подобны эху...
Но, чёрт возьми, ещё открыт шалман!
Вы видите, ещё открыт шалман!
Давайте, милый друг,
Зайдём в шалман!
Бессмертье подождёт, ему не к спеху!

2

Ах, шалман, гуляй, душа,
Прочь, унынье чёрное!
Два учёных алкаша
Спорят про учёное:
— Взять, к примеру, мю-мезон:
Вычисляй и радуйся!
Но велик ли в нем резон
В рассужденьи градуса?..

Ух, шалман,
Пари, душа!
Лопайтесь, подтяжки!

Работяга не спеша
Пьёт портвейн из чашки.
— Все грешны на свой фасон,
Душу всем изранили!
Но уж если ты мезон,
То живи в Израиле!..

Ну, шалман!
Ликуй, душа!
Света! Света! Светочка!
До чего же хороша,
Как в бутылке веточка!

Света пиво подает
И смеётся тоненько.
Три — пустые — достаёт
Света из-под столика.

— Это, Света, на расчёт
И вперёд — в начало!..

Работяга, старый чёрт,
Машет ручкой:
— Чао!..

Вот он встал, кудлатый чёрт,
Пальцами шаманя.
Уваженье и почёт
Здесь ему, в шалмане!

3

Он, подлец, — мудрец и стоик,
Он прекрасен во хмелю!
Вот он сел за крайний столик
К одинокому хмырю.

— Вы, прошу простить, партийный?
Подтвердите головой!..

Хмырь кивает.
Работяга улыбается:

— Так и знал, что вы партийный.
Но заходите в питейный —
И по линии идейной
Получаетесь, как свой!

Эй, начальство!
Света, брызни!
Дай поярче колорит!..

— Наблюдение из жизни! —
Работяга говорит.

И, окинув взглядом тесный
Зал на сто семнадцать душ,
Он, уже почти что трезвый,
Вдруг понёс такую чушь!..

4

— На троллейбусной остановке
Все толпятся у самой бровки,
И невесело, как в столовке,
На троллейбусной остановке.
Хоть и улица, — а накурено,
И похожи все на Никулина —
Ну, того, что из цирка, клоуна, —
Так же держатся люди скованно.
Но попробуй у них спроси:
«Где тут очередь на такси?!»

А где очередь на такси,
Там одни «пардон» и «мерси».
Там грузины стоят с корзинками
И евреи стоят с грузинками,
И глядят они вслед хитро́
Тем, кто ехать решил в метро.
И вдогонку шипят: «Ай-вай!..»
Тем, кто топлет на трамвай.

А трамвайная остановка —
Там особая обстановка:
«Эй, ты — в брючках, пшено, дешёвка,
Ты отчаливай, не форси!
Тут трамвайная остановка,
А не очередь на такси!..»

И, платком вместо флага
Сложный выразив сюжет,
Наш прелестный работяга
Вдруг пропел такой куплет:

— А по шоссе, на Калуги и Луги,
В дачные царства, в казённый уют,
Мчатся в машинах народные слуги,
Мчатся — и грязью народ обдают!..

5

У хмыря — лицо как тесто,
И трясётся голова.
Но приятный гром оркестра
Заглушил его слова.

Был оркестр из настоящих
Трёх евреев, первый сорт!

А теперь упрятан в ящик
Под названием «Аккорд».

И ведёт хозяйство это
Ослепительная Света.

И пускает, в цвет моменту,
Отобрав из сотни лент,
Соответственную ленту
В соответственный момент.

Вот сперва завыли трубы:
Всё, мол, в жизни трын-трава!..
У хмыря трясутся губы
И трясётся голова.

Вот — поддал ударник жару,
Показал, бродяга, класс!
А уж после — под гитару
Произнёс нахальный бас:

— Доля, доля, злая доля,
Протрубила б ты отбой!
Сверху небо, снизу поле,
Посередке — мы с тобой.
Мы с тобою посередке,
Ты — невеста,
Я — жених.

Нам на личность по селедке
И пол-литра на двоих.

Мы культурно свет не застим,
Взять судьбу не можем в толк.
И поёт нам: «С новым счастьем!»
Наш парторг — тамбовский волк.
Он поёт — один в гордыне,
Как свидетель на суде:

«С новым счастьем, молодые,
И с успехами в труде!..
И чтоб первенец загукал,
Как положено в семье,
Вам партком отводит угол
В обще...»

...Тут, увы, заело ленту —
Отслужила, видно, срок.
Но, опять же в цвет моменту,
Грянул бойкий тенорок:

— Чтобы очи мои повывлазили,
Чтоб не видеть мне белого дня!
Напридумали Лазари лазеры
И стараются кончить меня!..

И шалман зашёлся смехом,
Загудел, завыл шалман.
И, частушке вторя эхом,
Об стакан гремит стакан.

6

Света, Света, добрый друг,
Что же ты замолкла вдруг?
Где твой Лазарь, где твой милый,
Завбуфетом в цвете лет?!
Он убит — и взят могилой,
Как сказал один поэт.

Брал он скромно, брал по праву,
Брал не с верхом, а в очко:
Было — заму,
Было — заву,
Было всем на молочко...

Уносите, дети, ноги,
Не ходите, дети, в лес, —
В том лесу живет в берлоге
Лютый зверь — Обехаэс¹!..

Всем вlepили мелочишку,
Всё равно что за прогул.
Только Лазарь принял «вышку»,
Даже глазом не моргнул...

Точно так же, как когда-то
Не моргнул и глазом он,
Когда гнал его, солдата,
Дезертир из школы вон —

Мол, не так он учит деток,
Подозрительный еврей,
Мол, не славит пятилеток,
А долдонит про царей.

Заседанье педсовета
Подвело всему итог...
С ним ушла тогда и Света —
Физкультурный педагог.

Что ты, что ты, что ты, что ты,
Что ты видишь сквозь туман?
Как мотались без работы?
Как устроились в шалман?
Как, без голоса, кричала
В кислом зале горсуда?..

¹ ОБХСС — Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. (Прим. сост.)

Эй, не надо всё сначала,
Было — сплыло навсегда!
Было — сплыло...

Тут линяет гром оркестра —
Мал в шалмане габарит.
И опять, оркестра вместо,
Работяга говорит
(А в руке гуляет кружка
И смеётся левый глаз):
— Это всё была петрушка,
А теперь пойдёт рассказ!

7

Мы гибли на фронте,
Мы хрипли в комбеде.
А вы нас вели
От победы к победе!
Нам бабы кричали:
«Водицы попейте!
Умойтесь, поешьте,
Поспите хоть ночку!»
А вы нас вели
От победы к победе,
И пуля свинцовая
Ставила точку!
Мы землю долбили,
Мы грызли железо,
Мы грудь подставляли
Под дуло обреза.
А вы, проезжая
В машине «Победе»,
В окно нам кричали:

«Достройте!.. Добейте!..»

И мы забывали

О сне и обеде,

И вы нас вели

От победы к победе!

А вы:

«Победы» меняли на «Волги»,

А после:

«Волги» меняли на «ЗИМы»,

А после:

«ЗИМы» меняли на «Чайки»,

А после:

«Чайки» меняли на «ЗИЛы»...

А мы надрывались,

Долбили, грузили!

И вот уже руки

Повисли, как плети,

И ноги не ходят,

И волосы седые.

А вы нас вели

От победы к победе.

И тосты кричали

Во славу победы:

«Ну, пусть не сегодня,

Так — завтра, так — в среду!

Достройте!.. Добейте!..

Дождём!.. Приурочим!..»

А мы, между прочим,

А мы, между прочим,

Давно — положили —

На вашу победу!..

8

Хмырь зажал рукою печень,
Хмырь смертельно побледнел.
Даже хмырь — и тот не вечен,
Есть для каждого предел.

Работяга (в кружке пена),
Что ж ты, дьявол, совершил?
Ты ж действительного члена
Нашу партию лишил!

И пленительная Света,
Сандалетами стуча,
Срочно стала из буфета
Вызывать в шалман врача...

9

Какая ночь! Как улицы тихи!
Двенадцать на часах Аэрофлота.
И кажется — дойдёшь до поворота
И потекут бессмертные стихи!

<1973?>

ПРОЩАНИЕ

За высокими соснами синий забор
И калитка в заборе.
Вот и время прощаться, Серебряный бор,
Нам — в Серебряном боре!

Выходила калитка в бескрайний простор,
Словно в звёздное море.
Я грущу по тебе, мой Серебряный бор,
Здесь — в Серебряном боре.

Мы с тобою вели нескончаемый спор,
Только дело не в споре.
Я прощаюсь с тобой, мой Серебряный бор,
Здесь — в Серебряном боре.

Понимаешь ли — боль подошла под упор,
Словно пуля в затворе.
Я с тобой расстаюсь, мой Серебряный бор,
Здесь — в Серебряном боре.

Ну, не станет меня — для тебя это вздор,
Невеликое горе!
Что ж, спасибо тебе, мой Серебряный бор,
Я прощаюсь с тобой, мой Серебряный бор,
И грущу по тебе, мой Серебряный бор,
Здесь — в Серебряном боре!

<1973>

«У меня в работе песенный цикл, который я собираюсь вскоре дописать. Этот цикл (в духе песен о Климе Петровиче Коломийцеве) называется «Горестная жизнь и размышления начальника отдела кадров строительномонтажного управления номер 22 города Москвы». (Интервью «Песня, жизнь, борьба», «Посев», № 8, 1974 год)

* * *

Я, товарищи, скажу помаленьку,
Мы не где-нибудь живём — на Руси.
Кому кепка, а кому — тубетейка,
Кто что хочет — надевай и носи.
Наше дело — это тонкое дело,
Тёмный лес, любезный друг, тёмный лес,
И обязаны мы ночью и денно
Государственный блюсти интерес.

Мы не в рюхи здесь играем, не в карты,
Здесь не баня, говорят, не вокзал.
Что для нас наиважнейшее? Кадры!
Это знаешь, дорогой, кто сказал?
Тут не с удочкой сидишь, рыболовишь,
Должен помнить, как основу основ:
Рабинович — он и есть Рабинович,
А скажи мне, кто таков Иванов?
Вот он пишет в заявлении — русский,
Истый-чистый, хоть становь напоказ,
А родился, извиняюсь, в Бобруйске,
И у бабушки фамилия Кац.
Значит, должен ты учесть эту бабку
(Иванову, натурально, молчок!).
Но положи её в отдельную папку
И поставь на ней особый значок.
и т. д.

<1973?>

* * *

Говорят, пошло с Калиты,
А уж дале — из рода в род.
То ли я сопру, то ли ты,
Но один, как часы, сопрёт!
То ли ты сопрёшь, то ли я,
То ли оба мы на щите...
С Калиты идёт колея —
Все воры — и все в нищете!
И псари воры, и князья,
Не за корысть воры, за злость!
Без присмотра на миг нельзя
Ни корону бросать, ни гвоздь!..
Уж такие мы удались,
Хоть всю жизнь живём на гроши...

А который спёр — тот делись,
Тут как тут стоят кореш!..
И под скучный скулёж дележа,
У подъездов, дверей и оград,
Вдоль по всей Руси сторожа,
Всё сидят сторожа — сторожат!

<1973?>

* * *

Шёл дождь, скрипело мироздание,
В дожде светало на Руси,
Но ровно в семь — без опоздания —
За ним приехало такси.

И он в сердцах подумал: «Вымокну!» —
И усмехнулся, и достал
Блокнот, чтоб снова сделать вымарку,
И тот блокнот перелистал.

О, номера поминовения
Друзей и близких — А да Я!
О, номеров исчезновение,
Его печаль — от А до Я:

От А трусливого молчания
До Я лукавой похвалы,
И от надежды до отчаянья,
И от Ачана до Яйлы.

Здесь всё, что им навек просрочено,
Здесь номера — как имена,
И Знак Почёта — как пощёчина,
И Шестидневная война.

И облизнул он губы синие,
И сел он, наконец, в такси...
Давно вперёд по красной линии
Промчались пасынки тоски.

Им не нужна его отметина —
Он им и так давно знаком, —
В аэропорте «Шереметьево»
Он — как в Бутырках под замком.

От контражура законного
Ещё темней, чем от стыда.
Его случайная знакомая
Прошла наверх и — в никуда.

Ведь погорельцем на пожарище,
Для всех чужой, и всем ничей,
Стоял последний провожающий
В кругу бессменных стукачей.

<1973>

* * *

Е. Невзглядовой

Понеслись кувыркком, кувыркком
Опечатки последнего тома!
Сколько лет я с тобою знаком?
Сколько дней ты со мною знакома?

Сколько медленных дней и минут...
Упустили мы время, разини!
Променяют — потом помянут, —
Так не зря повелось на России!

Только чем ты помянешь меня?
Бросишь в ящика пыльную прорубь?
Вдруг опять, среди белого дня,
Семиструнный заплещется голубь,

Заворкуют неладно лады
Под нытьё обесславленной квинты...
Если мы и не ждали беды,
То теперь мы воистину квиты!

Худо нам на восьмом этаже
Нашей блочно-панельной Голгофы!
Это есть. Это было уже,
Это спето — и сложено в строфы.

Это хворост для наших костров...
Снова лезут докучные гости.
И кривой кладовщик Иванов
Отпустил на распятие гвозди!

8 августа 1973

ОПЫТ ПРОЩАНИЯ

Сане Авербуху

Корабль готовится в отплытие,
Но плыть на нём —
Сойти с ума!
Его оснастку, как наитие,
Разрушат первые шторма.
И равнодушно ветры жаркие,
Не оценив его дебют,
Когда-нибудь останки жалкие
К чужому берегу прибьют!

Но вновь гуляют кружки пенные,
И храбро пьют:
За край земли!
И корабельщики степенные
В дорогу ладят корабли.

...Вот он стоит,
Красавец писанный!
Готовый вновь нести свой крест.
Уже и названный,
И признанный,
Внесённый в Ллойдовский реестр.

И я — с причала — полон нежности,
Машу рукою кораблю.
Позорным страхом безнадежности
Я путь его не оскорблю.

Пусть он услышит громы вечные,
Пусть он узнает
Счастье — быть.
И всё шепчу я строки вещице:
— Пльвём...
Пльвём!
Куда ж нам плыть?!

<1973?>

ОПЫТ НОСТАЛЬГИИ

...Когда переезжали через
Неву, Пушкин шутливо спросил:
— Уж не в крепость ли ты
меня везёшь?

— Нет, — ответил Данзас, —
просто через крепость на Чёрную
речку самая близкая дорога!

*Записано В. А. Жуковским
со слов секунданта
Пушкина — Данзаса.*

...То было в прошлом феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе...

Б. Пастернак

Мурка, не ходи, там сыч
На подушке вышит...

А. Ахматова

Не жалею ничуть, ни о чём, ни о чём не жалею,
Ни границы над сердцем моим не вольны,
Ни года!

Так зачем же я вдруг при одной только
мысли шалею,

Что уже никогда, никогда...
Боже мой, никогда!..

Подожди, успокойся, подумай —
А что — никогда?!

Широт заполярных метели,
Тарханы, Владимир, Ирпень —
Как много мы не доглядели,
Не поздно ль казниться теперь?!

Мы с каждым мгновеньем бессильней,
Хоть наша вина — не вина...
Над блочно-панельной Россией,
Как лагерный номер — луна.

Обкомы, горкомы, райкомы
В потёках снегов и дождей.
В их окнах, как бельма трахомы,
Давно никому не знакомы,
Безликие лики вождей.

В их залах прокуренных — волки
Пинают людей, как собак,
А после те самые волки
Усядутся в чёрные «Волги»,
Закурят вирджинский табак.

И дач государственных охра
Укроет посадских светил,
И будет мордастая ВОХРа
Следить, чтоб никто не следил.

И в баньке, протопленной жарко,
Запляшет косматая чудь...

Ужель тебе этого жалко? —
Ни капли не жалко, ничуть!

Я не вспомню, клянусь, я и первые годы
не вспомню:

Севастопольский берег,
Младенчества зыбкая быль,
И таинственный спуск в Херсонесскую
каменоломню,

И на детской матроске —
Эллады певучая пыль...

Я не вспомню, клянусь!
Ну, а что же я вспомню?

А что же я вспомню? —
Усмешку
На гадком чиновном лице,
Мою неуклюжую спешку
И жалкую ярость в конце.

Я в грусть по берёзкам не верю,
Разлуку слезами не мерь.
И надо ли эту потерю
Приписывать к счёту потерь?

Как каменный лес, онемело,
Стоим мы на том рубеже,
Где тело — как будто не тело,
Где слово — не только не дело,
Но даже не слово уже.

Идут мимо нас поколенья,
Проходят и машут рукой.
Презренье, презренье, презренье

Дано нам, как новое зренье
И пропуск в грядущий покой!

А кони?
Крылатые кони,
Что рвутся с гранитных торцов,
Разбойничий посвист погони,
Игрушечный звон бубенцов?!

А святки?
А прядь полушалка,
Что жарко спадает на грудь?
Ужель тебе этого жалко? —
Не очень...
А впрочем — чуть-чуть!

Но тает февральская свечка,
Но спят на подушке сычи,
Но есть ещё Чёрная речка,
Но есть ещё Чёрная речка,
Но — есть — ещё — Чёрная речка!..

Об этом не надо.
Молчи!

<1973?>

«Из опыта первой эмиграции мы знаем, что одной из самых распространённых болезней эмиграции... является болезнь — ностальгия. Вот я и решил, чтобы не болеть этой болезнью потом, — как делали с нами с детства — когда заболел корью какой-нибудь сосед, то нас туда водили, чтобы мы тоже заболели корью... Я решил «отностальгироваться» в Москве. Ещё сидя у себя дома, в своей квартире, я написал целый ряд песен, посвящённых

этой теме, чтобы... вот здесь уже... этой темой не заниматься...» (Из передачи на радио «Свобода» от 10 июля 1974 года)

КОГДА Я ВЕРНУСЬ

Когда я вернусь...
Ты не смейся — когда я вернусь,
Когда пробегу, не касаясь земли,
по февральскому снегу,
По еле заметному следу — к теплу и ночлегу —
И, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов
оглянусь, —

Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!..

Послушай, послушай, не смейся,
Когда я вернусь
И прямо с вокзала, разделавшись круто
с таможней,
И прямо с вокзала — в крошечный,
ничтожный, раёшный —
Ворвусь в этот город, которым казнюсь
и клянусь,

Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!..

Когда я вернусь,
Я пойду в тот единственный дом,
Где с куполом синим не властно
соперничать небо,
И ладана запах, как запах приютского хлеба,
Ударит в меня и заплещется в сердце моём —
Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!

Когда я вернусь,
Засвистят в феврале соловьи
Тот старый мотив — тот давнишний,
забытый, запетый.
И я упаду, побеждённый своею победой,
И ткнусь головою, как в пристань,
в колени твои!
Когда я вернусь...

А когда я вернусь?!

<Декабрь 1973>

«Я очень много пользуюсь — особенно в жанровых вещах — грубым уличным жаргоном. И это делается не для эпатажа, не для того, чтобы кого-то раздражить и кого-то позабавить. Вы, естественно, все читали Солженицына и Максимова, и вы знаете, что, в общем, вся наша вот эта последняя группа писателей, мы все очень широко пользуемся жаргоном... Потому что тот официальный казённый язык, он настолько лишён какой-либо мысли, информации, забит совершенно бессмысленными изречениями, не несущими в себе ничего. И от этого собачьего языка просто иногда хочется взвыть — ну ничего не понятно! Почему вдруг где-то в прекраснейшем месте, в такой роце берёзовой прибит плакат, который портит весь вид этой берёзовой роци, и на нём написано «Миролюбивую политику КПСС одобряем и поддерживаем!»?»
(Из передачи на радио «Свобода»)

КУМАЧОВЫЙ ВАЛЬС

Хоть на месяц сбежать в редколесье
Подмосковной условной глуши,
Где в колодце воды — хоть залейся
И порою весь день ни души!

Там отлипнет язык от гортани,
И не страшно, а просто смешно,
Что калитка, по-птичьи картавя,
Дребезжать заставляет окно.

Там не страшно, что хрустнула ветка
Поутру под чужим каблуком.

Что с того?!

Это ж просто соседка
Принесла нам кувшин с молоком.

Но, увы — но и здесь — над платформой,
Над антеннами сгорбленных дач,
Над берёзовой рощей покорной
Торжествует всё тот же кумач!

Он таращит метровые буквы,
Он вопит и качает права...
Только буквы, расчёртовы куклы,
Не хотят сочетаться в слова.

— Миру — мир!

— Мыру — мыр!

— Муре — мура!

— Мира — миг, мира — миф, в мире — мер...

И вникает в бессмыслицу хмуρο
Участковый милиционер.

Удостоенный важной задачей,
Он — и ночью, и утром, и днём —
Наблюдает за некою дачей,
За калиткой, крыльцом и окном.
Может, там куролесят с достатка,
Может, контра и полный блядѣж?!

Кумачовый блюстителъ порядка,
Для кого ты порядок блюдёшь?!

И, себя выдавая за знамя,
Но древко наклонив, как копьё,
Маскировочной сетью над нами
Кумачовое реет тряпье!

Так неужто и с берега Леты
Мы увидим, как в звёздный простор
Поплывут кумачовые ленты:
— Мира — миф!
— Мира — миг!
— Миру — мор!

<1974?>

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Во Всеобщей декларации прав человека, принятой и ратифицированной правительством Советского Союза, сказано: «Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая собственную, и возвращаться в свою страну». А мне в этом праве отказано уже дважды. «По идеологическим мотивам». Как наказание за то, что я пытался по ряду вопросов высказывать свою точку зрения, отличную от официальной.

Вот уже два с лишним года, после моего исключения из Союза писателей и Союза кинематографистов, я лишён других профессиональных прав: права увидеть своё произведение опубликованным, права заключать договор с театром, киностудией или издательством, права выступать публично. Когда показываются фильмы, поставленные в прошлые годы по моим сценариям, чья-то скрытая рука вырезает из титров мою фамилию. Я не только неприкасаемый, я ещё и непризнанный. Только на всякого рода за-

крытых собраниях, куда мне доступ заказан, моё имя иногда упоминается с добавлением оскорбительных и бранных эпитетов. Мне оставлено единственное право: смириться со своим полнейшим беспорядком, признать, что в 54 года жизнь моя, в сущности, кончена, получать мою инвалидную пенсию в размере 60 рублей в месяц и молчать. И ещё ждать.

В моём положении с человеком может случиться всё что угодно. Ввиду крайней опасности этого положения я вынужден обратиться за помощью к вам, Международному комитету прав человека, и через вас — к писателям, музыкантам, деятелям театра и кино, ко всем тем, кто, вероятно, по наивности продолжает верить в то, что человек имеет право высказывать собственное мнение, имеет право на свободу совести и слова, право покидать по желанию свою страну и возвращаться в неё.

Александр Галич

Постскрипtum. Я уже написал это письмо, когда узнал о том, что писателю Владимиру Максимову, человеку редкого таланта и мужества, тоже отказано в поездке. Таким образом, власть имущие высказали недвусмысленное намерение лишить нас не только профессиональных, но и гражданских прав. Мы (теперь я уже могу сказать мы) обращаемся за помощью к готовым оказать её каждому, кто в ней нуждается. А что если нам сообща вдруг удастся доказать правительствам стран, широковецательно объявившим о подписании Декларации, что слова о свободе — не пустые слова и что вера в права человека не так уж наивна.

А. Г.

Москва, 3 февраля 1974

«Как я полагал, меня почему-то должны все осуждать за это стихотворение. Я всё думаю — меня пока никто не осуждает, что меня очень удивило». (Фонограмма)

РУССКИЕ ПЛАЧИ

На степные урочища,
На лесные берлоги
Шли Олеговы полчища
По немирной дороге.
И, на марш этот гляючи,
В окаянном бессильи,
В голос плакали вятичи,
Что не стало России!

Ах, Россия, Расея —
Чем набат не веселье?

И живые, и мёртвые,
Все молчат, как немые.
Мы — Иваны Четвёртые,
Место лобное в мыле!
Лишь босой да уродливый,
Рот беззубый разиня,
Плакал в церкви юродивый,
Что пропала Россия!

Ах, Расея, Россия —
Все пророки босые!

Горькой горестью мечены
Наши беды и плачи —
От Петровской неметчины
До нагайки казачьей!
Птица вещая троечка,
Тряска вечная чёртова!

Как же стала ты, троечка,
Чрезвычайкой в Лефортово?!

Ах, Россия, Расея —
Ни конца, ни спасенья!

Что ни год — лихолетие,
Что ни враль — то Мессия!
Плачет тысячелетие
По России — Россия!
Плачет в бунте и в скучности...
А попробуй спроси —
Да была ль она, в сущности,
Эта Русь на Руси?

Эта — с щедрыми нивами,
Эта — в пене сирени,
Где рождаются счастливыми
И отходят в смиреньи,
Где, как лебеди, девицы,
Где под ласковым небом
Каждый с каждым поделится
Божьим словом и хлебом.
Листья падают с деревца
В безмятежные воды,
И звенят, как метелица,
Над землёй хороводы.
А за прялкой беседы,
На крыльце полосатом
Старики-домоседы
Знай дымят самосадом,
Осень в золото набрана,
Как икона в оклад...

Значит, всё это наврано, —
Лишь бы в рифму да в лад?!

Чтоб, как птицы на дереве,
Затихали в грозу,
Чтоб не знали, но верили
И роняли слезу.
Уродилась, проказница, —
Весь бы свет ей крушить,
Согрешивши — покаяться
И опять согрешить!
Барам в ноженьки кланяться,
Бить челом палачу!

...Не хочу с тобой каяться
И грешить не хочу!
Переполнена скверною
От крыши до дна...

Но ведь где-то, наверное,
Существует — Она?!
Та — с привольными нивами,
Та — в кипеньи сирени,
Где рождаются счастливыми
И отходят в смиреньи...

Птица вещая троечка,
Буйный свист под крылом!
Птица, искорка, точка
В бездорожьи глухом!
Я молю тебя:
— Выдюжи!
Будь и в тленьи живой,
Чтоб хоть в сердце, как в Китеже,
Слышать благовест твой!..

10 апреля 1974

Рувим Рублёв, собиратель авторской песни:

«Но вот пронёсся слух, что Александр Галич подал в ОВИР документы на выезд. Миша [Крыжановский] съездил в Москву и, вернувшись, подтвердил: действительно, документы поданы, и Галич сейчас занят сбором средств для того, чтобы «выкупить» себя и свою семью. Сразу же мы решили собрать эти средства. Но как заставить принять эти деньги? Тогда решили организовать последний концерт Александра Галича в Ленинграде, где бы он исполнил все до одной свои песни в хронологическом порядке и со всеми комментариями, записать его на хорошей аппаратуре, а нужную сумму заплатить в качестве гонорара. Так и сделали. Галич согласился провести такой концерт-запись, на котором с ним могли бы попрощаться все ценители его творчества.

Галич приехал и остановился в одной из крупнейших гостиниц города. Миша явился к нему со своим магнитофоном с утра, и запись началась. Не торопясь, обстоятельно, Галич рассказывал о том, как он пришёл в своём творчестве к созданию песен, исполнял их одну за другой. О многих песнях Миша даже не знал, что они написаны Галичем, а некоторые из них слышал вообще в первый раз.

Постепенно номер гостиницы всё больше заполнялся людьми. Приходили друзья Галича, коллекционеры, барды, приводили своих друзей и родственников. Каждый приносил цветы, коньяк, шампанское.

Когда мы с приятелем, хорошо знавшим Галича, вошли в номер, там уже было много народу. Певец сидел с гитарой в руках перед небольшим гостиничным столиком, на котором стояли два микрофона и лежала тетрадь с его стихами, куда он изредка заглядывал. Вокруг столика красовалась огромная батарея бутылок всех мастей попеременно с букетами цветов: картина

весьма впечатляющая. Позже снимки, сделанные в тот день, украсили стену Мишиной квартиры. Надо сказать, что у него стены были увешаны большими фотографиями бардов и непременно с автографами. На многих из них — известный подпольный концерт ленинградских бардов под открытым небом за городом. Все участники его, включая и Кукина, и Кима, и Высоцкого, который был почётным гостем, выступали в пляжных костюмах. Микрофон привязали к осиновому колу, вбитому в землю. Зрители и слушатели лежали и сидели прямо на земле.

Но вернёмся к концерту Галича. Он пел уже в течение четырёх часов. Наконец, решили сделать передышку и проветрить номер. Открыли окна, и все вышли в неширокий коридор. Закурили. Я попросил моего друга познакомить меня с Галичем и задал ему вопрос, который часто обсуждался и всякий раз вызывал споры: имеют ли моральное право молодые барды, не пережившие лично ужасов сталинских лагерей и чекистских застенков, писать об этом песни? И я показал ему текст своей песни «Гитара висела на стенке, хозяин сидел в застенке», посвящённой Галичу. Бард внимательно прочёл текст, скользнул глазами по посвящению и сказал, что песня неплоха, а ответ на мой вопрос каждый должен найти в своём сердце, соразмерив его со своим дарованием поэта.

Галич пел и рассказывал ещё около двух часов. Когда он спел свою последнюю песню, написанную всего за два дня до приезда в Ленинград, то настолько устал, что руки не могли больше держать гитару.

Затем был прощальный тост, прощальные рукопожатия, поцелуи и слёзы. Выходили мы тесной гурьбой, окружая Мишу с его магнитофоном. Шесть лент с записями спрятали на груди самые сильные: никто не знал, чем мог закончиться этот вечер. У подъезда гос-

тиницы или за углом её вполне могла стоять «оперативка»... К счастью, в этот раз всё обошлось спокойно».

«...В этот майский памятный день [30 мая 1974 года] мне довелось в последний раз (потому что вскоре я навсегда покинул Советский Союз) быть на его могиле... Я приехал заранее с тем, чтобы встать как можно раньше. Я уже не был тогда членом Союза советских писателей, естественно, поэтому не поселился в писательском городке, а снял комнату в рабочем посёлке на другой стороне станции.

И вот утром, рано утром, я пришёл на могилу Бориса Леонидовича. Там уже было довольно много народу. Несмотря на то что день был рабочий, будничный, всё равно люди ехали, приходили со всех сторон. Некоторые приезжали на машинах, но большинство вышло из электрички на платформе станции Переделкино, шло мимо золотых куполов Патриаршьего подворья и входило «в нагой трепещущий ольшаник, в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник».

Судя по этим стихам, Борис Леонидович думал, что смерть его придёт осенью. А смерть его была весенняя смерть. Смерть — возрождение. Смерть — начало новой, вечной, бессмертной жизни.

Когда я пришёл на могилу (как я уже сказал, там было довольно много народу), за оградой кладбища, расположившись на траве, на мокрой траве, сидела компания весьма подозрительных людей, вот тех же самых, которые когда-то провозжали гроб Пастернака в день похорон. Тех же самых кэзбистов, переодетых в штатское. Они сидели прямо на траве, делали вид, что с наслаждением едят бутерброды, и с не меньшим

вниманием, с не меньшим увлечением прислушивались к тому, что говорится у этой могилы под тремя соснами, на этой горке, с которой открывается переделкинский луг и далеко-далеко, если приглядеться, видна дача, дом, где жил Борис Леонидович.

Читались стихи на могиле. Много читали стихов. Читали пастернаковские стихи, читали свои собственные никому не известные молодые люди и известные. Читал стихи и я. Не мог себе отказать. А потом, вечером, по приглашению сыновей Бориса Леонидовича, мы, несколько человек, пришли в дом Пастернака. Были сумерки, золотые майские сумерки, света ещё не зажигали. Мы стояли в этих комнатах, в которых всё ещё царил дух Бориса Леонидовича, всё ещё казалось, что вот он где-то сейчас ходит, думает, бормочет свои стихи...» (Из передачи на радио «Свобода» от 28 мая 1975 года)

МЫ ПО ГЛОБУСУ ПОЛЗАЕМ

Там шумят чужие города
И чужая плещется вода.

А. Вертинский

Мы по глобусу ползаем —
Полная блажь.
Что нам Новый Свет?
Что нам Старый Свет?
Всё давно подсчитано
Баш на баш.
И ставок больше нет.

А ставок больше нет как нет,
А ставок больше нет,
И нам не светит Новый Свет,
И нам не светит Старый Свет.

А сколько нам осталось лет?
А ставок больше нет.

Там шумят чужие города
И чужое плещется вино...
Всё равно мы едем в никуда,
Так не всё ль равно?

Ничего — это гурнышт¹, и здесь и там,
И пора идти покупать билет.
Я бы отдал всё... Только что я отдам,
Если ставок больше нет?

А ставок больше нет как нет,
А ставок больше нет,
И нам не светит Новый Свет,
И нам не светит Старый Свет.
А сколько нам осталось лет?
А ставок больше нет.

Тишина сомкнётся, как вода,
Только ветер постучит в окно.
Всё равно мы едем в никуда,
Так не всё ль равно?

Вот шарик запрыгал, вертлявый бес.
Угадать бы — какой он выберет цвет?
Только мы не играем на интерес,
Ибо ставок больше нет.

А ставок больше нет как нет,
А ставок больше нет,
И нам не светит Новый Свет,
И нам не светит Старый Свет.

¹ Гурнышт — ничего (*идиш*). (Прим. сост.)

А сколько нам осталось лет?
А ставок больше нет.

Понесут, как лошади, года.
Кто предскажет, что нам суждено?
Всё равно мы едем в никуда,
Так не всё ль равно?

<1974>

МАРШ МАРОДЁРОВ

Упали в сон победители
И выставили дозоры.
Но спать и дозорным хочется,
А прочее — трын-трава!
И тогда в покорённый город
Вступаем мы — мародёры,
И мы диктуем условия
И предъявляем права!

Слушайте марш мародёров!
(Скрип сапогов по гравию!)
Славьте нас, мародёров,
И веселую нашу армию!
Слава! Слава! Слава нам!

Спешат уцелевшие жители,
Как мыши, забиться в норы.
Девки рядятся старухами
И ждут благодатной тьмы.
Но нас они не обманут,
Потому что мы — мародёры,
И покуда спят победители,
Хозяева в городе — мы!

Слушайте марш мародёров!..

Двери срывайте с петель,
Тащите ковры и шторы,
Всё пригодится — и денежки,
И выпивка, и жратва!
Ах, до чего же весело
Гуляем мы, мародёры,
Ах, до чего же веские
Придумываем слова!

Слушайте марш мародёров!..

Сладко спят победители.
Им снятся золотые горы,
Им снятся знамя Победы,
Рябое от рваных дыр.
А нам и поспать-то некогда,
Потому что мы — мародёры.
Но, спятив с ума от страха,
Нам — рукоплещет мир!

Слушайте марш мародёров!..

И это ещё не главное.
Главного вы не видели.
Будет утро и солнце
В праздничных облаках.
Горнист протрубит побудку,
Сон стряхнут победители
И увидят, что знамя Победы
Не у них, а у нас в руках!

Слушайте марш... Марш...

И тут уж нечего спорить.
Пустая забава — споры.
Когда улягутся страсти
И развеется бранный дым,
Историки разберутся —
Кто из нас мародёры,
А мы-то уж им подсказем!
А мы-то уж их просветим!

Слушайте марш победителей!

Играют оркестры марши
Над пропастью плац-парада.
Девки машут цветами.
Строй нерушим и прям.
И стало быть — всё в порядке!
И стало быть, всё, как надо —
Вам, мародерам, пуля!
А девки и марши — нам!

Слушайте марш победителей!
(Скрип сапогов по гравию!)
Славьте нас, победителей,
И великую нашу армию!
Слава! Слава!! Слава нам!!!

<1974?>

ПЕСЕНКА ПРО КРАСНОГО ПЕТУХА

Мы дождёмся, чтоб скучный закат потух,
И при свете рябой луны
Пусть Красный петух и Чёрный петух

Нам покажут —
На что годны!

У Чёрного, дьявола, стать неплоха,
И в бою он будет хорош,
Но я на Красного петуха
Истратил последний грош!

И вот мы до трёх сосчитаем вслух,
И — прыгнув из потных рук,
Красный петух и Чёрный петух
Выйдут в заветный круг.

Теперь —
Глади, затаивши дух!
(Пусть куры вопят:
— Разбой!)
Красный петух и Чёрный петух
Вступают в смертельный бой!

Ах, я говорил, что Чёрный петух
Всем сущим чертям — родня...
Но Красный петух дерётся за двух:
За себя и — за меня!

Смелее же, брат мой, Красный петух,
Я верю в тебя, мой брат!
А в небе тучи — кровавый пух,
И грозно гудит набат.

И в этой земной юдоли греха
Позвольте вам дать совет:
Ставьте на Красного петуха —
Надёжнее ставки нет!..

<1974?>

ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ

Снова даль предо мной неоглядная,
Ширь степная и неба лазурь.
Не грусти ж ты, моя ненаглядная,
И бровей своих тёмных не хмурь!

Вперёд,
За взводом взвод!
Труба боевая зовёт!
Пришёл из ставки
Приказ к отправке,
И значит, нам пора в поход!

В утро дымное, в сумерки ранние,
Под смешки и под пушечный «бах»,
Уходили мы в бой и в изгнание
С этим маршем на пыльных губах.

Вперёд,
За взводом взвод!
Труба боевая зовёт!
Пришёл из ставки
Приказ к отправке,
И значит, нам пора в поход!

Не грустите ж о нас, наши милые,
Там, далёко, в родимом краю!
Мы всё те же домашние, мирные,
Хоть шагаем в солдатском строю.

Вперёд,
За взводом взвод!
Труба боевая зовёт!
Пришёл из ставки

Приказ к отправке,
И значит, нам пора в поход!

Будут зори сменяться закатами,
Будет солнце катиться в зенит.
Умирать нам, солдатам, — солдатами,
Воскресать нам — одетым в гранит!

Вперёд,
За взводом взвод!
Труба боевая зовёт.
Пришёл из ставки
Приказ к отправке,
И, значит, нам пора в поход!

<1974>

«Я решил написать цикл, — несмотря на свое христианское вероисповедование, я написал... решил написать цикл почти языческих заклинаний. Ну, так сказать, языческое заклинание добра и зла». (Фонограмма)

ЗАКЛИНАНИЕ ДОБРА И ЗЛА

Здесь в окне, по утрам, просыпается свет,
Здесь мне всё, как слепому, на ощупь знакомо...
Уезжаю из дома!
Уезжаю из дома!
Уезжаю из дома, которого нет.

Это дом и не дом. Это дым без огня.
Это пыльный мираж или Фата-Моргана.
Здесь Добро в сапогах, рукояткой нагана
В дверь стучало мою, надзирая меня.

А со мной кочевало беспечное Зло,
Отражало вторженья любые попытки,

И кофейник с кастрюлькой на газовой плитке
Не дурили и знали своё ремесло.

Всё смешалось — Добро, Равнодушие, Зло.
Пел сверчок деревенский

в московской квартире.

Целый год благодати в безрадостном мире —
Кто из смертных не скажет, что мне повезло?!

И пою, что хочу, и кричу, что хочу,
И хожу в благодати, как нищий в обновке.
Пусть движенья мои в этом платье неловки —
Я себе его сам выбирал по плечу!

Но Добро, как известно, на то и Добро,
Чтоб уметь притвориться и добрым, и смелым,
И назначить, при случае, чёрное — белым,
И весёлую ртуть превращать в серебро.

Всё причастно Добру,
Всё подвластно Добру.
Только с этим Добрынею взятки не гладки.
И готов я бежать от него без оглядки
И забиться, зарыться в любую нору!..

Первым сдался кофейник:
Его разнесло,
Заливая конфорки и воздух поганя...
И Добро прокричало, гремя сапогами,
Что во всём виновато беспечное Зло!

Представитель Добра к нам пришёл поутру,
В милицейской (почудилось мне)
плащ-палатке...

От такого попробуй — сбеги без оглядки,
От такого поди-ка заройся в нору!

И сказал Представитель, почтительно-строг,
Что дела выездные решают в ОВИРе,
Но что Зло не прописано в нашей квартире
И что сутки на сборы — достаточный срок!

Что ж, прощай, моё Зло!

Моё доброе Зло!

Ярым воском закапаны строчки в псалтыри.
Целый год благодати в безрадостном мире —
Кто из смертных не скажет, что мне повезло!
Что ж, прощай и — прости!

Набухает зерно.

Корабельщики ладят смолёные доски.

И страницы псалтыри — в слезах, а не в воске,
И прощальное в кружках гуляет вино!

Я растил эту ниву две тысячи лет —

Не пора ль поспешить к своему урожаю?!

Не грусти!

Я всего лишь навек уезжаю

От Добра и из дома —

Которого нет!

14 июня 1974

«Мне всё-таки уже было под пятьдесят. Я уже всё видел. Я уже был благополучным сценаристом, благополучным драматургом, благополучным советским холуём. И я понял, что я так больше не могу, что я должен наконец-то заговорить в полный голос, заговорить правду. Кончилось это довольно печально, потому что, в общем, в отличие от некоторых моих соотечественников, которые считают, что я уезжаю — я ведь, в сущности, не уезжаю. Меня выгоняют. Это нужно абсолютно точно понимать. Знаете, эта добровольность этого отъезда — она номинальная, она — фиктивная

добровольность, она, по существу, вынужденная. Но всё равно. Это земля, на которой я родился. Это мир, который я люблю больше всего на свете. Это даже «посадский», «слободской» мир, который я ненавижу лютой ненавистью и который всё-таки мой мир, потому что с ним я могу разговаривать на одном языке. Это всё равно то небо, тот клочок неба, большого неба, которое накрывает всю землю, но тот клочок неба, который — мой клочок. И поэтому единственная моя мечта, надежда, вера, счастье и удовлетворение в том, что я всё время буду возвращаться на эту землю. А уж мёртвый-то я вернусь в неё наверняка». (Фонограмма)

Валерий Гинзбург:

«К 1974 году Сашка был лишен всех средств к существованию. Мы с ним ездили в комиссионные магазины, что-то сдавали. А ближе к весне началась лихорадочная подготовка к отъезду, когда ему уже было официально предложено выехать. Они должны были уехать в последних числах июня, но неожиданно Галича вызвали в ОВИР и предложили выехать 24 июня. А вызвали его 22-го, то есть оставалось два дня. Какие-то доброхоты сказали, что это связано с приездом Никсона в СССР».

«Последние дни в Москве, многие из вас помнят это не хуже, чем я, были совершенным безумием. Разрешение на выезд мы получили двадцатого июня, а билеты на самолёт власти любезно забронировали для нас уже на двадцать пятое. Кстати, в самолёте нас было всего четыре человека, и незачем было бронировать места. Но, как вы помните, за четыре дня нам предстояло покончить со всей нашей прошлой жизнью. Продать квартиру и вещи, получить визы в голландском и

австрийском посольствах, упаковать и отправить багаж, проститься с близкими, друзьями». (Из передачи на радио «Свобода» от 31 августа 1974 года)

Валерий Гинзбург:

«Саша ничего из книг с собой не взял. Только собрание сочинений Пушкина — и всё. В отличие от тех многих людей, которых я потом видел в эмиграции, гуманитариев, уехавших из Советского Союза. Я знаю, что Ефим Григорьевич Эткинд, к счастью, сумел вывезти из Ленинграда всю свою библиотеку. Галичи ничего с собой не забрали. Многое раздали, что-то продали. Поэтому с таможней они разобрались легко — вещей было немного».

Раиса Орлова:

«Он эмигрировал по общему пути — вызов из Израиля. Правда, у него было и приглашение от скандинавского общества новообращённых христиан».

Исай Кузнецов:

«В день отъезда Галича, по существу — изгнания, мы пришли к нему с [Авениром] Заком. Я принёс ему рукопись «Генеральной репетиции», которую он давал мне прочесть. У меня были кое-какие замечания, которые хотелось ему высказать.

Саша слушал внимательно и в то же время отрешённо... Приходили и уходили какие-то люди, некоторые подолгу сидели, молчали. У Галича было растерянное, чуть удивлённое выражение глаз. Помню Бена Сарнова, Горбаневскую, просившую что-то кому-то передать, записывающую какой-то адрес. Саша кивал, переводил взгляд с одного присутствующего на другого, казалось, не понимал, что же, собственно, происходит».

Алёна Архангельская:

«Когда отец выходил из дома, во дворе все окна были открыты, многие махали ему руками, прощались... Была заминка на таможне, когда ему устроили досмотр. Уже в самолёте сидел экипаж и пассажиры, а его всё не пускали и не пускали. Отцу было велено снять золотой нательный крест, который ему надели при крещении, дескать, золотой и не подлежит вывозу. На что папа ответил: «В таком случае я остаюсь, я не еду! Всё!» Были длительные переговоры, и наконец велено было его выпустить».

Валерий Гинзбург:

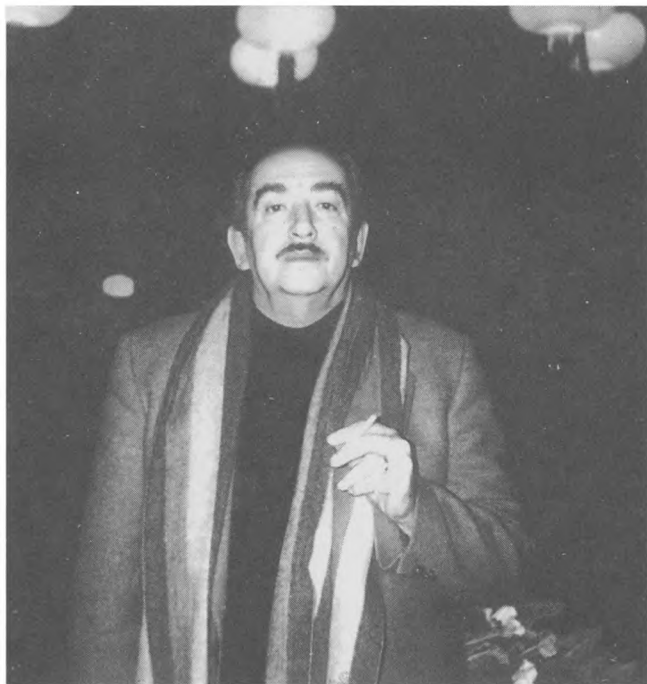
«Никогда не забуду, как кончились эти проводы в «Шереметьеве» — в нынешнем «Шереметьеве-1». Длинный стеклянный коридор — пустой. Саша шёл один, в руке у него была гитара, мы уже вышли из помещения, и нам был виден этот коридор стеклянный. И он шёл по стеклянному коридору, подняв гитару, махал этой гитарой. По сути дела мы его хоронили. Потому что в то время уезжать значило уезжать нас всем. Так и случилось».





Всё равно мы едем
в НИКУДА...





А. Галич. Италия, 1977 г. За две недели до трагической гибели.



«Но вот мы прилетели в Вену, нас встретил на аэродроме представитель норвежского посольства. И три дня в Вене мы провели в резиденции норвежского посла — господина Лунде, который был чрезвычайно любезен и говорил, между прочим, превосходно по-русски, что как бы облегчило и сделало постепенным наш переход к иноязычию.

Потом — Франкфурт. Знакомство и встреча с новыми и старыми друзьями, концерт в редакции «Посева», бесконечные разговоры, интервью... После короткой остановки в Копенгагене... мы будем в Осло, где хорошая погода, где ждут друзья... Самолёт совершает посадку, и вот... Ну конечно же, они нас встречают! Виктор Спарре со своею прелестной женой Озе Марией, с дочками и вместе с ними множество корреспондентов... Тут же, на аэродроме, не успев ещё как следует поздороваться со всеми встречающими, я даю своё первое в Норвегии интервью».

* * *

Что у вас на Охте и на Лахте?
Как вам там живётся-суетится?
А у нас король ушёл на яхте
И сказал, что скоро возвратится.
Он работал до седьмого пота,
Он водою запивал облатки.

Это очень трудная работа —
Королевство содержать в порядке.
Накорми-ка подданных, одень-ка!
Чтоб всегда, как в школе перемена,
К Рождеству у каждого индейка,
А уж [выпить] — это непременно.

<Из «Норвежского дневника», 7 июля 1974>

* * *

Это вовсе не дом — Храм!
И не просто корабль — «Фрам»!
Эй! Увитые эполетьем
Адмиралы и шкипера!
Ниже головы перед этим
Всем народам и всем столетьям
Даром мужества и добра!

Норвегия, 1974

* * *

Посошок бы выпить на дорожку,
Только век, к несчастью, не такой.
Втиснуться б ногою на подножку,
Ухватить бы поручень рукой!
И плевать, что, боль свою осия,
Мы твердим, что горе не беда...
Долго ль уходить тебе, Россия?
Долго ль уплывать тебе, Россия?
Уезжать — неведомо куда?..

<1974>

* * *

Мы пускаем гитару, как шапку — по кругу.
Кто-то против поёт,
Кто-то, кажется, за!
Пусть слова непонятны
Новому другу,
Но понятны, понятны, понятны — глаза.

<1974>

* * *

Нам такое прекрасное брезжится,
И такие дали плывут...
Веком беженцев, веком беженцев
Наш XX век назовут.

Рождество, Рождество, Рождество!
Вот куда привело торжество
Нас из Чили, Сайгона и Бежицы.
Как справляется там Рождество?
Впрочем, что нам искать тождество!
Мы тождественны в главном:
Мы — беженцы!

Мы бежали от подлых свобод,
И назад нам дорога заказана.
Мы бежали от пошлых забот —
Быть такими, как кем-то приказано!

В этом мире Великого Множества
Рождество зажигает звезду.
Только мне почему-то неможется,
Всё мне колется что-то и ёжится,
И никак я себя не найду!

И, немея от вздорного бешенства,
Я гляжу на чужое житьё...
И полосками паспорта беженца
Перекрещено сердце моё.

Норвегия, 1974

«И вот я иду по главной улице главного города этой страны — Норвегии, которая стала моей новой страной. И всё мне здесь ещё непонятно, я ещё почти глухонемой, я чувствую себя немножко контуженным. Потому что я не понимаю, о чём говорят проходящие мимо меня люди, над чем они смеются...» (Фонограмма)

* * *

В этой странной стране Манекении
Есть свои недотёпы и гении,
Есть могучие, есть увечные,
Джентльмены есть и убийцы...
Только сердца нет человеческого,
Что однажды может разбиться.

<1974>

* * *

А было недавно, а было давно,
А даже могло и не быть...
Как много, на счастье, нам помнить дано,
Как много, на счастье, забыть!..

В тот год окаянный, в той чёрной пыли,
Омытые морем кровей,
Они уходили не с горстью земли,
А с мудрою речью своей.

И в старь-престарь прабабкин ларец
Был каждый запрягать готов
Не ветошь давно отзвеневших колец,
А строчки любимых стихов.

А их увозили — пока — корабли,
А их волокли поезда...
И даже подумать они не могли,
Что это «пока» — навсегда.

И даже представить они не могли,
Что в майскую ночь, наугад,
Они, прогулявшись по рю Риволи,
Потом не свернут на Арбат.

И в дым [перекрёстков], навстречу судьбе,
И в склон переулков речных,
Где нежно лицо обжигают тебе
Лохмотья черёмух ночных.

Ну, ладно, и пусть ни двора, ни кола,
И это — Париж, не Москва.
Ты в окна гляди, как глядят в зеркала,
И слушай шаги, как слова.

Я кланяюсь низко сумевшим сберечь,
Ронявшим легко, невзначай
Простые слова расставаний и встреч:
«О, здравствуй, мой друг!», «О, прощай!»

Вы их сохранили, вы их сберегли,
Вы их пронесли сквозь года!..
И снова уходят в туман корабли
И плачут во тьме поезда...

И в наших вещах не звенит серебро,
И путь наш всё так же суров.

Мы помним слова «Благодать» и «Добро»
И строчки всё тех же стихов.

Поклонимся ж низко парижской родне,
Нью-йоркской, немецкой, английской родне,
И скажем: «Спасибо, друзья!
Вы русскую речь закалили в огне,
В таком нестерпимом и жарком огне,
Что жарче придумать нельзя!»

И нам её вместе хранить и беречь,
Лелеять родные слова.
А там, где жива наша русская речь,
Там — вечно — Россия жива!

<1974>

Юлиан Панич, сотрудник радио «Свобода»:

«Помню своё первое впечатление от встречи и знакомства с Александром Галичем. Красивый, высокий, он мне напоминал особой статью мхатовских актёров-стариков: ходил с палкой — болели ноги. Придя в студию, он прежде всего спрашивал: на сколько минут рассчитана его передача. Потом Аркадьевич, как все называли Галича, брал гитару, садился у микрофона, закуривал сигарету, хотя делать это было строжайше запрещено. Через минуту раздавался его спокойный голос, приветствовавший слушателей: «Здравствуйте, дорогие друзья!» И без всякой шпаргалки он вёл программу, укладываясь в точно отмеренные минуты, оставляя время на то, чтобы диктор успел сказать: «Вы слушали передачу «У микрофона Галич». Начальство не скрывало своего удивления, что он не читает заготовленные тексты, не корпит над пишущей машинкой.

После окончания передачи Галич молча брал гитару

и тихо уходил из студии, сразу состарившись на десять лет.

...Галич потрясающе читал, обладая той мерой благородства, которой не хватало многим выступающим перед микрофоном радиостанции «Свобода». Аркадьевич восхищал всех нас, его коллег, удивительным владением русским языком, фантастическим знанием поэзии.

Помню, как я сидел за режиссёрским пультом, а он не переводя дыхания цитировал произведения русских поэтов от Тютчева и Фета до Исаковского и Долматовского. И как цитировал!»

«...За время моего пребывания в Израиле я дал восемнадцать концертов... Слушало меня больше четырнадцати тысяч человек ...Побывал я в тринадцати городах. И все эти города, по существу, отвоеваны у пустыни. Все эти города построены, как детские сказочные домики, построены на песке. И когда я ездил, я всё время думал о том, как это странно, как <...> люди здесь отвоевали песок, отвоевали пустыню, завоевали её, завоевали место себе здесь...» (Из передачи на радио «Свобода» от 28 декабря 1975 года)

ПЕСОК ИЗРАИЛЯ

Вспомни —

На этих дюнах, под этим небом,

Наша — давным-давно — началась судьба

С пылью дорог изгнания и с горьким хлебом...

Впрочем, за это тоже:

— Тодá рабá¹!

¹ Тодá рабá — большое спасибо (*изврит*). (Прим. сост.)

Только
Ногой ты ступишь на дюны эти,
Болью — как будто пулей — прошьёт висок,
Словно из всех песочных часов на свете
Кто-то сюда веками свозил песок!

Видишь —
Уже светает над краем моря,
Ветер далёкий благовест к нам донёс,
Волны подходят к дюнам, смывая горе,
Сколько уже намыто утрат и слёз?!

Сколько
Утрат, пожаров и лихолетий?
Скоро ль сумеем им подвести итог?!
Помни —
Из всех песочных часов на свете
Кто-то сюда веками свозил песок!

<1975>

БИРЮЛЬКИ **Авангардный этюд**

Исидор пришел на седер,
Принёс он мацу и сидр.
Но был у хозяйки сеттер —
И его боялся Исидор.

Хозяйка пропела:
— Иси-и-и-дор!

И сеттер понял:
— Иси!
Пропали маца и сидр,
А Исидор сказал:
— Мерси!

А сидр вылакал сеттер,
И, узнав по запаху сидр,
Сказала хозяйка:
— На седер
Не приносят сидр, Исидор!

<1975?>

ВЕЧНЫЙ ТРАНЗИТ

Посошок напоследок,
Всё равно, что вода.
То ли — так,
То ли — этак,
Мы уйдём в никуда.
Закружим суховеем
Над распутицей шпал.
Оглянуться не смеем,
Оглянулся — пропал!

И всё мы себя подгоняем — скорее!
Всё путаем Ветхий и Новый Завет.
А может быть, хватит мотаться, евреи,
И так уж мотались две тысячи лет?!

Мы теперь иностранцы.
Нас бессмертьем казнит
Пересадочных станций
Бесконечный транзит.
И как воинский рапорт —
Предотъездный свисток...
Кое-кто — на Восток,
Остальные — на Запад!

Под небом Австралий, Италий, Германий
Одно не забудь
(И сегодня, и впредь!),

Что тысячу тысяч пустых оправданий —
Бумаге — и той — надоело терпеть!

Паровозные встречи —
Наша боль про запас.
Те, кто стали далече, —
Вспоминают ли нас?
Ты взгляни — как тоскует
Колесо на весу...
А кукушка кукует
В подмосковном лесу!

Ну что ж, волоки чемодан, не вздыхая,
И плакать не смей, как солдат на посту.
И всласть обнимай своего вертухая
Под вопли сирен на Бруклинском мосту.

Вот и канули в Лету
Оскорбленье и вой.
Мы гуляем по свету,
Словно нам не впервой!
Друг на друга похожи,
Мимо нас — города...
Но Венеция дождей —
Это всё-таки да!

В каналах вода зелена нестерпимо,
И ветер с лагуны пронзительно сер.
— Вы, братцы, из Рима?
— Из Рима, вестимо!
— А я из-под Орши! — сказал гондольер.

О, душевные травмы,
Горечь горьких минут!
Мы-то думали:
Там вы.
Оказались — и тут.

И живём мы, не смея
Оценить благодать:
До холмов Иудеи,
Как рукою подать!

А может, и впрямь мы, как те лицедеи,
Что с ролью своей навсегда не в ладах?!
И были нам ближе холмы Иудеи —
На Старом Арбате, на Чистых прудах!

Мы, как мудрые совы,
Зорко смотрим во тьму.
Даже сдаться готовы —
Да не знаем кому!
С горя вывесим за борт
Перемирья платок,
Скажем:
Запад есть Запад,
А Восток есть Восток!

И всё мы себя подгоняем:
— Скорее!
Всё ищем такой очевидный ответ,
А может быть, хватит мотаться, евреи,
И так уж мотались две тысячи лет?!

<1975>

Игорь Голомшток, искусствовед:

«Помню, после первой поездки в Израиль он приехал совершенно окрылённый потому, что там были полные залы, его там встречали как барда, как поэта. Он приехал с идеей, что надо ехать в Израиль жить, но это тоже была некоторая иллюзия, потому что, когда второй раз он поехал, уже столько народу не было. Не было потому, что его менеджер снял большие залы, заломил большие деньги, а в общем-то денег у людей

мало было, на первый раз они выложились, а второй раз уже больше платить многие, очевидно, не могли себе позволить».

Наталья Рубинштейн:

«Когда Галич во второй раз приехал в Израиль, он пел в почти пустых залах. Но провалился он не во второй раз, а в первый. От концертных этих впечатлений становилось тревожно. Выходило, что перемена географии — для кого подарок судьбы, а для кого — личная обида, но для всех — тяжёлая задача осуществления себя заново».

**БЛЮЗ
ДЛЯ МИСС ДЖЕЙН**

Голос, голос.

Ну что за пленительный голос.

Он как будто расшатывал обручи глобуса

И летел звездопадом над линией фронта.

Мисс Фонда?

Там, в Сайгоне, прицельным огнём

протараненном,

Где всевластна пальба и напрасна мольба,

В эту ночь вы, должно быть,

сидите над раненым

И стираете кровь с опалённого лба?

А загнанных лошадей пристреливают,

А загнанных лошадей пристреливают

В сторонке, там, за деревьями,

Где кровью земля просолена.

А загнанных лошадей пристреливают,

А загнанных лошадей пристреливают,

Где кровью земля просолена.
А загнанных лошадей пристреливают,
А загнанных лошадей пристреливают,
Хотя бы просто из жалости.
А жалеть-то ещё позволено?

Что ж, не будем корить вероломную моду.
Лишь одно постараемся помнить всегда:
Красный цвет означает не только свободу,
Красный цвет иногда ещё — краска стыда!

<1976?>

* * *

Какие нас ветры сюда занесли,
Какая попутала бестия?!
Шел крымский татарин
По рю Риволи,
Читая газету «Известия»!

<1976?>

**ПЕСЕНКА О ДИКОМ ЗАПАДЕ,
ИЛИ ПИСЬМЕЦО В МОСКВУ,
ПЕРЕПРАВЛЕННОЕ С ОКАЗИЕЙ**

Вы на письма слёз не капайте,
И без них — душа вздрог!
Мы живём на Диком Западе,
Что и впрямь изрядно дик!

Но не дикостью ковбойскою.
Здесь иную ткут игру:
Пьют, со смыслом, водку польскую
Под московскую икру.

Здесь, на Западе,
Распроданном
И распятом на пари,
По Парижам и по Лондонам,
Словно бесы, —
Дикари!

Околдованные стартами
Небывалых скоростей,
Оболваненные Сартрами
Всех размеров и мастей!

От безделья, от бессилия
Им всего любезней — шум!
И чтоб вновь была Бастилия,
И чтоб им идти на штурм!

Убеждать их глупо —
Тени же!
Разве что спросить тайком:
— А не били ль вас, почтеннейший,
По причинным — каблуком?!

Так что вы уж слёз не капайте,
И без них —
Душа враздрыг!
Мы живём на Диком Западе,
Что — и впрямь — изрядно дик!

<1976?>

Игорь Голомшток:

«Я был с ним знаком последний период его жизни, который был для него очень трагический, очень тяжёлый, очень сложный — по его ситуации, по его внутреннему ощущению, по линии жизни, в которую он был вставлен. Галич при всём при том оставался Галичем, оставался личностью в высшей степени чистой и

великой. Я его очень любил. Но вот как описать его пребывание на «Либерти» в Мюнхене и всю ту грязь, которая вокруг него «вращалась»... Обстоятельства, которые сопровождали его жизнь на «Либерти», были очень неприятны, а для Галича очень болезненны и почти убийственны. Но главное, не говоря уже о всём прочем, просто у него не было аудитории. И когда его приглашали в богатые дома старых эмигрантов, он пел, а там сидели люди с подстрочниками, следили, чтобы понять, о чём он поёт. А он как-то стеснялся некоторые песни петь вообще, из каких-то выкидывал какие-то слова, которые могли шокировать эту публику. И чувствовал себя совершенно не в своей тарелке. Он ведь привык петь в своей компании, когда люди отвечают эмоционально».

Виктор Спарре:

«Последний год безразличие и попустительство Запада почти привели его к духовной трагедии. Когда я увидел, что происходит, я должен был сделать что-то решительное. Я рисковал нашей дружбой и написал ему очень резкое письмо, в котором сказал, что он превращает в потеху драгоценный крест у него на шее; Озе Мари и я сообщили ему о нашем желании нанести визит. После него Александр изменил образ жизни, несовместимый с принципами, которыми должен руководствоваться человек крещёный».

* * *

Подевались куда-то сны,
Лишь всплывает в ночную лень
Тень
От той золотой сосны,
Что припас я про чёрный день!

<1976?>

БЛАГОДАРЕНИЕ

Лунный луч, как соль
на топоре...

О. Мандельштам

Облетают листья в ноябре.
Треснет ветка, оборвётся жила.
Но твержу, как прежде, на заре:
«Лунный луч, как соль на топоре...»
Эк меня навек приворожило!

Что земля сурова и проста,
Что теплы кровавые рогожи,
И о тайне чайного листа,
И о правде свежего холста
Я, быть может, догадался б тоже.

Но когда проснёшься на заре,
Вспомнится — и сразу нет покоя:
«Лунный луч, как соль на топоре...»

Это ж надо, Господи, такое!

<1976>

ОЛИМПИЙСКАЯ СКАЗКА

...А бабушка внученьке сказку плела
Про то, как царевна в деревне жила,
Жила-поживала, не знала беды
(Придумывать песенки — много ль заботы?),
Но как-то в деревню, отстав от охоты,
Зашёл королевич — напиться воды.
Пришёл он пешком в предрассветную рань,
Увидел в окне золотую герань,
И — нежным сияньем — над чашей цветка

С фарфоровой лейкою
Чья-то рука.

С тех пор королевич не ест и не пьёт,
И странный озноб королевича бьёт,
И спит он тревожно,
И видит во сне —
Герань на своем королевском берете,
И вроде бы он, как тогда, на рассвете,
Въезжает в деревню на белом коне.

Деревья разбужены звоном копыт,
Из окон глядят удивлённые лица...

Старушка плетёт и плетёт небылицы,
А девочка — спит!..

Ей и во сне покоя нет,
И сон похож на бред,
Как будто ей не десять лет,
А десять тысяч лет!

И не по утренней росе
К реке бежит она —
А словно белка в колесе,
С утра и дотемна!

Цветов не рвёт, венков не вьёт,
Любимой куклы нет,
А всё — плывёт, плывёт, плывёт,
Все десять тысяч лет!

И голос скучный, как песок,
Как чёрствый каравай,
Ей всё твердит:

— Ещё разок!
Давай, давай, давай!

Ей не до школы, не до книг,
Когда ж подходит срок —
Пятёрки ставит ей в дневник
Послушный педагог.

И где ей взять ребячью прыть,
Когда баклуши бить?!
Ей надо — плыть. И плыть.
И плыть.
И плыть.
И первой быть!..

...А бабушка внученьке сказку плела...

Какой же сукин сын и враль
Придумал действие —
Чтоб олимпийскую медаль
В обмен — на детство?!.

Какая дьявольская власть
Нашла забаву —
При всём честном народе красть
Чужую славу?!.

Чтоб только им, а не другим!
О, однолюбы!
И вновь их бессловесный гимн
Горланят трубы!..

...А бабушка сказку прядёт и прядёт,
Как свадебный праздник в столицу придёт,
Герольд королевский на башне трубит,
Пиликают скрипки,
Играют волынки...

А девочка спит.
И в лице — ни кровинки!
А девочка...
Тш-ш-ш, спит!..

<1976?>

«...Мы здесь часто попадаем впросак, и мы часто думаем, что понимаем эту жизнь, а мы всё ещё не научились её понимать. И поэтому — и это, пожалуй, самое горькое — иногда мы друзей принимаем за врагов, а врагов принимаем за друзей, потому что там мы по улыбке, по взгляду, по одной интонации голоса могли понять — этот с нами или нет. А здесь мы этого не умеем, здесь это бывает довольно трудно». (Из передачи на радио «Свобода» от 30 октября 1976 года)

СТАРАЯ ПЕСНЯ

В. Максимова

...Там спина к спине, у грота,
отражаем мы врага!

Джек Лондон

Бились стрелки часов на слепой стене,
Рвался — к сумеркам — белый свет.
Но, как в старой песне,
Спина к спине
Мы стояли — и ваших нет!

Мы доподлинно знали —
В какие дни
Нам — напасти, а им — почёт,
Ибо мы были — мы,
А они — они,
А другие — так те не в счёт!

И когда нам на головы шквал атак
(То с похмелья, а то спьяна),
Мы опять-таки знали,
За что и как,
И прикрыта была спина.

Ну, а здесь,
Среди пламенной этой тьмы,
Где и тени живут в тени,
Мы порою теряемся:
Где же мы?
И с какой стороны — они?

И кому подслащённой пилюли срам,
А кому — поминальный звон?
И стоим мы,
Открытые всем ветрам
С четырёх
Сторон!

<1976?>

ЧИТАЯ «ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ»

Играет ветер пеною
На Сене на реке,
А я над этой Сеною,
Над этой самой Сеною,
Сижу себе над Сеною
С газетою в руке.

Ах, до чего ж фантазирует
Эта газета буйно,
Ах, до чего же охотно
На всё напускает дым!
И если на клетке слона
Вы увидите надпись «Буйвол»,

Не верьте, друзья, пожалуйста,
Не верьте, друзья, пожалуйста,
Не верьте, очень прошу вас,
Не верьте глазам своим!

<1977>

ПАДЕНИЕ ПАРИЖА

Ги де Мопассану

— Скажите, вам бывает страшно?
— Ты ищешь страх? Открой роман,
Читай: «От Эйфелевой башни
Бежит в испуге Мопассан...»
Она — проклятие Парижу,
Она — улыбка сатаны.
Париж — фиглярствующий рыжий,
Сосуд греха, дитя вины.
И к полю Марсову в восторге
Спешат кареты парижан.
Скорей раскройте двери моргов!
Париж — на лезвии ножа!
Он славит Эйфеля, как Бога,
Спасайтесь от его чудес,
От смертоносного и злого
Нагромождения желез!

Не знаю — долго или скоро,
Но знаю: страшный день грядёт,
Когда на согрешивший город
Всем телом башня упадёт.
Вам страшно? — Нет, ничуть не страшно.
— Ваш смех исчезнет навсегда,
Когда осколки этой башни
Вонзятся в ваши города.

Исчезнет Франция, как правда.
Нет, вы не спятели с ума,
[.....]
Но вас никто не понимал.
— Скажите, вам бывает страшно?
— Ты ищешь страх? Открой роман,
Читай: «От Эйфелевой башни
Бежит, спасаясь, Мопассан».
<1977?>

ТЕБЕ

Вьюга листья на крыльцо намела...

I

Словно слёзы, по стеклу этот дождь.
Словно птица, ветка бьётся в окно.
Я войду к тебе — непрощенный гость.
Как когда-то — это было давно.

II

Закружатся на часах стрелки вспять,
Остановится всё время навек.
— Ты не спишь ещё? —
спрошу я опять, —
Мой единственный родной человек?

III

Пусть не кажется тебе это сном
И в стекло не ветка бьётся, а я.
Осторожно оглянись — за окном
Ты увидишь, как бредёт тень моя.

1977

* * *

I

Всё продумано, всё намечено
Безошибочно — наперёд.
Всё безжалостно покалечено
И заковано в вечный лёд.

II

Но копейка-то — неразменная!
Делу Время — потехе Час.
Пусть не первая, а последняя,
Успокоит ли это Вас?..

1977

МАРТОВСКИЕ СТИХИ

Растаял шепутной растяпа снег,
Сегодня мне приснившийся во сне.
Архип осип и простудился Осип,
И не поймёшь: весна ль, зима ли, осень,
Но что не лето — это-то уж точно,
И воробьёв — сплошные многоточья.

А снег исчез, и не было его,
Быть может, он и вовсе не рождался.
А я-то не на шутку испугался!
Так, значит, не случилось ничего?

След самолётный через плат небес —
Какая обозримая нелепость.
И значит — так и не было чудес,
И целый год не наступало лето,
Земля была грязна, полуодета,

И мучила меня полуодетость,
Неряшливость и заспанность земли.
Хотелось вишен и немного ласки.
А некто мне протягивал рубли:
Мол, отступись от невесёлой сказки.
Да ты и не сумеешь рассказать!

И впрямь, я не сумею рассказать...
И стало скучно и обыкновенно,
И зеркало посмотрит мне в глаза
И укорит за что-то непременно.

Я в доме снимаю зеркала,
Позакрываю двери на засовы.
А эта сказка всё-таки была,
Да уж навряд ли возвратится снова;
Сегодня я проснулся в полвторого,
Увидел снег: он плакал из угла.

<1977?>

МАЙСКИЕ СТИХИ

Уж это не случится никогда:
Я помню иней, синие сосульки,
Декабрь лихорадил переулки
В укутанных в сугробы городах.

У всех — температура сорок два,
Текут носы, и красные гортани
Всё чаще чуют чайной ложки вкус.
Декабрь. Не первый на моём веку.
В тот день, я помню, встал довольно рано

И сразу же почувствовал: сейчас
Произойдёт — не чудо, ну так что-то...

Спешили люди, — верно, на работу.
Такой декабрь я видел в первый раз:

На крышах, тротуарах, проводах,
Заборах, подоконниках и трубах
Сидели птицы синие, и зубы
Ломило тихим предвкушеньем чуда,
А это не случилось никогда.

<1977?>

* * *

Снеги белые, тучи низкие,
На окне цветы всё хрустальнее...
Как живётся вам, наши близкие,
Наши близкие, наши дальние?
Как живётся вам?..

<1977?>

* * *

Там, в заоблачной стране,
Мир и тишина.
Там — часами на стене —
На небе луна.

Проплывёт прозрачный звон,
Прогудят басы.
Знай, что это — первый сон,
Пробили часы.

Небосклон, небосклон,
Побледнеет небосклон,
Побледнеет небосклон,

Разойдётся мгла.
Первый сон — последний сон,
Вот и ночь прошла.

Жизнь без горя, без удач,
Счастья — на гроши.
Если вдруг раздастся плач —
Плачут малыши.
Мир чудес и мир тревог
Где-то там, внизу,
Ну а нам поможет Бог
Переждать грозу.

Вот звенит прощальный звон,
Вот звенит прощальный звон,
Вот звенит прощальный звон,
Бьют колокола.
Первый сон — последний сон.
Так и жизнь прошла.

<Декабрь 1977?>

Игорь Голомшток:

«Последний период, очень короткий, уже в Париже Галич был счастлив. Он говорил мне о том, как он счастлив, как он снова почувствовал себя человеком. Ведь парижская студия «Либерти» фактически была создана, чтобы выгнать Галича из Мюнхена. Это была маленькая студия, очень хорошие люди там собрались, к нему очень хорошо относились. Он говорил мне, что снова начал работать».

Анатолий Шагинян, звукорежиссер радио «Свобода»:

«Мне приходилось бывать напряжённым и внимательным по двум ипостасям — следить за звуком с гитарой, за голосом, но и быть режиссёром прежде всего,

потому что всё, что делал Александр Аркадьевич, он делал импровизируя. Но быть строгим и внимательным было безумно трудно потому, что он меня каждый раз по-человечески волновал. Когда он придумывал какую-нибудь новеллу-передачу, то его первые слова «Здравствуйте, дорогие знакомые и незнакомые», я думаю, не оставляли равнодушными всех слушателей, которые пробивались сквозь глушилку. Он меня поражал своей готовностью в голосе преодолеть все барьеры, никаких глушилок, кажется, не существовало. Открывалось такое человеческое внимание к слушателям, причём отрезанным от него пространством, собеседникам, что это любого, наверное, могло тронуть. Я был уверен, что все, кто слышат его сейчас, слышат так, как слышу я...

Будет услышан или не будет, он не сомневался, он просто вставал из окопа и работал вчистую, честно. Он говорил, даже не допуская по состоянию души, по дыханию, которое мне очень слышно было всегда, он не допускал вообще этого расстояния эфира. Не то чтобы думать, испорчен ли эфир, он говорил так, как говорил, наверное, на московской квартире, в кухне, когда мы собирались. Когда вы его все слушали. Это было всегда впрямую, он не позволял себе на сомнения тратить силы. Он так говорил — вы услышите всё, что осталось у нас, и поймёте, что его обращение, его прощание, его рассказ так полон сиюминутного какого-то присутствия, у него не было ощущения, что он разлучён каким-то барьером. Это было самое потрясающее, что меня всегда изумляло в нём. Как он умел находить эту интонацию, которая позволяет ему не экспериментировать, не пробовать что-то на авось. Голос его был всегда поразительно сиюминутный, живой. Это вообще у него возникло в силу того, что он был разлучён со своим слушателем. Потому что эти новеллы, эти рассказы его, почти ежедневные, открыли в Галиче такой человеческий дар, которого, может быть, ещё вчера он

сам не знал. А эта его обязанность, какой-то долг, — столь был патриотичен, столь нежен одновременно, что я не сомневаюсь: в том, что он делал каждую минуту, он был уверен, что так или иначе хоть одному это будет слышно сегодня. Четыре копии на «Эрике» ему было достаточно и здесь».

Пётр Акарьин, журналист:

«Но я отвечу, не робея:
«Даме нельзя без чичисбея, —
Ходят по Венеции фашисты,
К дамам они пристают...»

На редкость дурацкая песня. Но вот пока ехал из Рима в Венецию, да и в самой Венеции, всё она крутилась — со своими бессмысленными словами и незатейливой мелодией. И ведь об этом городе написано столько, что хватит на небольшую библиотеку. А что до стихов — то одного Блока, наверное, вполне достаточно. А тут — фашисты почему-то пристают к дамам, и слово такое безобразное: «чичисбей».

Дело было в Александре Галиче. Организаторы Венецианского биеннале, посвящённого культуре диссидентов (15 ноября — 15 декабря 1977 года), выпустили книжку — песни бардов: Галича, немца Вольфа Бирмана и чеха Карела Крыла. И галичевский раздел почему-то открывала эта песня про Венецию. Галич к песне никакого отношения не имел и должен был всем объяснять это — вышла путаница. Но тем не менее — пел её. Пел и объяснял, что слышал такую в ранней юности и запомнил даже. Запомнил в основном потому, что впервые получил представление, кто же такие фашисты — это те, кто пристаёт к женщинам. А поскольку он знал, что коммунисты против фашистов, то вполне логично заключил, что коммунисты — это как раз те, кто к женщинам не пристаёт.

Всё это он говорил в последний день сахаровских слушаний в Риме, после их закрытия, — на своём концерте в русской библиотеке им. Гоголя. Кому тогда могло прийти в голову, что это его предпоследний концерт? Он был страшно доволен: в библиотеке нас было человек тридцать, весьма камерно. И главное — не надо переводить песни, делать длинные, изматывающие интервалы, нужные для перевода. Все, кто был, русский, слава Богу, знали. (И даже — по-русски — была водка, хоть и не совсем по-русски — одна бутылка на всех. Её так и не допили — видно, как раз потому, что одна на тридцать.)

В Венеции же народу было полно, зал Атенео Венто — битком. Сидели на полу, в проходах. Популярность Галича поразительна, концерт этот — последний в его жизни концерт — проходил триумфально. Сейчас мне уже кажется, что и пел он как-то по-особенному, не как всегда. Хотя, конечно, это не так. Он чувствовал себя очень плохо. В тот день мы случайно встретились у моста Академии, гуляли по улицам, и он говорил, что совсем расклеился, замучила простуда, что надо ехать домой, в Париж, отлёживаться. Это было 3 декабря...

5-го декабря он пришёл на посвящённое защите прав человека небольшое заседание, оно даже не было объявлено в программе биеннале. Пришёл совершенно больной, обиделся, что не пригласили (а там из Советского Союза были только двое), сказал, что хочет выступить. Говорил как всегда горячо.

Он был из тех, кто высовывался. Это его слово».

Анатолий Шагинян:

«Он пришёл делать передачу о Новом годе, поздравлять советских слушателей с Новым годом, и об этом он говорит: «С Новым годом! С новым счастьем!» — как

говорится на всей этой огромной территории друг другу, и он рассказывает о том, что он в этом году сделал, где он был, что он написал, что хочет издать, что он пишет дальше, «и вот песня, которая, может быть, она и не очень весёлая, но вы ведь и не очень часто слушали меня весёлого». И он её запел. Но в этот день он был безумно болен, тяжело дышал. И мы все отправили его домой, говорили, что не надо делать сегодня передачу, но я ему говорю: «Александр Аркадьевич, может, порепетируем?» — я не знаю, может быть, это единственный раз меня осенило, знамение, может, назначение какое-то, я говорю: «Ну давайте порепетируем, я послушаю, настрою для гитары второй микрофон». И он, я бы не сказал, что с большой охотой, взял и согласился. Сел, я ему поставил микрофончик на маленькой ножке внизу, для него микрофон, и говорю: «Я просто послушаю, мало ли — вдруг получится, а вдруг что-то будет ценное, полезное просто-напросто». Но поскольку он... Это действительно, друзья: может быть, это громкие слова, но у меня был самый послушный и самый внимательный ученик в моей жизни, хотя действительно меня интересовала школа театра, но Галич открылся в удивительном человеческом, каком-то творческом плане очень — здесь. И он так внимательно слушал, что стоило мне скривить физиономию, скривить рожу, то он говорил: «Не так, да? Ну давай повторим, давай попробуем!» То есть его готовность сделать что-то лучше была феноменальной. Он открыл в себе такое гражданское, человеческое качество, чему я, откровенно говоря, удивлялся, потому что мне казалось, что Александр Аркадьевич даже в прекрасном, хорошем для зависти смысле барин, так всё ладно, так всё умеет, и вдруг он готов переосмыслить всё, что он умеет. И тут он соглашался что-то попробовать и вновь, и вновь, и вновь, и вновь. И когда я тайком на-

жал кнопку, он заговорил, заговорил, и таким образом мы имеем эту песню. Мы её показали вот только сейчас, через десять лет. А записали мы в последний день, то есть за час, за два до смерти, и он ушёл. Ушёл, попрощавшись мягко, нежно. Действительно, мы поняли, что он очень устал, он нездоров. И он ушёл. Было странное продолжение. Семён Мирский знал мою к нему почти сыновнюю привязанность. Я почти с войны рос сиротой, поэтому Александр Аркадьевич, экзотический человек с какой-то небритостью, запах этого мужчины был для меня отцовским запахом. Поэтому где-то через час, через два после того, как ушёл Александр Аркадьевич, Сёма меня зовёт и говорит: «Давай выйдем». Я говорю: «Давай. Вроде время есть». А Сёма говорит: «Выпьём коньяку!» Я опять ничего не понимаю, почему среди белого дня мы пьём коньяк. Он заказывает коньяк, мы садимся уютно в кафе, и Сёма говорит: «Вот был сейчас Александр Аркадьевич на записи?» — «Да, был». — «А его теперь нет!» Я понял, что Сёма искал какую-то форму, чтобы сказать мне: два часа назад было одно время, а теперь настало другое. Без Галича...»

Андрей Сахаров:

«Та версия, которую приняла на основе следствия парижская полиция и с которой поэтому мы должны считаться, сводится к следующему.

Галич купил (в Италии, где они дешевле) телевизор-комбайн и, привезя его в Париж, торопился его опробовать. Случилось так, что они с женой вместе вышли на улицу, она пошла по каким-то своим делам, а он вернулся без неё в пустую якобы квартиру и, ещё не раздевшись, вставил почему-то антенну не в антенное гнездо, а в отверстие на задней стенке, коснувшись ею цепей высокого напряжения. Он тут же упал, упер-

шись ногами в батарею, замкнув таким образом цепь. Когда пришла Ангелина Николаевна, он был уже мёртв. Несчастный случай по неосторожности потерпевшего... И всё же у меня нет стопроцентной уверенности, что это несчастный случай, а не убийство...»



*За чужую печаль
И за чьё-то незваное детство
Нам воздастся огнём и мечом
И позором вранья,
Возвращается боль,
Потому что ей некуда деться,
Возвращается вечером ветер
На круги своя.*

*Мы со сцены ушли,
Но ещё продолжается действие,
Наши роли суфлёр дочитает,
Ухмылку тая,
Возвращается вечером ветер
На круги своя,
Возвращается боль,
Потому что ей некуда деться.*

*Мы проспали беду,
Промотали чужое наследство,
Жизнь подходит к концу,
И опять начинается детство,
Пахнет мокрой травой
И махорочным дымом жилья,
Продолжается действие без нас,
Продолжается действие,
Продолжается боль,
Потому что ей некуда деться,
Возвращается вечером ветер
На круги своя.*

<Декабрь 1977?>



А. Галич. Рисунок В. Некрасова.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>От составителя</i>	5
Старательский вальсок	7

«КАК НЕДАВНО, И АХ, КАК ДАВНО...»

Мир в рупоре	14
«Прилетели птицы с юга...»	22
« <i>Вставай, Всеволод...</i> » <i>Статья</i>	25
Комсомольская песня	40
«Подари на прощанье мне билет...»	46

«НАЧАЛОСЬ ВСЁ ДЕЛО С ПЕСЕНКИ...»

Леночка	59
За семью заборами	62
Слава героям	64
Про маляров, истопника и теорию относительности	65
Облака	67
Городской романс	69
Ошибка	72
Заклинание	73
Больничная цыганочка	75

Красный треугольник	78
Песня о прекрасной даме	81
Командировочная пастораль	83
Фарс-гиньоль	84
Весёлый разговор	86
Баллада о прибавочной стоимости	90
Уходят друзья	94
Вальс, посвящённый уставу караульной службы	96
Левый марш	98
Закон природы	100
Ночной дозор	102
Колыбельный вальс	105
Поезд	106
Предостережение	108
Песня про острова	109
Всё не вовремя	110
Песня о синей птице	112
Право на отдых, или Баллада о том, как я навещал своего брата, находящегося на излечении в психбольнице в Белых Столбах	113
Неоконченная песня	116
Смерть Ивана Ильича	117
Виновники найдены	118
Я принимаю участие в научном споре между доктором филологических наук, профессором Б. А. Бяликом и действительным членом Академии наук СССР С. Л. Соболевым по вопросу о том, может ли машина мыслить.	119

Жуткое столетие	121
Песня про счастье	123
Юз	124
Композиция № 27, или Троллейбусная абстракция	125
Прощание с гитарой.	127
Гусарская песня	129
Цыганский романс	131
Салонный романс.	134
<i>Прощальный ужин. Эссе</i>	135
Баллада о стариках и старухах, с которыми я вместе жил и лечился в санатории областного Совета профсоюзов в 110 км от Москвы	141

«МНЕ ПРИСНИЛОСЬ, ЧТО Я — АТЛАНТ...»

Спрашивайте, мальчики!	146
Песня про майора Чистова	147
Мы не хуже Горация	148
Несбывшееся	151
Баллада о Фрези Грант.	151
Первая песенка шута	153
«Всё наладится, образуется...»	154
Песня о ночном полёте	154
Вальс-баллада про тещу из Иванова	156
Памяти Б. Л. Пастернака	159
Песня-баллада про генеральскую дочь	162
Вальс его величества, или Размышления о том, как пить на троих	168

Песня про несчастливых волшебников, или «Эйн, цвей, дрей!»	171
Баллада о том, как одна принцесса раз в два месяца приходила поужинать в ресторан «Динамо»	174
<i>О жестокости и доброте искусства. Статья.</i>	176
Век нынешний и век минувший	182
Песня о последней правоте	183
Переселение душ	184
Черновик эпитафии	184
Канарейка.	186
Абсолютно ерундовая песня.	187
Реквием по неубитым.	191
«Вот пришли и ко мне седины...»	193
Баллада о сознательности.	197
Желание славы.	200
Песня о концерте, на котором я не был	204
«Вот он скачет, витязь удалой...»	205
Чехарда с буквами	205
Баллада о том, как едва не сошёл с ума директор антикварного магазина №22 Копылов Н. А., рассказанная им самим доктору Беленькому Я. И.	207
Разговор с музой	219
Отрывок из радиотелевизионного репортажа о международном товарищеском матче по футболу между сборными командами Великобритании и Советского Союза.	228
Счастье было так возможно	231

«СМЕЕШЬ ВЫЙТИ НА ПЛОЩАДЬ?..»

Петербургский романс	235
Песня про велосипед	238
Баллада о чистых руках	240
Бессмертный Кузьмин	242
Баллада о вечном огне	247
«Странно мы живём в двадцатом веке...»	251
«...По ночному ледку озноба...»	251
Запой под Новый год	251
Засыпая и просыпаясь	253
Летят утки	254
Плясовая	256
Фантазия на русские темы для балалайки с оркестром и двух солистов — тенора и баритона	258
Легенда о табаке	262
Возвращение на Итаку	266
На сопках Маньчжурии	269
Снова август	273
21 августа	275
Фестиваль песни в Сопоте в августе 1969 года .	276
Песня о Тбилиси	277
«Прилетает по ночам ворон...»	279
Размышления о бегунах на длинные дистанции. <i>Поэма в пяти песнях с эпилогом</i>	280
Ещё раз о чёрте	294

«Я ВЫБИРАЮ СВОБОДУ...»

Я выбираю свободу	299
Новогодняя фантасмагория	301

После вечеринки	303
Горестная ода счастливому человеку	304
«...Хоть иногда — подумай о других!..»	305
Кадиш. <i>Поэма</i>	306
О принципиальности	320
Коломийцев в полный рост. <i>Истории из жизни Клима Петровича Коломийцева — мастера цеха, кавалера многих орденов, члена бюро парткома и депутата горсовета</i>	321
О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира	321
О том, как Клим Петрович сочинил научно-фантастическую колыбельную, укачивая своего племянника — Семёна, Клавкиного сына	324
О том, как Клим Петрович добивался, чтоб его цеху присвоили звание «Цеха Коммунистического труда» и, не добившись этого, — запил.	325
Плач Дарьи Коломийцевой по поводу запоя её супруга — Клима Петровича	327
О том, как Клим Петрович восстал против экономической помощи слаборазвитым странам	330
Избранные отрывки из выступлений Клима Петровича	332
1. Из речи на встрече с интеллигенцией	332
2. Из беседы с туристами из Западной Германии	333
«Опять меня терзают страхи...»	334
По образу и подобию, или, как было написано на воротах Бухенвальда: «Jedem das Seine» — «Каждому — своё»	334

Псалом	336
Слушая Баха	338
Королева материка. <i>Лагерная баллада, написанная в бреду</i>	339
Так жили поэты	343
История одной любви, или Как это всё было на самом деле	345
Памяти Живаго	349
«Кошачьими лапами вербы...»	351
Песня исхода	353
Песенка-молитва, которую надо прочесть перед самым отлётом	358
«Когда-нибудь дошлый историк...»	359
Номера	361
Старый принц	362
«Ты прокашляйся, февраль, прометелься...» . . .	364
«От беды моей пустяковой...»	365
<i>В редакцию газеты «Литературная Россия». Открытое письмо московским писателям и кинематографистам</i>	368
«Как могу я не верить в дурные пророчества...»	371
«Телефон, нишкни, замолкни!...»	371
«Я в путь собирался всегда налегке...»	373
Рассказ, который я услышал в привокзальном шалмане	374
Предполагаемый текст моей предполагаемой речи на предполагаемом съезде историков стран социалистического лагеря, если бы таковой съезд состоялся и если б мне была оказана высокая честь сказать на этом съезде вступительное слово	378

Занялись пожары	379
«Ей страшно и душно, и хочется лечь...»	380
Притча	381
Признание в любви	383

«УЖЕЛЬ ТЕБЕ ЭТОГО ЖАЛКО?..»

Песня об Отчем Доме	390
Опыт отчаянья	391
«Весь год — ни валко и ни шатко...»	392
Пейзаж	393
О вреде чтения	394
Об ударениях	394
Священная весна	395
Письмо в семнадцатый век	398
Воспоминания об Одессе	402
Вечерние прогулки. <i>Маленькая поэма.</i>	405
Прощание	415
«Я, товарищи, скажу помаленьку...»	416
«Говорят, пошлб с Калиты...»	417
«Шёл дождь, скрипело мироздание...»	418
«Понеслись кувырком, кувырком...»	419
Опыт прощанья	420
Опыт ностальгии	421
Когда я вернусь	425
Кумачовый вальс	426
<i>В Международный комитет прав человека.</i>	
<i>Письмо</i>	428
Русские плачи	430
Мы по глобусу ползаем	436

Марш мародёров	438
Песенка про Красного петуха	440
Прощание славянки	442
Заклинание Добра и Зла	443

«ВСЁ РАВНО МЫ ЕДЕМ В НИКУДА...»

«Что у вас на Охте и на Лахте?...»	451
«Это вовсе не дом — Храм!..»	452
«Посошок бы выпить на дорожку...»	452
«Мы пускаем гитару, как шапку — по кругу...»	453
«Нам такое прекрасное брезжится...»	453
«В этой странной стране Манекении...»	454
«А было недавно, а было давно...»	454
Песок Израиля	457
Бирюльки. <i>Авангардный этюд</i>	458
Вечный транзит	459
Блюз для мисс Джейн	462
«Какие нас ветры сюда занесли...»	464
Песенка о Диком Западе, или Письмецо в Москву, переправленное с оказией	464
«Подевались куда-то сны...»	466
Благодарение	467
Олимпийская сказка.	467
Старая песня	470
Читая «Литературную газету»	471
Падение Парижа	472
Тебе	473
«Всё продумано, всё намечено...»	474

Мартовские стихи	474
Майские стихи	475
«Снеги белые, тучи низкие...»	476
«Там, в заоблачной стране...»	476
«За чужую печаль...»	484



Литературно-художественное издание

Галич Александр Аркадьевич
ОБЛАКА ПЛЫВУТ, ОБЛАКА

Редактор **В. Коркин**
Художественный редактор *А. Новиков*
Технические редакторы
В. Бардышева, В. Шибает
Корректор *Л. Баскакова*

Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97

Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги,
брошюры.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 31.08.99.
Формат 70×100 ¹/₃₂. Гарнитура «Петербург».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,15. Уч.-изд. л. 15,69.
Тираж 7 000 экз. Заказ № 819.

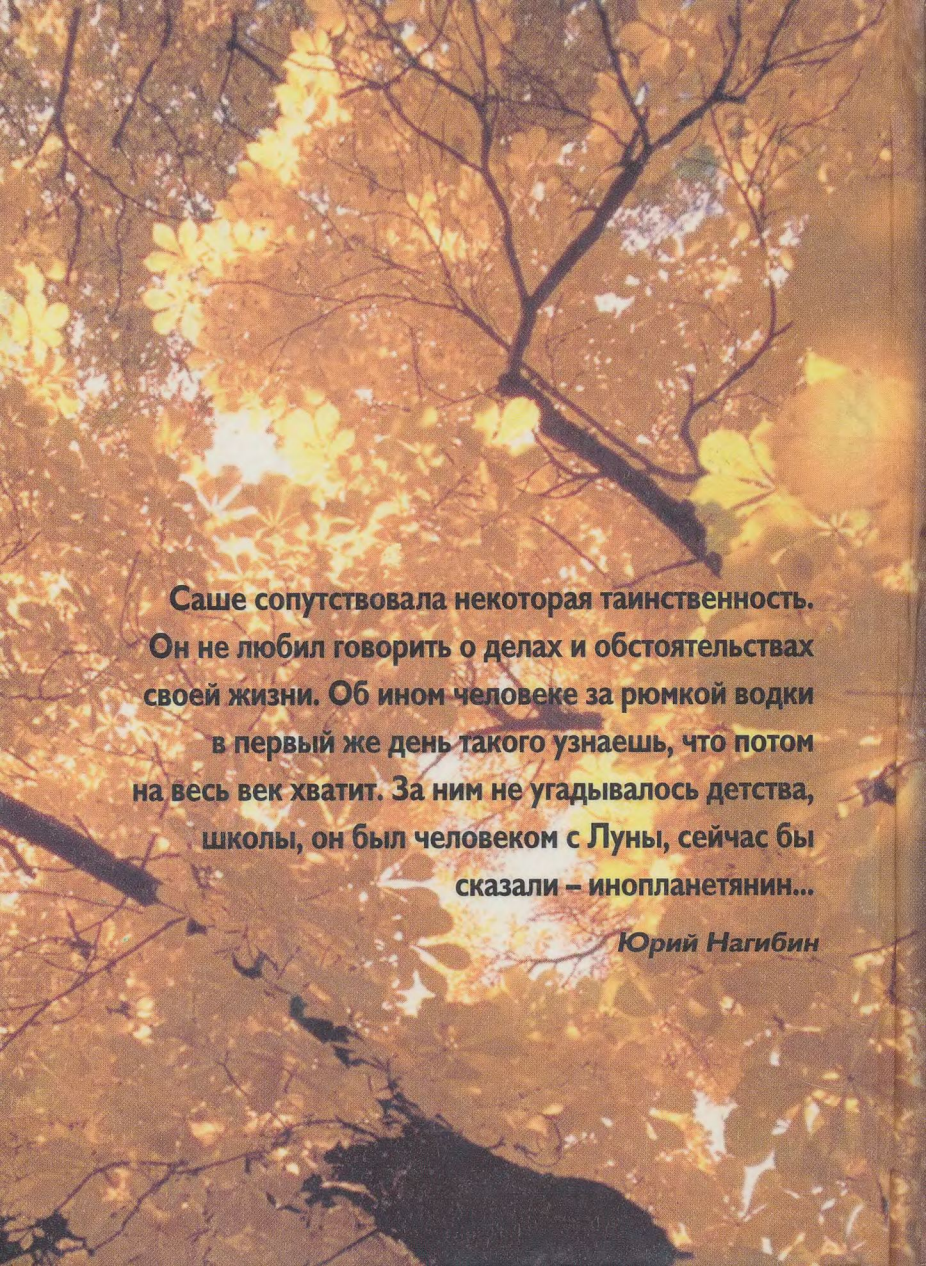
ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс»,
123298, Москва, ул. Народного Ополчения, 38.

ISBN 5-04-003567-5



9 785040 035670 >

Изготовлено в Тульской типографии.
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.



Саше сопутствовала некоторая таинственность. Он не любил говорить о делах и обстоятельствах своей жизни. Об ином человеке за рюмкой водки в первый же день такого узнаешь, что потом на весь век хватит. За ним не угадывалось детства, школы, он был человеком с Луны, сейчас бы сказали – инопланетянин...

Юрий Нагибин